



М. ШЕВЕРДИН

СЕМЬ СМЕРТНЫХ ГРЕХОВ







М. ШЕВЕРДИН

СЕМЬ СМЕРТНЫХ ГРЕХОВ

РОМАН

КНИГА ВТОРАЯ

ИЗДАТЕЛЬСТВО ХУДОЖЕСТВЕННОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ ИМ. ГАФУРА ГУЛЯМА
Ташкент — 1967

Ш37
Инд. 7-3-2

Шевердин М.

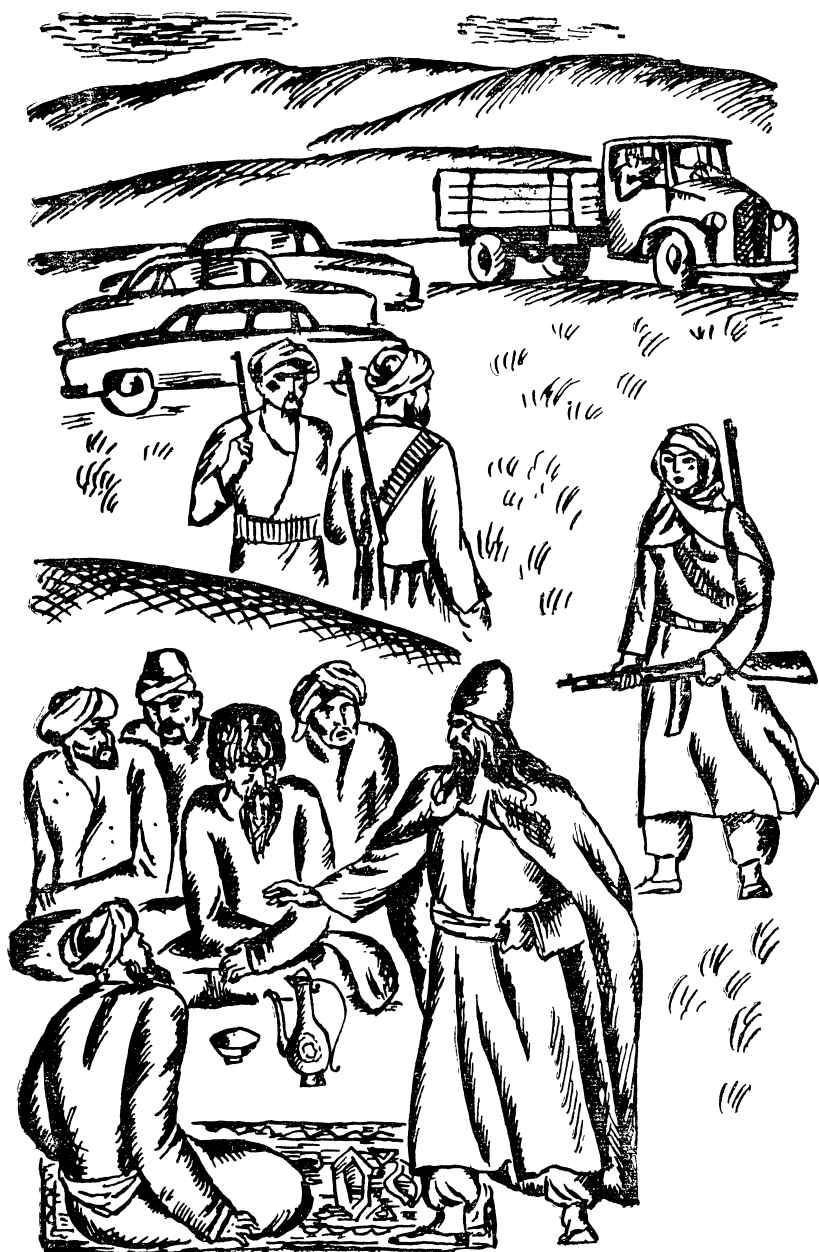
Семь смертных грехов.

Роман в 2-х книгах.

Кн. 2. Т., изд. худож. лит. им. Г. Гуляма.
1967.

Кн. 2 320 стр.

IV ОДЕРЖИМЫЙ



Лук тоже относит себя к фруктам.

Саилук

Уберечь все от невежды легче, чем его самого от него самого.

Кей Кавус

О том, что Сефиет ни с кем и ни с чем не церемонится, Зуфар знал. Но в Исфагане она превзошла самое себя.

Уже через два часа после приезда она прокатила мимо на «кадиллаке». Раскрасневшееся лицо, растрепанная прическа, рука соседа на ее обнаженном плече.

Зуфар мог чего угодно ожидать от Сефиет: коварства, предательства, торгашеской сделки, но никак не предвидел подобного зигзага в ее поведении.

— Не хмурься!—встретила Сефиет Зуфара в холле.—Странно было бы, если ты вздумал принимать его всерьез. Он для меня не существует. Хоть он и болван, но для нашего дела неоценим.

Очевидно, Сефиет задалась целью возможно быстрее завершить «обращение» Зуфара. И она бесцеремонно отдала его в лапы преподобного Далласа Рокфора, солдата Христова. Конечно, глупо было превратить правоверного мусульманина, каким Сефиет хотела видеть Зуфара, в исполнителя планов католического прелата. Но у Сефиет имелись свои соображения:

— Американец плохо знает Туркестан. Рассказывай ему побольше. Надо его заинтересовать Туркестаном.

Даллас хлопал Зуфара по плечу:

— О большевик, из «Централ Айша!» Все большевик — мясник, убийца, сумасшедший.

Преподобный Даллас полагал, что американец имеет право говорить что угодно и оскорблять как угодно. Даллас, может быть, даже и не задумывался над этим. Он всегда был пьян. Сефиет делала все, чтобы он был пьян, и вполне успевала в этом. Сефиет нужно было, чтобы Даллас Рокфор был пьян и болтлив. Она сказала Зуфару:

— Не обращай внимания. Этот католический поп — болван. Но его хозяева побогаче Болда.

Теперь редко Зуфар видел красавицу турчанку трезвой.

Поклонник Лоуренса преподобный Даллас Рокфор считал себя гениальным разведчиком. Он с азартом разыгрывал в Иране роль разведчика и использовал свое очень неплохое знание турецкого языка и плохое — русского, чтобы, как он выражался, «промывать мозги» господину «большевику офицеру», «выпытывать» военные и политические тайны. Но он мало преуспел в этом, а когда однажды по пьянке выложил: «коммунист — преступник, опьяненный кровью», Зуфар вышел из себя. Преподобный Даллас Рокфор ходил с синяком под глазом, но, протрезвев, делал вид, что не может вспомнить, где его заполучил. С Зуфаром он держался с тех пор настороженно.

— Напрасно лезешь, Зуфар, в драку из-за пустяков, — возмущалась Сефиет. — Ничего ты не добьешься, Далласа не переделаешь. Ты видишь, какие у русских союзники. Все до поры до времени. Католический поп — поклонник не только Лоуренса, но и Адольфа Гитлера. Не удивляйся. Даллас — эксперт по коммунистическим делам Соединенных Штатов — послан в Иран совсем не помогать русским. Даллас готовит дорогу в Иран американским монополиям. Даллас ждет поворота событий на фронте. Пусть перебьют друг друга немцы, русские, англичане... Тогда американцы придут сюда и все заберут: и Иран, и Афганистан, и Индию, и... Туркестан. Тебе нельзя ссориться с американцами. Когда мы вернемся в Ташкент, нам очень понадобятся доллары...

Даллас Рокфор проповедовал во всеуслышание слово божье и ненависть к большевикам, жил открыто с Сефиет и пил. Он пил все, что мог достать из спиртных напитков в Исфагане и в радиусе двухсот километров. Пить он мог двадцать четыре часа в сутки и не терять деловитости. Выяснилось, что он тонко обшел закон о государственной монополии и под самым носом у шахиншахского правительства законтрактовал сто тысяч джерибов опийного мака. Распивая виски с прибывшим из Турции французским резидентом бароном Тенти дю Кастанье, он перехватил у него Исфаганскую опийную фабрику с сотней рабочих, производившую семьсот-восемьсот ящиков опиума в год. Барону Тенти преподобный Даллас намекнул: «Французам нечего делать в Иране».

Загадочно вел себя сэр Болд. Он потягивал сода-виски в компании с преподобным Далласом Рокфором и по своей привычке рычал. Он рычал? О чем? Даже неопытный Зуфар понимал, что американец «увел» крупный, жирный кус у британского резидента. Зуфар старался поменьше бывать в компании союзников.

Чем напряженнее шли дела на фронтах, чем ближе подходили немцы к Сталинграду, тем надменнее держался Даллас Рокфор. Он имел совершенно истасканный вид, и лишь вызывающе

красная физиономия напоминала прежнего самонадеянного монсеньора. А Сефие т усердно спаивала его. Сефие т не раз крепко до боли цеплялась за плечо Зуфара, когда он не выдерживал разглагольствований Далласа Рокфора. А он нарочно вопил, как можно громче, что-нибудь вроде: следует ли отрубать головы коммунистам, как делают сейчас фашисты? Следует ли закапывать обезглавленные трупы или лучше вешать их на соснах и дубах за ноги? Фашисты слишком гуманны. Вот в древней Ассирии практиковали выдавливание глаз. Еще очень хорошо водить пленных коммунистов по улицам за веревку, продетую в нос, как верблюдов. А казнить надо, вешая на крюк за челюсть. Кажется, так фюрер Гитлер разделяется с мятежными генералами.

Полный христианского всепрощения и милосердия Даллас Рокфор восклицал:

— Жестокость! Но в своей неизреченной мудрости милосердный господь не потерпит кровавого большевизма на земном шаре. Гитлер и его штурмовики исполняют миссию всевышней благодати, которая сметет коммунизм с лица земли.

Он хвастался своей дружбой с германским послом в Анкаре Гельмутом фон Папеном:

— Просвещеннейший католик! Необыкновенный человек. Уверен, когда Гитлер зарвется — все наполеоны ломают шею, — господин канцлер фон Папен Америке очень пригодится. Мы пошлем его в Россию расчистить поле от... большевиков. Зачем нам, американцам, пачкать руки? Мы — англосаксы. Мы — аристократы духа.

— Намять бы бока святоше янки, — невзначай как-то пробормотал сэр Болд, чересчур пристально разглядывая лицо его преподобия Далласа Рокфора. А тот выкрикивал, жестикулировал, костлявый, высоченный, рисуясь перед Сефие т, расположившейся в шезлонге и выставившей на всеобщее обозрение пухлые колени.

— Супермен! Сверхчеловек! Плевком перебить ему хребет, — тихо рычал сэр Болд. — Распушил хвост перед красивой бабенкой и воображает.

Трудно было понять: завидовал ли он успеху американца у прекрасной турчанки или ему надоели наглые попытки Далласа выжить его, Болда, из Южного Ирана.

Зуфар уже разобрался, что Гемфри Болд занимается в Южном Иране отнюдь не только вопросами высокой политики. Сэр Болд вел дела тонко. За джентльменством, аристократическим снобизмом Зуфар угадывал большую коммерцию. Базар исфahanский ничего не скрывал, а Зуфар отлично знал по-персидски. За чашкой кофе можно и рассказать и узнать. А персидские коммерсанты по-своему истолковали, почему Зуфар живет на вилле Болда. Своеобразие британского гостеприимства отлично

раскусили на Востоке. Раз Зуфар пользуется вниманием могущественного резидента, тут что-то есть. Зуфару посыпались предложения и весьма выгодные. Оказывается, Даллас зарится на исфаганские ковры. Но до сих пор во всем Исфаганском астане ни один ковер не продавался без разрешения нежной голубоглазой леди Летиции. И не потому, что она изучила ковровый орнамент и даже имела степень магистра искусств. Ковры были ее «бизнесом». Круг интересов сэра Болда оказался более широким. Предусмотрительный британец не складывал всех яиц в одну корзину. Сейчас он, помимо торговли опиумом, занимается скупкой нефтеносных полей в долинах Загроса, находящихся под охраной британского статуса. При слове «нефть» преподобный Даллас вздергивал верхнюю губу и скалил свои крепкие желтые зубы. Но он никак не мог по-бульдожьей вцепиться англичанину в загривок мертвой хваткой.

С откровенностями он лез к Зуфару:

— Ничего в этом джентльмене нет необыкновенного. Коммерсант никудышный, в цифрах — профан. Берет грубой силой. Дьявольски беспринципен, жесток. Джентльмен-убийца. Тем и держится.

Сэр Гемфри Болд защищал интересы Британии на Среднем Востоке прямолинейно и хладнокровно.

«Джентльменом-убийцей» его прозвали луры еще в те времена, когда он командовал карательными экспедициями против горцев. На базаре и сейчас еще вспоминали: «Дьявол ингриз приказал мальчишкам, бегавшим в английский лагерь, отрезать языки, чтобы не болтали...» Правда, это было давно. И сейчас не заглянешь под крахмальную манишку сэра Болда. А каменные черты павианьего лица претолчно позволяют ему скрывать любые чувства. И ему легко выводить на чистую воду действующего под влиянием сода-виски американца, вообразившего себя гением политики и коммерции. Британская империя на закате. Британия идет под ударами гитлеровской мощи к упадку. Британия терпит крах. На смену Британии идет свежая, полная физической мощи американская демократия. Восток, наследие Британии, по праву принадлежит Америке. Ведь не случайно, что полная соблазнов Сефиет — воплощение сказочного Востока — досталась американцу Далласу Рокфору. Он увел восточную одалиску от обезьянорукого павиана с аристократическим титулом. Английский лорд безропотно уступил турчанку. Так господа британцы уступят американцам и Персию и весь Восток.

Молчание сэра Болда Даллас считал естественной слабостью. Даллас не был новичком в хитросплетениях разведывательной службы. Он работал в американской разведке в Южной Америке. Там было проще. Там все определялось количеством долларов. Там Даллас Рокфор разучился контролировать

себя, потерял наблюдательность, он привык к скоропалительным решениям.

Молчание и каменное выражение лица сэра Болда он принял за капитуляцию. Сэр Болд не молод. Сэру Болду надлежит подумать об отдыхе, о разведении розочек или кроликов где-нибудь в Суссексе в доброй старой Англии, а Персию отдать ему, Далласу Рокфору.

Преподобный Даллас в таком духе и высказался:

— Вам, Болд, остаются розочки.

Ничто, кроме ворчания, не выдало настроения сэра Болда.

Он был явно не в духе. Поездка в Керманшах оказалась неудачной. Он не узнал ничего определенного о леди Летиции. Племена вели себя непокорно. Коммерческие операции сулили только убытки.

Поселившаяся на вилле «Букет роз» Сефиет предпочитала общество американца.

Католический священнослужитель щерил свои желтые зубы и пьяно ликовал.

Каменное застывшее выражение лица и угрожающее поблескивание круглых выпученных глазок сэра Гемфри Болда ничуть не пугали Далласа. Умение владеть физиономией, прятать мысли под маской «без выражения» в свое время изучалось американцем под руководством его наставников в недрах Управления разведывательной службы Соединенных Штатов. Но виски-сода, прелести турчанки, неожиданно легкие успехи в салонах и торговых конторах Исфагана выветрили из головы Далласа всякую осторожность. Он отбросил условности, разоблачился и, по собственному любимому техасскому выражению, «расхаживал в одних подтяжках».

Каменная маска сэра Болда ничего не выражала. Сэр Болд отлично скрывал свои намерения, а достигал успеха любой ценой.

Даллас Рокфор забыл об этом.

Но Даллас не лишен был смелости, знаний, специфического умения. Он неплохо знал Восток. Молодым миссионером Даллас долго жил в Турции, где имелось свыше шести сотен американских школ, в которых училось около тридцати пяти тысяч детей—и христиан и мусульман. Неплохо! Очень неплохо! Сколько из них выросло людей, понимавших американский образ жизни, стремившихся к нему. Даллас Рокфор сам преподавал в американском «Роберт колледже» в Стамбуле. Оттуда он вынес знание турецкого языка. Он руководил американскими госпиталями, сиротскими домами и преуспевал. Но в двадцатом году ему пришлось покинуть Турцию. Он ссылался на нетерпимость правительства Ататюрка к иностранным школам, на слепой националистический фанатизм, предпочитаемая умалчивать, что в колледже он вел себя неподобающе духовному лицу. Даллас не

сумел контролировать свои влечения. Тогда-то он и получил назначение в Южную Америку. Во время войны вспомнили о том, что Даллас специалист по Среднему Востоку. Знания его понадобились.

Очевидно, сэр Гемфри Болд знал все о Далласе Рокфоре. Решительно все. Он прямо ему сказал:

— Вы совершенно напрасно, я полагаю, стегаете дохлую лошадь.

Сэр Гемфри Болд высокомерно назвал дохлой лошадей Турцию. Он намекал на то, что Даллас Рокфор в Анкаре установил контакты с послом Германии господином фон Папеном.

Фон Папен заверил Далласа Рокфора: «У немцев много общего с американцами. Мы, немцы, преклоняемся перед памятью Авраама Линкольна, президента Монро и великих американцев. Мы готовы к переговорам, но католическое духовенство Германии раздражает фюрера». Фон Папен говорил неправду. Католические епископы Германии еще в тридцать третьем году призывали верующих сотрудничать с фашистами: «Фашизм меньшее зло в борьбе с большим злом — коммунизмом». Католическая церковь благословила Гитлера на войну.

Но неудача не обескуражила Далласа Рокфора. Он не терял присутствия духа.

И теперь в Иране он в восторге был от своего знакомства с турчанкой Сефьет. Он не совсем понимал, чего она от него хочет. Ему казалось, что сумел пленить турчанку, и расчетливо намеревался использовать связь с ней в практических целях. Даллас Рокфор гордился собой и своими успехами.

Глава II

Паук вьет себе дом из паутины,
чтобы укрываться в нем от беды.

Ал Ахикор из Укбары

Держался в беседе шейх Музаффар остро и легко, как кинжал, занесенный для удара.

— Англичане—народ традиций,—быстро сказал сэр Болд.— А традиция Великобритании — быть братьями луров.

Он передвинул фигуру на доске почти машинально. Полог чадыра был откинут, и громадный каменистый амфитеатр открывался глазам. Солнце стояло низко, и оранжевые тени толпились и вытягивались в хитроумных сплетениях, словно все рустемы и сиявуши скрестили свои мечи в долинах Загрота.

— Голодный чего не съест, сытый чего не скажет,—проговаривал шейх туманно.

Но сэр Болд понял. Бровь его дернулась. Все знали, что бровь у сэра Болда дергается, когда он сердит, а сердить сэра Болда не рекомендовалось.

Сэр Болд продолжал:

— Англичане великодушны. У них много недостатков, но великодушные — в крови. Еще деды знали, что британцы великодушны.

— «Что ты такого сделал для его отца,— говаривал старик Саади,— что рассчитываешь на хорошее от его сына?»

— Вероятно, Саади обращался к неблагодарному сыну.

— ...Шах!

— М-да!— Сэр Болд задумался. Глаза его смотрели на фигуры, казалось, он любовался ими. Выточенные тонким резчиком, они являлись произведением искусства... Думал Болд не о шахматах. Он думал об Одержимом. Так он называл в душе шейха Музаффара.

Лурские племена ускользали, явно ускользали. Одержимый что-то говорил...

Из раздумья Болда вывел голос шейха:

— Ваш ход, сэр.

Сэр Болд пошел почти наудачу.

Шейх оживился:

— Грабя и разбойничая, подобно шахматной королеве — «ферзю», вы, англичане, подкрепив свои замыслы башнями — «рух» своих намерений, заритесь на земли нашего племени и хотите заполучить верную добычу, проявляете испокон веков твердость и энергию в хитрых ходах. Но, сэр, вы даром жертвуете пешками «пиядэ» своего ума...

«Наглеет. Одержимый чувствует свою безнаказанность»,— думал сэр Болд и ощутил неприятное чувство жжения в желудке. Глаза его бегали по степи с разбросанными по ней черными, низкими, длинными чадырами, между которыми бежали во все стороны тропинки, протоптанные в траве.

«Лабиринт, сложный лабиринт»,— думал сэр Болд не об овечьих тропах, а о путях, которыми идут племена.

Шейх продолжал:

— Раньше луры верили вам. А теперь стоит ли гонять взад-перед коня — «эсп» своего языка по шахматной доске событий? Бесполезно. Луры умными стали... И не удастся больше ференгам врываться слонами — «филь» своей жадности, любостяжания к нам в наши кочевья, чтобы вырвать силой добычу... и захватить короля-шаха.

«Хуже, еще хуже!» Но мысленный возглас сэра Болда относился не к безвыходному положению, в которое он попал из-за небрежной игры. Сэр Болд увидел, что поездка его в кочевья луров напрасна. Он машинально сделал ход и посмотрел на Одержимого, стараясь поймать его взгляд.

Шейх Музаффар сказал невозмутимо:

— И в конце концов «шах» вашей цели попадает в безвыходное положение. Воздастся всякому по делам его!.. Получайте, сэр, мат... Поистине король ваших планов утратил право на снисхождение и на жизнь!

Сэр Болд посмотрел на доску. Да, первая партия дипломатического турнира проиграна. Одержимый непреклонен. Посулы и обещания не соблазнили его. Сэр Болд недоумевал. Он знал, что шейх Музаффар ездил в Анкару и его принимал посол гитлеровского рейха фон Папен.

— Здесь царит закон степи. По-вашему, беззаконие, — проговорил шейх. — Здесь с сотворения мира все сохранилось в чистоте: люди, нравы, понятия. Лур в своих горах не ведали нашествий и порабощения. Поля луров не топтали вражеские копыта. Соль земли не осквернена дерьмом захватчиков. Могилы луров не разорены ворами, ищущими золото. Все знают, что луров не обременяют своих покойников украшениями. Боги луров не низвергнуты и не выброшены из храма души... Никто не наступал на горло свободы луров...

Шейх Музаффар бросил взгляд на лицо сэра Болда и усмехнулся:

— К неправде тысячи дорог, а к правде одна. В наших горах время отсутствует, а вы, англичане, хотите купить наше время, нашу свободу золотом и обещаниями. Лур не торгует славой.

На лицо сэра Болда стоило взглянуть: оно стало еще мрачнее, еще некрасивее. Лицо павиана с обнажившимися желтыми клыками, со злым огнем в глазах. Если бы Болд сейчас посмотрелся в зеркало, он еще больше рассердился и обвинил себя в слабости: Одержимый вывел его из себя.

Сэр Болд ехал в кочевье с большими надеждами...

Заинтересовать! Поразить! Растрогать этого дикаря, Одержимого! Заинтересовать материальными выгодами. Поразить огромной цифрой. Раздать поражающие воображение взятки вождям племен. Растрогать вождя кухгелуйе шейха Музаффара высоким доверием великодушной Британии. Разве мог Одержимый, воин с колыбели, отказаться от лучших в мире ружей, пулеметов, от оружия, которое сделало бы его племя самым сильным в Персии?

И, наконец, загадочное поведение шейха Музаффара в Анкаре — отказ заключить союз с гитлеровцами. Сэр Болд думал, что Одержимый перед лицом опасности бросится в объятия Англии.

— Вы хотели меня удивить? Ваш девиз — я имею в виду девиз англичан — все тот же: всегда брать и никогда не отдавать.

И так говорил дикарь, лур, Одержимый. Сэр Болд не сдавался. Он снова расставлял фигуры на доске.

— Сейчас, возможно, британцам и придется отступить,— сказал он. Ему пришлось сделать усилие, чтобы голос не звучал сварливо.— Положение Британии не оставляет иного пути. Время и терпение! Вы, восточные люди, любите стихи. И я скажу словами поэта: «И тутовый лист делается атласом».

Лур и англичанин играли в шахматы и в политику. Болд не спешил уезжать из кочевья: он не терял надежды превратить тутовый лист в атлас.

Об Одержимом в Иране говорили по-разному:

«Блестящий представитель былого воинственного духа ахеменидского Ирана».

«Последнее громкое имя».

«Привык подчинять требования нравственности, политической пользе».

«Безмерно честолюбив».

«Полон коварства и жестокости».

«Полон здравого смысла».

«Заботится о своем племени».

«В голодный год раздает свое состояние бедным».

«Делами благотворительности снискал славу хорошего правителя».

Есть пословица: «Осмотри кухню — узнаешь лицо хозяйки». Кочевья луров отличались зажиточностью. Будучи знатного происхождения, шейх Музаффар кое-чем обязан своим предкам-ильханам. Но богатым и могущественным он сделался лишь благодаря своему уму и уменью. На бурном Востоке судьбы переменчивы. Вверх — вниз, вниз — вверх. Шейх Музаффар всегда остается сверху.

Шейх — дервиш и аскет в жизни. Но дервишество и аскетизм его — в мусульманском духе.

«Одержимые,— думал Болд,— опасны». К тому же шейх обладал острым умом, который ставил в тупик; очарованием, которое пленяло; лукавством, которое пугало; пылкостью, которая сдерживала.

Шейх прокладывал дорогу в жизни смелостью, выдержкой, обоснованностью. К тому же был очень осторожен и чрезвычайно ловок.

Друзья и соплеменники, желая возвеличить его, говорили: «Удостоился облобызать порог, охраняемый ангелами». Шейх действительно совершил паломничество, и не раз, в Мекку к святыне мусульман каабе.

Но враги распространили слух, что Одержимый — по примеру безбожника средневекового поэта Абу Нафаса из Багдада — совершил кощунство: целовал свою сигэ Гульсун у самого Священного Камня. Но большинство считало это сплетней и клеветой: поэт Абу Нафас, влюбившись, целовал у каабы любимую рабыню халифа, ибо другой возможности он не имел.

Одержимый мог целовать и ласкать сигэ Гульсун сколько угодно и для этого незачем было ехать в Мекку. Но клевета не ищет поводов. Любовную страсть Одержимого к Гульсун все видели. Но ему не мешало при всех обижать ее: «Ум женщины — в ее локоне. Дай мне твой язык — я поцелую. Сердце мое по тебе истомилось».

На такое мальчишество способны только поэты. А шейх ничего общего с поэтами не имел.

Глаза его смотрели холодно и свирепо. Высокий, хорошо сложенный, сильный, он страдал воспалением суставов еще с молодых лет, но никогда не поддавался боли и плохому настроению. Держался он в своем «пилосе» — одеянии дервиша — удивительно прямо и верхом на коне выглядел великаном.

Шейх Музаффар редко просил тегеранское правительство за свой народ. Просьбы его больше походили на требования. Он просил смело, нагло, с угрозами. А так как угрозы он всегда выполнял, правительственные чиновники предпочитали ему не отказывать. Взятки он чиновникам не давал: «Взятка делает кровь человека черной». Шейха Музаффара боялись даже в Тегеране. А жгучим его почитали за любимую присказку: «После дождя солнце жжет — после лжи стыд жжет». Ложь шейх презирал: «Ложь — осколки разбитого кувшина правды». После первой же встречи с Далласом Рокфором шейх Музаффар сказал про него: «Послушать его — он сейчас вам сетью луну поймает. У языка господина американца нет порога, у его рта нет заслонки».

Веки Одержимого были всегда приопущены, а его черная борода и бесцветная кожа лица, проявленная до пергаментного состояния ветрами и песком, в сочетании с пружинистой настороженностью взгляда многим казались маской. Брезгливая гримаса не сходила с его лица и обманывала. Надменно закинутая голова и плотно сжатые губы шейха порождали легенды о его сатанинской гордости. Никто не видел его за свершением намаза, и тем он навлекал на себя обвинения в безбожии. «Он и перед аллахом не встает на колени», — возмущался глава мусульман Южного Ирана господин Кербелай. Но сам Одержимый объяснял: «Всевышний наградил меня болью в суставах — всевышний простит мне пропущенные поклоны. Молитва и так остается молитвой». Однако боль в суставах не мешала Одержимому с одного взмаха рубить саблей барана пополам. Все знали, что шейх пешком не раз проходил весь Иран, а в первое паломничество в Мекку он, неся на плече переметную суму дервиша, ни разу не сел на верховое животное.

У господина Кербелай и прочих высокопоставленных духовных лиц Одержимый вызывал ярость и возмущение. Они не могли не принять от него жертвования и очень щедрые, но скрежетали зубами. Чтобы получить дар, им приходилось от-

правляться к шейху Музаффару на его летовку в горы, а там он находил удовольствие поить своих набожных гостей запретными напитками и выставлять напоказ, что стопы веры исламской пьянствуют. С чашей вина в руке он прославлял Хафиза: «Боюсь, что в день восстания из мертвых хлеб, дозволенный шейхом, не будет полезнее, нежели запретная влага».

Спорить с Одержимым никто не решался. В шатре Одержимого висела на колышке священная с сотней заплат хирка — дарвишеское вертище. Хирку эту вот уже триста лет носили святейшие и праведнейшие ишаны кабадианские в далеком Хутталане, передавая ее из поколения в поколение от наставника к мюриду. И двадцать лет назад последний ишан Кабадиана собственноручно накинул ту хирку на плечи шейху Музаффару, признав его таким образом лучшим учеником и достойным продолжателем в делах веры. Разве поспоришь с шейхом, облаченным в столь священные одежды?

Сэр Болд перебирал в памяти обстоятельства жизни Одержимого и проигрывал партию за партий.

Разговор не клеился. Каждый думал о своем. Очень хотелось сэру Болду знать, что думает Одержимый, очень хотелось залезть в его мысли и расчеты.

Многое решалось сейчас в чадыре, таком простом и неприязательном, как все чадыры кухгелуе.

За шахматным столиком и чашечкой кофе решались судьбы людей. Ни сэр Болд, ни Одержимый ни разу не вспомнили о событиях в мире. Они не говорили о войне, охватившей пожаром земной шар. Но мысли и сэра Болда и шейха Музаффара упорно и настойчиво возвращались к далекой России, к берегам Волги, где шло неслыханное по своим масштабам Сталинградское сражение.

Глава III

Этот проклятый демон смирен и тих, пока сидит в бутылке. Но едва его выпустят и он попадет с вином в глотку, сразу же он заставляет даже слона танцевать, словно плясунью.

Саади

Появление на вилле «Букет роз» барона Тенти дю Кастанье прошло почти незамеченным. В своей одежде «под перса» — щегольском тонкосуконном «коба» горохового цвета, в изящной шапке «тегеранке» — барон первоначально не привлек внимания Зуфара: он посчитал его за одного из коммерсантов, с которыми сэр Болд поддерживал оживленные отношения. Но вскоре

выяснилось, что барон лишь подделывается под восточного человека. «Так удобнее,— доверчиво улыбался он,— одежда удобная и гигиеническая вырабатывается веками, тысячелетиями».

Вернувшись из Курдистана, барон поспешил к сэру Болду посочувствовать и рассказать то небольшое, что ему удалось узнать о несчастьи с леди Летицией. Он ужасно сожалеет и винит себя, что доверил леди Летицию американцу Далласу и сам не проводил ее до границы Ирана. Барон вынужден был спешно уехать после похорон Юсуфа Зюлели из замка Тхуби в Ирак и только в Моссуле узнал о несчастье. Он очень огорчен, но не может добавить ничего утешительного. Потрясенный ужасным событием, он предлагает сэру Болду свои услуги и весь свой опыт путешественника и знатока Азии...

Коротко, ежиком подстриженные, похожие на железную конскую щетку, седеющие волосы, длинные, вечно намоченные в вине усы, напряженная выправка, деревянная походка, цепкий взгляд выдавали в бароне Тенти бывшего военного. Воспаленные, налитые кровью веки и белесые дуэльные шрамы на худощавых щеках вносили в строгий облик барона черты лихости. Он вечно путешествовал по пустыням, и соляной песок вызвал воспаление глаз. А шрамы на лице он заполучил, по его рассказам, в многочисленных студенческих дуэлях в Гейдельберге. Он, как и многие бельгийские аристократы, учился в Германии. Возможно, он впитал юнкерский дух еще в немецком университете, общаясь с прусскими буршами. Свою чувствительную кожу и заостренные «кавалерийские» уши барон унаследовал от германских предков по материнской линии. В его семье существовала издревле традиция брать в жены дочерей ганноверских помещиков. Воспитание и предки породили в бароне Тенти расистскую спесь, и он не пытался скрывать ее. С презрением относился он ко всем «азиатам».

«Всеблагой господь создал меня арийцем с белой кожей и голубой кровью. Никакие молитвы, никакие жертвы богам не избавят негра от черной кожи». К неграм он относил всех неевропейцев. Это не мешало ему проявлять разумную осторожность. И в среде тех же персов или других представителей восточных народов Тенти позволял себе осуждать, правда не слишком резко, крайние расистские теории фашизма: «Такие идеологи, вроде генерала Гаусгофера, директора Института геополитики рейха, своей болтовней об избранности германской расы, о жизненном пространстве дискредитировали фашизм, заведя себя в Азии в тупик».

Но на вилле «Букет роз» своих взглядов барон Тенти не скрывал: «Следует убивать всех туземцев, которые веселы от рождения,— пряча улыбочку в своих галльских усах и смакуя кофе, утверждал он.— Да, да, желательно уничтожать с темной кожей всех, кто имеет зацепку в жизни, без различия пола, воз-

раста. Лишь тогда человеческая элита сохранит себя в неприкосновенности и спасет цивилизацию».

Подозревали, что барон Тенти имел на совести немало темных дел. По его утверждению, он путешествовал по Востоку без всякой цели. Он презирал европейцев, которые кричали о миссии белого человека. Барон откровенно издевался над Далласом, приехавшим в Иран просвещать и образовывать. Ему претили колонизаторы-благотворители.

Барон Тенти жил на Востоке потому, что ему нравился Восток. Он путешествовал ради путешествий. Барон был путешественником и коллекционером. Для развлечения он коллекционировал... казни. Его гладкие губы складывались в улыбку простоватого лукавства, когда он где-нибудь в медвежьем уголке Белуджистана или Тибета выпрашивал подробности казней и вписывал их изящным почерком на карточки из бристольского белого картона с золотым обрезом. Он очень тужил, если к карточке не удавалось приложить конверт с оригинальными фотографиями. Но чаще всего снимки сделать удавалось. За золото можно было сфотографировать любую, даже очень жуткую, казнь. Барон коллекционировал также орудия казней и пыток. Он убежденно заверял, что ни у кого в мире нет подобной коллекции, и охотно показывал ее.

В Исфагане барон Тенти обосновался из-за «расшатанной» печени. Темно-бронзовый цвет лица был вызван разлитием желчи. Исфаганский чудесный воздух и изумительная вода действительно влияли на отправления желчного пузыря.

«Кому мясо да жир — кому кости да перья». В отличие от прочих европейцев, барон Тенти не имел корыстных интересов в Южном Иране. Он путешествовал, занимался невиннейшим коллекционерством и никому не мешал. Жил замкнуто в своей вилле, не носившей никакого названия, но окруженной высокой, слепой оградой. Даже сэр Болд, обязанный по своему положению интересоваться всем и каждым, не мог обнаружить за бароном чего-либо предосудительного.

Богатство барона Тенти, его независимость, умение держать себя в обществе вызывали интерес в европейской колонии. Его не прочь были женить. Но он шутивно отговаривался: «Женщина — наказание божье; ласки ее — яд змеи».

Принципиальный скептик, барон считал, что самые лучшие духи ничем не лучше лука, что самые дивные розы скверны своими колючками. Он ценил лишь вино.

Барон Тенти бравировал своим скепсисом. Но он взволнован был не на шутку, когда узнал о печальной истории с леди Летицией. Барон был частым гостем на вилле «Букет роз». Экзотическое коллекционерство, страсть к путешествиям чувствительного бельгийца обворожили леди Летицию. Возможно, сыграл роль аристократизм Тенти дю Кастанье. Сама леди Лети-

ция была из древней семьи герцогов. Ей претили выскочки, а муж ее сэр Гемфри Болд, увы, выскочка. Он сколько угодно мог перечислять своих предков голубой крови — она-то знала, что его дед был торговец. Случай сделал его миллионером и лордом. Но спеси у Болда хватало на сотню-другую лордов. Именно потому он не переступал многочисленных «табу» своего сословия. Сэр Болд весьма гордился портсигаром литого золота, на внутренней крышке которого имелась миниатюра королевы Виктории во всей ее молодости и красоте. Сэр Болд не рассказывал, как и за что его дед получил портсигар из собственных рук ее величества вместе с титулом баронета. Болд держал язык за зубами. Маленький огонек, особенно если это огонек аристократизма, легко затопчут в высшем свете. Вероятно, поэтому сэр Болд всю жизнь провел на службе вдали от Лондона.

Может быть, потому внимание, оказываемое леди Летицией аристократу, бельгийскому барону, задевало сэра Болда и заставило приглядеться к своей семейной жизни.

Павианы — довольно мирные существа, но в ярости они опасны.

Бельгиец приходил на виллу «Букет роз» ежедневно. Играл с сэром Болдом в вист. Мочил усы в бокале виноградного вина, оказывая знаки внимания хозяйке. Держался буднично, мало-заметно.

Весной, когда леди Летиция по обыкновению собралась «бежать от лета», барон Тенти пытался отговорить ее от поездки. Британские города бомбили «люфтваффе». В морях хозяйничали немецкие субмарины. «Путь в Англию опасен. Лучше остаться в Иране. На вилле «Букет роз» имеются подземные прохладные, комфортабельно обставленные покои. Да и в обычных комнатах стены двойные. Между ними в жару накладывают лед, привезенный с гор, а на оконные жалюзи натягивают войлок, смачиваемый непрерывными струями воды. Испарение создает прохладу в помещениях».

Сэр Болд поддержал барона, но леди Летиция настояла на своем и уехала.

Сейчас же покинул Исфаган барон Тенти, хотя до того утверждал, что никуда не собирается. Впервые сэр Болд задумался. Совпадение не вызывало особенных подозрений, но...

В распоряжении сэра Болда имелись превосходные источники информации. Уже через несколько часов он знал, что любитель путешествовать барон Тенти отправился в Бейрут.

Ливан — довольно-таки культурная страна. Никаких изувеченных казней там не происходит уже полтора столетия. Свою коллекцию барон пополнить не мог.

Барон поехал в Бейрут, видимо, поразвлечься. Но он не кутил и не развлекался. Ливан — нейтральная страна. Там можно

встретить людей и из союзных стран, и из государств фашистского блока.

В самом рядовом ресторане барон Тенти завтракал с заместителем начальника германской разведки. Местной полиции и дела не было до их встречи. Ливан с Германией не воевал. Зачем приезжал в Бейрут высокопоставленный чиновник абвера, никого не касалось. Барон пробыл в Бейруте четырнадцать часов и улетел на военном самолете в Лондон. Пропутешествовать из Исфагана в Бейрут восемьсот километров, чтобы позавтракать, мог лишь страстный путешественник.

«Хозяин упавшего в яму буйвола трудится, вытаскивая его, больше всех». Встревоженный Болд трудился изо всех сил. Он понял, что у себя под носом проморгал здорового буйвола. Страсть барона к путешествиям и его коллекция казней оказались не столь невинными.

С какой целью отбыл барон в Англию, оставалось только гадать. Зона действий и информации сэра Болда ограничивалась рамками Востока.

Приходилось ждать, что сообщат о маршрутах барона и его встречах в Англии господина из «Интеллидженс сервис».

Но в Исфагане, в Южном Иране и дальше на всем Среднем Востоке тем временем приоткрывались все новые и новые обстоятельства жизни барона Тенти дю Кастанье. Можно было поражаться, что их неожиданно оказалось так много, маршруты невинных путешествий барона упорно перекрещивались со знаменитой трассой «Четыре Б» — железнодорожной магистралью «Берлин — Бизантиум — Багдад — Басра», — стратегическим мостом Германской империи к мировому господству. По странному совпадению, едва барон Тенти принимался путешествовать по Ираку, начинались пожары на нефтепромыслах Моссула и Керкука или неприятности на нефтепроводах.

Какой-нибудь вождь или феодал, известный своими антибританскими настроениями, имел счастье познакомить барона-коллекционера с особенно изощренным наказанием своего несчастного подданного или своей неверной жены, а спустя некоторое время этот вождь или феодал обзаводился усовершенствованными скорострельными пулеметами, а порой и самым всамделишным военным аэропланом марки «юнкерс» или «хейнкель».

В иных случаях появление барона Тенти дю Кастанье в какой-нибудь стране с самой невинной туристической целью влекло за собой настоящее кровопролитное восстание против англичан или английских ставленников.

Сейчас барон выполнял гораздо более важную роль, чем казалось. С помощью Кербелая, Кашкаи и других влиятельных лиц Тенти превратил Южный Иран в сухопутный мост. Иранские купцы почти открыто везли из Таи, Индокитая, Британской Индии олово, каучук, шелк. Сделки совершались на турец-

кие и швейцарские фирмы, а на самом деле ценнейшее сырье адресовалось прямо в Германию.

Некоторые племена в Иране получили оружие бесплатно. Установили, что господин Мирза Кашкаи, так часто посещавший салон леди Летиции, получил, не израсходовав ни одного франка, пятьсот пулеметов из бельгийского Конго. После одной из прошлогодних увеселительных поездок барона в район персидского Белуджистана вдруг неизвестные агенты принялись вербовать вооруженных белуджей для неизвестных целей. Каждому записавшемуся выплачивалась кругленькая сумма в десять фунтов стерлингов золотом...

Сэр Болд запросил Лондон по поводу барона Тенти. Ответ не был еще получен, когда барон снова появился на вилле «Букет роз». В первый же вечер собравшимся в патио он демонстрировал фотоснимки человека, посаженного на кол. Бесстрастно, равнодушно, но резким, крикливым голосом барон давал пояснения.

— Дьявольски жестокое приспособление. Конец обтачивается в виде граней алмаза. Казнимого подвязывают так, чтобы всей тяжестью тела он наваливался на кол. Мучения невероятные. Я задержался на трое суток, чтобы заснять весь процесс вплоть до агонии. Метод имеет корни в далекой древности.

Он охотно отвечал на расспросы гостей, особенно предупредительно держался с Сефиет. С гордостью коллекционера доказывал, что такого уникального материала никому, по всей вероятности, достать не удастся.

Невнимательно слушал один хозяин. Он дымил трубкой и думал: «Галантен, как всегда. Увлекся и не замечает, что говорит с Сефиет по-турецки. А ведь раньше словом не обмолвился, что знает язык».

Без всякой логики мысли приняли иное направление:

«Сефиет ехала через горы Курдистана. В Курдистане близ замка Тхуби произошла встреча Сефиет с леди Летицией.

Леди Летиция гостила у Юсуфа Зюлели в его курдистанском замке Тхуби. Юсуф Зюлели — старый друг сэра Болда, и сэр Болд с огорчением узнал о его преждевременной гибели. Но за каким чертом барон Тенти тоже оказался в замке Тхуби? Барон и Летиция... Совпадение? Летиция и барон! Дьявольщина! Это не просто совпадение!

Сэр Болд вскочил. Он сделал это так шумно, что все посмотрели на него. Еще более шумно он выколотил трубку о край саксонской вазы, любимой вазы леди Летиции.

Сэр Болд не спускал глаз с барона Тенти. С интересом он изучал его лицо, точно увидал впервые в жизни.

Барон потемнел. Показалось или нет, но уголки его губ под мокрыми от вина усами задержались. Барон знал, что саксонскую вазу леди Летиция привезла в Иран из своего родового имения и очень берегла.

Волоча по мраморным плитам ноги, обутые в тяжелые, с толстыми подметками ботинки, сэр Болд вплотную подошел к креслу, в котором сидел, небрежно закинув ногу на ногу, барон.

— Проклятие!— прорычал сэр Болд.— Уж не сажают ли азиаты неверных жен на кол?

Барон Тенти поперхнулся. Ему понадобилась минута, чтобы найти ответ.

— О, жен мусульмане побивают камнями.

— Проклятие!— повторил сэр Болд, чуть ли не с сожалением.— А за что, спрашивается, побивать жен камнями, за какие такие провинности?

Барон Тенти снова собирался с духом, прежде чем заговорить:

— За супружескую измену в мусульманских странах женщин полагается выводить на площадь и всенародно побивать камнями. Раньше побивали, сейчас это анахронизм.

— Не найдется ли у вас в вашей... этой дьявольской коллекции такая казнь, черт возьми?

— Есть,— почти простонал Тенти.— Я вам покажу.

— Дьявольски любопытно увидеть, как выглядит нарушительница супружеского долга, когда ее... Это самое... камнями...— хихикнул Болд.— Говорят, что нарушителя семейного очага,— добавил он,— обнаженным привязывают к четырем колышкам и оставляют на солнце, а...

И он хрипло засмеялся. Но звуки, вырывающиеся у него из горла, мало походили на смех.

Барон Тенти испуганно взглянул на изящный, давно пустующий шезлонг хозяйки виллы «Букет роз», нежной леди Летиции.

И все посмотрели тоже на шезлонг. Здесь так часто сидела леди Летиция, а рядом с ней обычно стоял барон Тенти и развлекал ее удивительными историями, которыми так богат Восток.

Случалось, что оправдываясь плохим знанием английского языка, он говорил сальности. На лице его появлялась отталкивающая гримаса. Леди Летиция не обижалась. Она мило краснела, а позже говорила знакомым дамам: «Бедный Тенти. Личная жизнь сложилась у него неважно. Он так и не женился. В женских делах он просто глуп».

Его предки столетиями обладали деспотической властью. Не удивительно, что у барона Тенти феодальные взгляды на женщину. Дамы выгораживали барона. С замиранием сердца они называли его «белокурой бестией», «сверхчеловеком» и завидовали леди Летиции.

В молодости барон Тенти был ценителем лошадей. Страсть эта привела его после мировой войны на Восток в Хузистан в арабское кочевое племя. Прожил барон Тенти в арабских шатрах много лет. Занимался коневодством. Сделался «своим». Ог-

ромное состояние позволило ему не стесняться в выборе жен и наложниц. Однако ни одной женщины он никогда не привозил с собой во время довольно частых своих приездов в Европу.

А с некоторых пор он появлялся в европейских столицах исключительно в обществе леди Летиции. Он изящно называл себя ее верным «чичисбеем». Его деловые поездки в Бельгию всегда случайно совпадали с отлучками леди Летиции на период жары из Исфагана. Леди Летиция проводила летние месяцы в зеленой Англии или на Лазурном берегу. Сэр Болд не стеснял ее в расходах. Необъяснимая случайность: барон Тенти всегда оказывался там, где проводила летние месяцы леди Летиция.

Сегодня все присутствующие в патио виллы «Букет роз» с неловким чувством взирали на пустовавший шезлонг леди Летиции.

Глава IV

Призвал его дьявол служить лжи,
и он последовал его зову.

Ибн Наубат

Сэр Болд считал, что у него в наружности есть нечто львиное. Ему нравилось походить на льва.

Клочковатые желтые вихры на круглом черепе, кошачьи, почти зеленые, круглые глаза — он убедил себя — придавали сходство с царем пустыни. Он считал себя образцом человеческой породы с преобладанием львиных достоинств. Недаром британцы в качестве эмблемы выбрали льва, хоть он и не водится на Британских островах, и поместили его вместе с единогомом в государственном гербе.

Но никто не желал видеть в сэре Болде царя пустыни. Сходство со львом у павиана в гриве. Но лев не убивает оленя лишь потому, что он попался под его лапу. Лев охотится по необходимости. Павиан рвет в куски все и вся и похож на волка, убивающего в стаде овец без счета, лишь бы сожрать кусочек печенки. «Лучше уничтожить сотню неповинных, чем упустить одного виновного», — утверждал Болд, усмиряя афридиев и белуджей. «Если мы не убьем, нас убьют». — Он называл это «теорией предвидения».

Уж более тридцати лет сэр Болд применял свою теорию на практике. С вечной своей не то искательной, не то зловещей улыбочкой он шагал по судьбам людей, племен, народов.

«Мы, англосаксы, последние представители цивилизации. Мы выражаем два великих начала: ясность и чувство меры. У народов Азии начала эти загрязнились, потому они остались варварами, дикарями, далекими от реальной жизни. Играют во всякие «свободы». Придумали призыв «Долой иностранцев!» Бред! Нечего нам его слушать.

Едва сэр Гемфри Болд появлялся на банкетах и приемах, всякой дипломатии приходил конец. Болд держался прямолинейных взглядов: «Идешь на пир — иди пораньше. Пришел — займи лучшее место».

Британия пришла на Средний Восток первой. Она захватила лучшее место. Сэр Гемфри Болд отождествлял себя с Британией. Он грубо выдворял из-за пиршественной суфры всех неугодных.

Война с фашистами, позор Дюнкерка, фашистские бомбардировщики над Лондоном спутали карты сэра Болда. Ему делалось все неудобнее. Страна южных племен дика и непривлекательна. Пустыни, солончаки, бурые бесплодные горы. Но под песками и лысыми склонами таится нефть, много нефти. Фашисты едва ли случайно выбрали территорию южного Ирана плацдармом для своей авиации.

Нападение — лучший способ обороны. «Мы должны быть далеко впереди дикарей», — твердил сэр Болд. Он не был оригинален. Он повторял классическое положение британской политики на Востоке: «Надо обезопасить свои тылы. Отрезать горцев от источников снабжения оружием».

Сэр Болд еще не знал, с кем ему предстоит воевать. Ему, наконец, безразлично, с кем воевать из-за Южного Ирана: с Гитлером, с Советской Россией, с Соединенными Штатами. Сэр Болд крепко вцепился в кость. Искательная его улыбка становилась все более зловещей, когда он принимал вождей племен в патио виллы «Букет роз». Угощал он их не вместе, а порознь. Поил шотландским виски Мухаммеда Насыра Мирзу Кашкаи и говорил о злокозненности луров и их вождя шейха Музаффар. Он подливал сардару Муазизу, курду, в бокал и невзначай поминал «подлые» обычаи кашкайцев и «мерзкие привычки» вождя их Мирзы Кашкаи.

Сегодня сэр Гемфри Болд и Ашки-эффенди принимали на вилле «Букет роз» вождя кухгелуйе шейха Музаффар. В прохладном патио на столике у мраморного водоема стояли бутылки с шотландским виски. Завтрак сервировали две молоденькие прислужницы в чересчур легких одеяниях, и Ашки-эффенди не мог не одобрить, мысленно конечно, предусмотрительность хозяина виллы. Шейх Музаффар был известен своим несколько повышенным вниманием к женщинам.

Пили, ели. Шейх не изображал из себя анахорета и лестно отозвался об умении отсутствующей хозяйки виллы «достоуваемой леди Летиции» столь удачно подбирать служанок, «успокаивающих взор». Шейх Музаффар упомянул о хозяйке дома совсем не потому, что его поразили выставленные напоказ прелести прислужниц. У шейха имелись самые свежие новости о прекрасной англичанке, и он ждал, что сэр Болд поддержит разговор о супруге. Но, к его удивлению, сэр Болд проворачал что-то о «запропащившейся» леди Летиции и весьма откровенно на-

мекнул на то, что в связи с этим дорогие гости имеют полную возможность ближе познакомиться с достоинствами совсем негордых «кенизек».

Надо полагать, шейх Музаффар не понял сэра Болда или не пожелал понять. Он сокрушенно проговорил:

— Жители гор и степей — дикари. Им чужды цивилизованность и воспитание. Иначе разве осмелились бы они причинить столько неприятностей и трудностей госпоже совершенств, супруге достойного и знатного человека? Позвольте сказать: у нас имеются сведения о местонахождении уважаемой госпожи Летиции Болд. Нам даже известно, что леди Летиция здорова и невредима, но предается горю. Мне ничего не стоит послать в Кухендиз десяток храбрецов кухгелуйе разметать свору работорговцев и вырвать супругу вашу, сэр Болд, из лап разбойников. Мы так и поступили бы уже, но известно, что главный подлец работорговец бардефуруш Фазлутдин человек и доверенное лицо Мирзы Кашкаи... А вдруг в схватке с разбойниками прольется кровь?..

Он остановился и внимательно посмотрел на сэра Болда.

Шейх мог бы добавить, что кашкайцы верой и правдой служили британским интересам и, конечно, небескорыстно. Нанести удар Мирзе Кашкаи значило ударить сэра Болда.

Но сейчас дело шло о чести семейного очага британского аристократа, и шейх Музаффар мог ожидать, что сэр Болд расценит по достоинству его предложение помочь леди Летиции даже ценной новой кровавой ссоры кухгелуйе со старыми врагами — кашкайцами. Шейх так и сказал, но тут же осекся, потому что, к его удивлению, сэр Болд оборвал его:

— «Кенизек» мои из Мекрана, с побережья Персидского залива. Их доставил мне за не очень высокую оплату бардефуруш Фазлутдин. Первосортный товар. Видите их бедра. Сказывается примесь негритянской крови. Прелестны.

Шейх даже слегка покраснел. И не потому, что сэр Болд расписывал прислужниц. Шейх поразился: или Болд не слышал его слов, или проявилось высокомерие ингриза, не допускающего и мысли о том, что туземец посмеет касаться семейных дел белого человека. Мозг шейха затуманился гневом. Он едва сдержался, чтобы не вспылить. Он клял себя за попытку помочь леди Летиции. Ведь именно бардефуруш Фазлутдин — виновник беды, постигшей леди Летицию.

Что за дело ему до какой-то ингризки? Превозмогая ярость, он заговорил:

— Насколько я понимаю, господин Болд ныне представляет в нашем астане интересы Британии...

Сэр Болд кивнул.

— Так вот у нас есть вопрос. Нам известно, что Британское государства, волею всевышнего, ныне состоит в дружбе и союзе

с северным соседом Иранского государства. Как же понимать высказанные господином Болдом за приятным угощением мысли?

— Не осведомите ли меня, что вы имеете в виду? — проворчал сэр Болд.

— Только что вы соизволили говорить о Советском Туркестане. Вы также сказали, что может возникнуть надобность вооружить некоторые племена Южной Персии и послать их в Туркестан. И вы спросили еще меня, не захочу ли я послать луров в русский Туркестан? И вы, господин Болд, сказали еще, что храбрых воинов в русском Туркестане ждет богатая добыча. Как понять ваши слова, господин Болд? Или Англия расторгла договор дружбы с Москвой? Или британцы подружились с Гитлером?

Повернувшись всем телом в кресле, шейх устремил свой взгляд на Ашки-эффенди, который опустил низко голову, выставляя на обозрение свою зеленую чалму.

Сэр Болд сказал, что господин шейх его не понял. Британия не помышляет нападать сейчас на Россию. Россия проявила в войне слабость. Россия не в состоянии заниматься миллионами мусульман, проживающих в ее пределах, особенно в Туркестане. А почтенному шейху Музаффару известно, что Британия издревле стоит на страже интересов мусульман Востока. Британия бескорыстно желает мусульманским народам Кавказа, Поволжья и Туркестана добра. И если создастся благоприятная ситуация, почему бы Туркестану не избавиться от зависимости и обрести... свободу.

Зеленая чалма беспокойно зашевелилась, что можно было слышать и за одобрение, и за неодобрение. Шейх Музаффар промолчал.

Мечты о свободе для мусульманских народов России у сэра Болда, оказывается, были связаны с очевидной победой гитлеровцев под Сталинградом. Падение Сталинграда может послужить сигналом для «освобождения» Туркестана. Речь пойдет о помощи Туркестану, чтобы он не попал в лапы фашистов. Не исключено, что придется начать поход под зеленым знаменем пророка. В походе примут участие и британские войска, в основном укомплектованные индийскими мусульманами. Никаких завоевательных планов у Британии нет. Речь идет о самостоятельном правительстве Туркестана. Новое туркестанское правительство уже создано и находится в Мешхеде. Представитель Хамидходжа Бекмурзаев уже приехал в Исфаган для переговоров...

— С кем воевать?! — воскликнул шейх Музаффар. — Кого же должны разить мечом божьим газии?

Сэр Болд обладал всеми деловыми качествами резидента могущественной страны. На Востоке он проводил «линию откровенности»: никаких тайн; полная откровенность; простота, граничащая с грубостью; деньги на бочку. Можете получить столько-то и столько-то. Шейх Музаффар живо представил себе узкий

длинный кабинет фон Папена в Анкаре, открытый зев сейфа, стопки долларов и фунтов, блеск золота. На вилле «Букет роз» все то же. Торгуются так же. Впрочем, сэр Болд не распахивает дверок сейфов. Он не рассчитывает на наивность горцев.

Зеленая чалма ритмично покачивалась. Шотландское виски туманило мозг. Шампуры с кебабом источали соблазнительные запахи. Очаровательные «кенизек» не прислуживали, а танцевали, поднося блюда и чаши.

Естественно, шейх Музаффар высоко ценил «линию откровенности», но он не был противником тайн. Шейх Музаффар сам был тайной, которую давным-давно пытался разгадать сэр Болд. Да и сам Болд и вся его вилла «Букет роз» отнюдь не чуврались таинственного. На самом деле все здесь противоречило пресловутой «теории откровенности».

Вся вилла «Букет роз» представляла собой тайну. Взять хотя бы плешивого амбала, вечно с веревкой на плече окалачивавшегося против ворот.

Сам начальник полиции города Исфагана, проезжая, поглядывал почтительно не на ворота виллы «Букет роз», а в противоположную сторону и притом многозначительно подмигивал амбалу с веревкой, перекинутой через плечо.

— Россия — враг азиатских народов, — продолжал с улыбкой, похожей на гримасу, сэр Болд. — Всегда была врагом, является врагом и останется врагом. Схватка не на жизнь, а на смерть на Востоке произойдет между Великобританией и Россией. Вы, азиаты, должны готовиться к схватке с коммунизмом. А вы, почтенный шейх, заинтересованы в Туркестане. Вы, верховный ишан Кабадианский, хранитель весьма чтимой могилы святого в Средней Азии. Неужели вы, правоверный мусульманин, не жаждете вырвать святыню из рук неверных?

Но, видимо, сэру Болду надоели серьезные разговоры, и он вдруг заговорил о другом:

— Вернемся к девушкам.

Шутил сэр Болд грубо. В шутках его ощущался странный привкус. Болд почему-то интересовался главным образом цветом женских волос. Почему среди курдских девушек так много рыжих, бронзово-рыжих. И что скажет на это шейх Музаффар? Не правда ли, что недавно шейх приобрел такую бронзоволосую красавицу? И что привез ее на грузовике в кочевье не кто иной, как большевик из советских офицеров.

Шейх Музаффар невозмутимо завтракал. Он любил принимать пищу в покое. В патио царил прохлада. По зеленоватой глади мраморного бассейна бегали длинноногие пауки. Листва вековых вязов шелестела в вышине. Обнаженные руки прислужниц порхали перед лицами гостей, распространяя ароматы мускуса и амбры. Сэру Болду очень хотелось поглядеть на красавицу, которую шейх Музаффар прячет в своем шатре.

Завтрак проходил очень мило. Но шейх Музаффар отлично разглядел, что за листвою айвового дерева в стене имеется окошечко и что в окошечке мелькает лицо. И шейх, будучи военным человеком, возблагодарил аллаха, что тот надоумил его взять с собой и усадить у мраморного бассейна вооруженных кухгелуйе. Аллах вообще не забывал надоумить шейха на сей счет.

Сэр Болд снова коснулся политики:

— В конце прошлого века, после второй афганской войны, только падение министерства Биконсфилда остановило продвижение Великобритании на Герат, в Закаспийские пустыни. Новое правительство ее величества королевы Виктории подсчитало, что Афганистан — дорогостоящее приобретение. Отойдя за Сулеймановы горы в Индию, мы позволили русским утвердиться в Ахале и Мерве и потерпели в Азии поражение. Большевики продолжают свою экспансию на Восток. Планы русских построить дорогу Кушка — Герат — Кандагор губительны для интересов Великобритании. Никогда, я полагаю, не надо забывать об этом.

Вдруг шейх Музаффар ударил себя в грудь. Сэр Болд удивился. Экспансивность совсем неуместна.

— У меня нет тайн от моих друзей англичан! — воскликнул шейх. — Мои луры готовы сражаться.

Зеленая чалма резко нагнулась и подскочила кверху.

На хмельном лице Ашки-эффенди пронзительно голубели фарфоровые глаза. В них читалось любопытство. Шейх быстро посмотрел на него.

В этом любопытстве шейх нашел подтверждение возникшей у него мысли: молчаливый чалмоносец, старающийся держаться в тени, на самом деле не просто дервиш. Ашки-эффенди — человек власти. Шейх Музаффар сказал:

— Тайны не нужны. Дружба нуждается в доказательствах. Вы дадите нам винтовки, пулеметы, патроны. Это раз. Вы вернете лурам пастбища, где компания южной нефти поставила буровые вышки. Вы заключите с лурами договор о вечном мире... Никогда больше Британия не посягнет на священные горы и земли лурав. Тогда останется подписать договор и скрепить его печатью. Тогда придет час битвы.

Говоря, шейх встал так, что между ним и окошечком в стене оказался сэр Гемфри Болд. Шейх Музаффар не хотел испытывать промысел божий. Добродушно, почти ласково смотрели его глаза. Он допустил дерзость. Осмелился ставить условия представителю могущественной Британии. Он мог ждать чего угодно: взрыва ярости сэра Болда, даже выстрела. В патио виллы «Букет роз» иногда стреляли. Кое-что знали о связях фидайев — «черных братьев мусульман» — с виллой «Букет роз». Уж не из фидайев ли этот таинственный Ашки-эффенди?

Но ингриз Болд не выдал своих чувств. Он выслушал невестную дерзость шейха невозмутимо. Правильно говорили, что

ингриз Болд настоящий «захирэ» — заготовленный впрок. Дубленая красноватая кожа лица его ничуть не изменила своего цвета. И улыбочка на тонких губах казалась заготовленной впрок. Правда, из насмешливой она сделалась зловещей. Видимо, англичанин знал больше, чем говорил.

Шейх Музаффар понимал, что ингриз разочарован, страшно разочарован и взбешен.

Сэр Болд оставался любезным. Любезность павиана, конечно, нелепость. Но под небом Ирана, в благоухающем розами Исфагане, все возможно — любая нелепость.

Сэр Болд любезно улыбался. Он не задерживал у себя высокого гостя и не нашел нужным ответить на слова шейха, когда он еще раз предложил выручить леди Летицию. Так шейх Музаффар и уехал из Исфагана, не получив ответа.

Приезжал он не по собственному желанию. Ездить в города Ирана небезопасно, особенно вождю горцев кухгелуйе. За голову его тегеранское правительство не один раз назначало награды, сумма которых могла обеспечить средней величины селению безбедную жизнь до скончания века.

Но пользу шейх Музаффар из посещения виллы «Букет роз» вынес. Он убедился, что в Иране и особенно в южных астанах назревают события... Иначе чем объяснить, что Лондон прислал такую важную персону, как Ашки-эффенди.

Кругом простиралась равнина, скупо поросшая низкорослыми кустиками полыни. Густые облака низко ползли над самой головой, дыша холодом и сыростью. Шейх гнал коня, не давая отдыха ни ему, ни своим кухгелуйе. Шейх торопился. Он не мог воспользоваться автомобилем: ехали по тропкам, оставленным копытцами коз и овец. Шейх торопился и не хотел терять времени на долгие объезды. Многие часы пробирался он со своими спутниками, борясь с резким вихрем. Шейх любил верховую езду, но и ему надоел этот настойчивый ветер. Кухгелуйе ехали поодаль. Наохлившись, они плелись верхами, на своих выносливых лошадках, не задумываясь, куда и зачем ездил их грозный шейх. Пути господни неведомы.

Казалось бы, что на столь долгом и монотонном пути сам шейх имел полную возможность поразмыслить. Но если бы кто-нибудь мог сейчас узнать мысли шейха Музаффара, поразился: он думал не о войне, потрясавшей мир, не о немецких парашютистах, спускающихся в кочевья кашкайцев, не о планах ингризов. Его занимало, как щепетильный в вопросах чести сэр Гемфри Болд мог оставаться столь безразличным к судьбе леди Летиции. Не мог же он примириться с тем, что его супруга попадет рабыней в гарем аравийского эмира. Шейх Музаффар и ехал в Исфаган с мыслью поставить сэра Болда перед необходимостью предпринять решительные действия против Кашкай, державшего англичанку в плену. Шейх намеревался нанести удар

Кашкаи руками англичан. Почему же Болд никак не реагировал на его слова?

Да, оставалось предположить, что Болд затевает крупную игру и не желает ссориться с вождем кашкайцев. И что делает Ашки-эффенди на вилле Болда? Зеленая чалма и голубые глаза. И правда ли, что этот дервиш свое дервишество заработал в Индии на службе у британского правительства?

Шейх не понимал Болда: кухгелуйе кровью мстят всякому, кто осмеливается посягнуть на женщину их племени.

Глава V

Вор думает, что весь мир вороватый.

Белуджская пословица

Долговязый Ашки-эффенди слонялся днями на вилле. Трудно было понять, что он делает. Вероятно, он ничего не делал.

Медленно в огромных восточных с задранными носками папушах он переступал по мрамору квадратных плит. Ступал громко, со сверлящим слух шуршанием. Из длинных рукавов черного халата высовывались лапищи, покрытые жесткими седыми волосами. Седые жесткие брови бахромкой топорщились над глазами впадинами, и Зуфар никак не мог разглядеть выражение фарфоровых глаз эффенди.

Его голова-тыква с большой зеленой чалмой на макушке производила комичное впечатление. «Кто придумал такую голову?— удивлялись и дворецкий, и привратник, и кавасы.— Точно у муравья».

Они привыкли к высокомерию своего господина и ненавидели его. А за что они могли ненавидеть дряхлого, неуклюжего Ашки-эффенди?

Никто не видел, чтобы он написал хоть слово, беседовал с кем-нибудь, ездил по делам. Ашки-эффенди шагал по мраморным плитам у бассейна, снимал чалму и грел лысину на утреннем солнышке, громко шуршал папушами.

Фарфоровые голубые глаза; хрипловатый голос, походивший на звук трущихся друг о друга досок; тяжелые кирпичи непогрешимых сентенций. Кирпичеподобные утверждения Ашки-эффенди обескураживали: «Если и есть англичанин, вовлекший Англию в войну с целью завоеваний или из-за личных интересов, то я, благодарение всевышнему, такого не встречал».

Весь мир возмутился жестокостью, с которой британские оккупанты подавили студенческие беспорядки в Каире. А Ашки-эффенди ласкового объяснил: «Разве Британия не является самой демократической страной в мире?»— И тут же наивно добавил: «Не надо, чтобы Восток увидел, что Англия вынуждена поддерживать феодалов-землевладельцев и подавлять демократов».

А чего стоили такие утверждения, совершенно непонятные в устах восточного человека, каким старался казаться Ашки-эффенди: «Люди Востока — серятина. Похожи друг на друга, словно острия иголок. Ни на что не пригодны, разве в солдаты, да и то под командой европейцев».

«Восточным людям нечего показывать университеты и фабрики, я приказал бы водить их на парады. Двадцать тысяч автоматчиков в строю внушили бы дикарям правильное представление о силе и могуществе белого человека».

«Гитлеру надо бы поучиться у Чингисхана и Тамерлана истреблять непокорных».

«Скорое падение советской власти не вызывает сомнений».

«Второй фронт? Пока не будет пришита последняя пуговица к мундиру солдата англичанина, второй фронт — фантазия».

«Оружие и снаряжение, доставляемые по Трансперсидской дороге, вредят союзникам».

Ашки-эффенди не стеснялся. Но он считал ошибкой истории, что Великобритания сражается против Германии. Непрерываемым авторитетом для него были суждения салона леди Астор, открыто высказывавшей профашистские взгляды.

Героем войны он почитал командира корпуса пустыни генерала Роммеля — «Лиса пустыни». Ашки-эффенди радовался поражениям «бездарных салонных генералов», к которым относил английских военачальников.

«Кирпичи» Ашки-эффенди приводили Болда в ярость. Прямые, как палки, взгляды Ашки-эффенди должен был держать при себе.

В своем патио сэр Болд цедил тощие фразы об уважении к советскому союзнику. Но и он полагал, что русские потерпят поражение.

Его не радовала перспектива столкнуться на Среднем Востоке с фашизмом. История стучалась в дверь. Исчезала старая добрая Азия, унавоживавшая в течение веков поля Британии. Ашки-эффенди понимал: если СССР сойдет со сцены, начнется драка между Англией и Германией на Среднем Востоке, а это окончательно подорвет авторитет белого человека».

И в такое время в Южный Иран, где переплелись все нити международной политики, вдруг присылают «холодец из телячьих ножек», этого тупицу, эту загадку в зеленой чалме.

Сэра Болда не обманешь тяжелыми, гладкими и плоскими, как кирпич, сентенциями. Ашки-эффенди рассматривает всю Южную Персию как свою сатрапию... Ашки-эффенди нравилось быть сатрапом.

Он пока присматривается. Неожиданно появляясь из-за спин разговаривающих, он всех пугал. Ашки-эффенди осторожно интересовался опием, коврами, гуммидрагантом, нефтяными полями, бараньими кишками, золотом, розовым маслом. Он даже

оживлялся, делался почти словоохотливым, едва речь заходила об откупках, концессиях, подрядах.

Бережливость также, по-видимому, входила в число добродетелей Ашки-эффенди. Сказывалась жилка старого колониального чиновника: птичка по зернышку клюет—сыта бывает. И этому плаксе и разгильдяю Ашки-эффенди сэр Болд отдаст созданный с таким трудом Средний Восток?

Англичане говорят: «Надо уметь отсиживаться в притоне». Благоустроенная, богатая вилла «Букет роз» мало походила на притон. Сэр Болд «отсиживался в притоне».

Деловая переписка дипломатических работников у англичан почитается частным делом. Письма — личная собственность отправителя. Вся корреспонденция для Ашки-эффенди шла через виллу «Букет роз». Сэр Болд не отказался использовать прекрасные возможности быть в курсе всех вопросов.

«Кто ужинает с дьяволом, тому надо запастись длинной ложкой». Это не мешало бы знать Ашки-эффенди. Сэр Болд установил, что фашистский посол в Анкаре Гельмут фон Папен передал через Ашки-эффенди информацию для Лондона. Лишь в известной части она была правильной. В основе своей представляла галиматью. А тем временем из Турции широким потоком текли оружие, амуниция, люди.

Не сидел сложа руки сэр Болд. Он перехватывал каждого немца, каждую партию контрабандного груза. Одним фашистам он помогал пробираться в безопасные места, чтобы не терять их из виду, других передавал в руки персидских властей, третьи, наконец, просто исчезали.

Сэр Болд смотрел на Иран, как на свое родовое поместье. Он распоряжался целыми провинциями, племенами. Он утверждал, что поступает так во имя принципа и Англии. На своих плечах он нес бремя белого человека. Возможно, эта наивная убежденность являлась его единственной слабостью. И та же убежденность, вера в незыблемую истинность своей миссии — миссии англосакса на Востоке — делала его самым жестоким, самым беспощадным проводником империализма в Азии. «А дохлые идеи, расцветающие в разжиженных гуманизме и демократией мозгах лондонских государственных деятелей и парламентариев, пусть себе тухнут». К таким идеям сэр Болд относил и союз Черчилля с Советским Союзом в войне против гитлеризма. Сэр Болд считал союз ненужным. Он слишком верил во всемогущество Великобритании: «Немцы вождедеют к бакинской нефти. Британия не может относиться к этому нейтрально. Мы не потерпим, чтобы немцы пришли в Баку. Но и мирволить русским нечего. Если большевики не пустят наши войска добровольно, мы войдем силой. И на Кавказ и в Туркестан. Кавказ без Туркестана не удержать — мы должны стать твердой ногой в железном сапоге. Логика истории!»

С солдатской прямотой сэр Болд заявил: «Любишь меня — люби и мою собаку». Мы на Востоке хозяева. Если восточные люди нам честно будут служить, мы, британцы, заставим любить вас и уважать».

Без ведома своих лондонских хозяев, без ведома их агента Ашки-эффенди сэр Болд всегда держал про запас свору «собак». Они служили не Лондону, не Британии, не идее. Они были собаками одного лишь сэра Болда.

И Сефьет, если она поняла это, он относил к разряду своих собак. И ее и членов Трабезонского министерства.

«Никаких идеалистических иллюзий. Голая утилитарность. Востоку надо считаться с фактами», — говаривал сэр Болд.

Глава VI

Плакался волк аллаху: «Я так одинок».

Гульхани

Не голос тигра, не пантеры, не льва слышу — кричит лишь осел со шкурой льва на спине.

Мухаммед аз Закаррия Самарканди

Все чаще Даллас Рокфор оскорбительно отзывался о шейхе Музаффаре. Он называл его презренным «нигером» за темный цвет лица.

Сэр Гемфри Болд знал Восток и откровенно боялся шейха, понимая, что за внешней медлительностью Музаффара, создающей впечатление, будто ему вообще нечего делать, кипит поток раскаленной лавы, готовый смести любое препятствие. Как обманывались европейцы, любуясь в шатре великолепным безделием шейха. Казалось, что шейх вообще ничего не делает и не намерен ничего делать. С утра до вечера он мог сидеть в обществе своих ловчих и лениво слушать рассказы о птицах, о корме для них, о кормушках, о колпачках и еще о тысяче каких-то плохо запоминающихся мелочей.

Такое поведение Музаффара не вводило сэра Болда в заблуждение. Он знал подобную игру и сам мог вести ее. Но преподобный Даллас принимал все за чистую монету. Под конец он вообще решил, что шейх Музаффар — лежащий камень. А от камня, лежащего на дороге, можно отделаться, столкнув его с дороги.

Конечно, он понимал, что вождь кухгелуйе больше, чем маленький князек, глава небольшого народа и полунищий хозяин диких бесплодных пустынных гор. Что бы ни предпринимал преподобный Даллас Рокфор, все упиралось в горах Загроса в шейха Музаффара. На равнине в Исфагане чувствовалась железная рука в бархатной перчатке сэра Болда. В горах — железная рука Музаффара без всякой перчатки. Земель здесь без шейха не продавали. Люди не соглашались идти на работу внаймы. Дол-

лары в горах ничего не стоили. Шейх не позволял кухгелуйе принимать доллары.

Его преподобие Даллас Рокфор захотел купить у помещика девочку. Да не подумают плохо — в его доме нужна служанка. Все шло хорошо. Сделка состоялась. Но опять на пути встал шейх Музаффар. Он собрал старейшин и показал им на Далласа Рокфора: «Ференг предложил отцу девушки золото за то, чтобы спать с ней. Господин ференг говорит, что приехал из свободного мира. Он говорит о правах человека, о свободе. По его мнению, вы, горцы, — дикари. Вы не знаете в своих горах свободы. Вы не имеете прав человека. Но разве оскорбление чести своих дочерей вы, горцы, не смыываете кровью?»

Далласу Рокфору пришлось очень поспешно покинуть горную долину. Тогда преподобный Даллас снизошел к Зуфару. Он сидел с ним наедине.

— Вы знаете, — сказал он, — мое имя Даллас, преподобный Даллас Рокфор. Я постоянно общаюсь с богом. Слово божье приносит мне счастье и покой. Придите ко мне, и я поделюсь с вами всем, что мне дает всевышний.

Неожиданно выяснилось, что всевышний дает преподобному Далласу отнюдь не какие-то божественные откровения. Говорил Даллас по-турецки достаточно понятно, и Зуфар ушам своим не верил. Он даже усомнился в своем знании турецкого языка. Но нет, речь шла о долларах. Всевышний, оказывается, снабжал Далласа долларами, очень большим количеством долларов, для определенных земных целей.

Выходило так, что шейх Музаффар мог сильно помешать союзникам в Южном Иране. Даллас разочаровался в шейхе Музаффаре. Он ошибся в нем. Шейх ведет интриги против друзей Америки — кашкайцев. Шейх готовит вооруженное нападение на кашкайские кочевья. Аксию надо предотвратить.

Зуфар позволил себе удивиться:

— На кашкайских землях укрываются немцы? Готовятся посадочные площадки? Шейх требует, чтобы кашкайцы выдали ему немцев?

— Вы не разбираетесь в тонкостях политики. Шейх — разбойник, дикарь. Его надо убить. Он мешает.

— Но шейх ненавидит фашистов. Полезен союзникам...

— Шейх лезет не в свое дело... пугает карты...

Зуфару оставалось пожать плечами.

Тогда Даллас сослался на Сефиет. Турчанка дала самые лестные рекомендации: Зуфар — самый подходящий человек. Вот кому он, Даллас Рокфор, может спокойно довериться и доверить свои доллары.

Зуфар позволил себе выразить сомнение:

— А как посмотрит сэр Болд? Сэр Болд очень болезненно воспринимает, когда в его дело суют нос посторонние.

— Наплевать,— отрезал Даллас Рокфор.— Речь идет об искоренении большевизма, а сэр Болд ненавидит большевиков. Он был по обыкновению пьян, и все мнилось ему удивительно просто.

— Вы, господин Зуфар, родились с серебряной ложкой во рту, и вам валит счастье, то есть деньги.

— А почему вы вообразили, что я хочу взять ваши деньги?— спросил, едва сдерживаясь, Зуфар.

— Это неважно. И потом, кому не хочется стать богатым? Когда у вас на счету в банке Соединенных Штатов будет приличная сумма, никто ничего не скажет о вас плохого. Все скажут, что господин Зуфар — деловой человек.

Сумма, предложенная Далласом Рокфором для искоренения большевиков, свидетельствовала, что всевышний ворочал на Востоке многими миллионами и не стеснялся в расходах. Но почему-то искоренение большевизма Зуфару предстояло начать с шейха Музаффара. Может быть, преподобный Даллас был очень пьян на этот раз, но твердил он лишь одно:

— Найдите кого-нибудь, парня поотчаяннее, и пусть он выпустит кишки шейху,— и совал в руки Зуфару мешочек с монетами.

Отделавшись кое-как от пьяных объятий и поцелуев Далласа, Зуфар в мрачном раздумье вернулся на виллу «Букет роз».

Было отчего задуматься. Зуфар никак не мог решить, что же ему делать? С кем посоветоваться?

Он приказал конюху оседлать коня.

— Коня? Зачем вам, дорогой, коня?— слышался голос Сефиет. Зуфар обернулся. Через патио шла турчанка, как всегда, обольстительная, в легком халатике.— Куда это вы собрались, дорогой?

— Еду в горы.

— К шейху?

— Да. Он приглашал.

— Поезжайте! Поезжайте! Но у меня к вам просьба: по пути заверните к Кербелайи... Передайте записку...

Глава VII

Такой овладел существом его страх, что с неба прах на землю посыпался.

Мухаммед Казим

Временами Зуфару казалось, что Сефиет забыла о нем. Не напоминала она ни о себе, ни о том, зачем они приехали в Иран. Зуфару она предоставила полную свободу. Он мог делать что ему угодно, ходить куда ему заблагорассудится.

— Да,— сказала она,— наш министр Бекмурзаев окончательно зажил и обленился. С самого приезда в Исфган глаз не кажет. Живет в подворье господина Кербелаи. Объявил всем своим исфганским друзьям и почитателям, что вознамерился поститься и совершить паломничество к святым местам. Дорогой! Навестите-ка господина Бекмурзаева и полюбопытствуйте, чем он там занимается.

Выполнить поручение прекрасной турчанки Зуфар взялся с охотой. Хамидходжу Бекмурзаева он видел мельком в трабзонском «Пансионе Сьюисс» и помнил его слова о «сеньоре Прокофио». Интересно, что из себя представляет этот «проповедник высоких истин».

Господин министр не обратил сначала внимания на приход Зуфара. Круглолицый, с заспанным лицом, в белой бухарской чалме, он восседал на подушках в кругу почтительных бедно одетых слушателей и лениво проповедовал:

— Пост приносит пользу телу, улучшает работу органов пищеварения и духа нашего. Богатые делают добрее к бедным, ибо начинают острее чувствовать, что такое голод.

— И охота вам выхаркивать догмы религии,— пропуская вперед Зуфара, шепелявил Кербелаи.

Узнав от Зуфара, что его прислала Сефьет, он самолично поспешил проводить его в парадную приемную, где проповедовал Бекмурзаев.

— Мы шииты,— сказал Кербелаи,— ваша суннитская галиматя нам ни к чему. А если вы такой правоверный суннит, чего вы оплевали нас своими постными непотребствами?

«Ишан положил язык на полочку молчания» — он обиделся. Но на его обиду никто не обратил внимания. Все, очевидно, привыкли к грубости хозяина. Он проявлял полное пренебрежение и к гостям и к приличиям. Слонялся по комнате в своих белых, давно не стиранных кальсонах, в серой курточке, выдавшей виды, и в таком же сером платке, кое-как повязанном на голове, из-под которого торчали седые перья. Раздерганная длинная борода росла прямо из шеи и топорщилась на выпиравшем из-под курточки животе. Кербелаи шамкал и плевался, потому что надел ради гостей свою вставную челюсть, где фарфоровые зубы чередовались с золотыми.

— Можете просвещать светом коранической истины большевиков,— шепелявил Кербелаи.— Скоро вам предоставится такой случай, а здесь мы не нуждаемся в вашей схоластической ереси. Вот к вам пришел посланец от госпожи Сефьет.

Намек на большевиков, нуждающихся в истинах из корана, и имя Сефьет вызвали у Хамидходжи сердцеебие. Он задохнулся и попытался вспомнить, где, в каком кармане лежит флакончик с нитроглицерином. Бедный ишан вспотел и почувствовал, что струйки пота текут у него по спине и животу.

Не столько духовный магнат, сколько финансовый, Кербелаи молитвы расценивал на звон золота. И гораздо выгоднее молча перенести все обиды от старикашки. Сефие сказала: Кербелаи дает и даст много на благочестивое дело возвращения народа Туркестана в лоно аллаха. Надо потерпеть.

Изобразив на своем круглом лице искательную улыбку, Хамидходжа Бекмурзаев думал: «И куда тратит сокровища червяк Кербелаи? Покупает несовершеннолетних? Бедненькие. Каково им, когда эта скользкая гусеница ползает по их розовым телам. Тьфу! И вот земля терпит такую гнусь! Загадка природы».

А тем временем «загадка природы» шлепал в разодранных порывших чувяках по ценнейшему, но пропылившемуся ковру и распространял вокруг себя запахи опиума, коньяка и приторного мускуса.

Рядом с Хамидходжей Бекмурзаевым за суфрой сидели красавец туркмен Иман Кули, купец Арутюн, обрюзгший, с зеленым лицом печеночного больного, и... Тюлеген Поэт.

При виде Зуфара Тюлеген вскочил и изобразил на своем больном лице гримасу радушия:

— Приятная неожиданность! Садитесь, откушайте чаю.

Внешне Хамидходжа Бекмурзаев ничем не проявил ни беспокойства, ни удивления и, небрежно приложив руку к сердцу в знак приветствия, продолжал слушать купца Арутюна, который рассказывал о готовящемся нападении иракских арабов на Абдан.

— Все просто. Легче, чем чиркнуть спичкой. Абдулрахман Азад уже выступил. Нефтеперегонный завод в десять миллионов тонн горячего взлетит, и союзники останутся без топлива.

Почему в доме верховного священнослужителя Иранского государства, давнишнего друга британцев, так оживленно и за просто обсуждают диверсию против крупнейшего предприятия Британии на Востоке, Зуфар не понял.

Тут он поймал растерянный взгляд Бекмурзаева. На самом деле ишан, оказывается, сильно напуган неожиданным приходом Зуфара.

Про Бекмурзаева говорили, что он варится в котле изощренной политической кухни, выполняет рискованные, порой смертельно опасные задания, служит верой и правдой своим хозяевам, но по своей природной лени стоит ужасно далеко от дипломатии и международных событий. Его даже не интересовало, для чего он лезет в пасть тигру. Пасть он видел, зубы и когти чувствовал, а вот был ли то тигр или лев, он даже и не знал. Велик аллах, ему безразлично. Лишь бы выполнить дело, а там укрыться в Мазар-и-Шерифе в своем тенистом саду, нежиться на шелковых курпачах, полеживать в приятной истоме, ласкать полнотелых женщин, играть со своими детьми и

раздумывать: «О всемогущий, зачем ты мне дал все — и богатства, и жен, и сыновей,— а заставляешь скитаться по миру, мерзнуть, гореть, ползать, прятать голову от пуль?»

... Он ужасно потел. Его толстое добродушное лицо жалобно скривилось. Стараясь не смотреть на Зуфара, Хамидходжа делал вид, что не замечает его взгляда. Посланец от Сефиет мог сулить лишь неприятности. Судя по всему, он молил бога, чтобы Зуфар ушел,— он очень не хотел идти к Сефиет.

Но тут Хамидходжа вспотел еще больше: вошел новый гость, по облику европеец, по одеянию курд. Одежда его была старой, выцветшей на солнце. Зуфар поразился, с каким подострастием вскочили Кербелаи, Хамидходжа и Тюлеген и начали отвешивать поклоны.

Сам Кербелаи был весь почтительность, весь внимание. Поразительное действие произвел приход нового гостя на Хамидходжу Бекмурзаева. Он бледнел, краснел. Казался совсем больным.

Воспользовавшись замешательством, Зуфар подсел к Хамидходже и тихо ему сказал:

— Госпожа Сефиет требует вас.

— Что мне Сефиет!— пробормотал Хамидходжа.— Видите, кто пришел.

— Кто он такой?

— Ох, это наш хозяин! Главный хозяин.

— Я помню: его называли тогда Шмидт, коммивояжер Шмидт.

— Он дьявол, а не Шмидт. Он — полковник Крейзе...

Крейзе. Имя это Зуфар впервые услышал здесь, в Иране, от Кузьмича. Кузьмич предупредил, что надо остерегаться полковника Крейзе.

Зуфар кривил душой. Он сразу узнал Шмидта, который допрашивал его тогда в посольстве фашистского рейха. Совершенно белые, почти серебряные гладко прилизанные волосы, нежная розовость щек, сардонический прикус губ — такая наружность не забывается. Но вот чтобы коммивояжер Шмидт оказался полковником Крейзе, это уже неожиданность. Теперь Зуфара заботило другое: узнает ли его Крейзе. Лучше было бы, чтобы не узнал.

А Хамидходжа Бекмурзаев, воспользовавшись тем, что Шмидт-Крейзе разговаривал в дальнем конце обширной комнаты с Кербелаи, доверительно шептал на ухо Зуфару:

— Кого угодно мог в Исфагане увидеть, только не этого дьявола. Что поделаешь? Мир тесен. Земля-потаскушка позволяет топтать себя всякому.

Пока что полковник и виду не подал, что узнал Зуфара. А возможно, и не узнал. Разговаривал себе с Кербелаи и даже не присаживался за суфру.

И Зуфар решил не торопиться с уходом.

Интересно, а знает ли сэр Болд о приезде Крейзе в Исфаган? Город кишит агентами британского резидента. Появление даже самого ничтожного дервиша на базаре не проходит незаметно. А ведь от подворья Кербелай до виллы «Букет роз» двадцать минут ходу.

Очевидно, сэр Болд знает. Иначе полковник не вел бы себя так спокойно. Очевидно, немцы чувствуют себя в Иране очень уверенно.

Зуфар посмотрел в сторону разговаривающих и поймал взгляд Крейзе. Ясно. Полковник узнал его.

А Хамидходжа просто изнемогал. Он потел. Его грузное тело истекало испариной, белье взмокло.

На Зуфара он не обращал внимания и весь напрягся, отчаянно пытаясь расслышать, о чем полковник Крейзе разговаривает с духовным владыкой всех мусульман Южного Ирана.

Хамидходжа понял очень мало. Одно сделалось ясно. Опасность больше, чем он предполагал. Было отчего потеть.

Молча сидел Зуфар, прислушиваясь к разговору Крейзе с Кербелай.

Полковник Крейзе торопится. Полковника Крейзе подстегают события. Он энергично действовал — вербовал людей среди кочевников и среди иранского оседлого населения из крестьян, студентов, купцов, журналистов, духовенства.

Очевидно, Крейзе сориентировался уже в Южном Иране. Он чувствовал себя в кипящем котле интриг и происков как рыба в воде. Судя по его словам, он уже побывал в Казеруне, в Ширазе. Крейзе сказал хозяину дома, что Мирза Кашкаи, или как его часто именуют — Кавам аль Молюк, отдает все силы, средства, людей и готов возглавить дело. Какое? Так Зуфар и не понял.

Сейчас Крейзе поднимал арабов Фарса и, быстро повернувшись к зеленолицему Арутюну, предложил забрать «те самые мешки», погрузить их и, не теряя ни минуты, отправляться на север Фарса.

Зеленолицый удалился с поклоном, а Крейзе продолжал беседовать с Кербелай. Оказывается, полковник гостил у хана племени Боюр Ахмеди и у афганского феодала Сарем ад Доуле. Тюлегену надлежало отправиться сейчас же в караван-сарай купца Коина, забрать тюки и отбыть куда следует. Да не забыть и Сарем ад Доуле. Ему следует подбросить кое-какие объедки.

Тюлеген удалился с поклоном.

А Крейзе с интересом разглядывал красавца туркмена и вдруг спросил:

— Целый баран?

Речь, очевидно, шла о великолепной белой папaxe, которую

туркмен не считал нужным снять с головы, даже сидя в обиталище такого почтенного человека, как Кербелаи.

— Два барана,— сурово пояснил туркмен.— Лучшие белые бараны с Сумбара. Или господину алману не нравится туркменский тельпак? А зовут нас Иман Гельды.

Туркмен вложил в свои слова все презрение степняка к городу и горожанам.

— А-а-а,— протянул без всякого выражения Крейзе.— Идите в караван-сарай и получите у Оганова что причитается. Когда вы будете в пустыне?

Говорил Крейзе по-немецки, и туркмен ответил по-немецки:

— Сегодня пятница... Во вторник.

— Ауфвидерзеен.

— Ауфвидерзеен.

Покачивая своей двухбараньей папай, Иман Кули величественно удалился.

Хамидходжа завертелся, заерзал на месте. Его прошиб холодный пот. Крейзе уставился на его толстое лицо.

Тогда Кербелаи залезил:

— Господин Зуфар, не откажите в любезности. Пройдите с нами в соседнюю гостиную. Не откажите составить приятное общество для нас, пока эти уважаемые господа побеседуют между собой о высоких материях, интересных лишь им самим.

Кербелаи искал предлог увести Зуфара и ничего интересного ему не сообщил.

Но зато интересен оказался рассказ Бекмурзаева. Взыгченный, крайне расстроенный разговором с полковником Крейзе, Хамидходжа Бекмурзаев разоткровенничался, когда они шли по вечерним улицам Исфaghана. Совершенно постороннему, казалось бы, человеку он выложил душу. Так бывает. И все же Зуфар понял, что Хамидходжа откровенен не до конца.

Глава VIII

У всякой вещи, едва она достигнет совершенства, наступает ущерб. Пусть не обольщается человек благополучием жизни.

Салих ар Ронди

Девяносто девять напали на одного несчастного, а кожа его оказалась чуть поцарапанной.

Ходжа Насреддин

Желтый сорванный осенними ветрами листок!

Ишан Хамидходжа Бекмурзаев сравнивал себя с осенним листком.

«Хватит. Довольно,— говорил Бекмурзаев.— Мое призва-

ние — тенистое местечко под карагачем, ковер, прохладные струи арыка. В чем же дело? Почему на мою долю, долю спокойного, доброго человека ежедневно достается столько событий? Все мои друзья живут тихо.

Все у них добропорядочно. Все отпущено судьбой в меру».

Хамидходжа Бекмурзаев проклинал свою судьбу.

— И все из-за беспокойного отца, святейшего ишана Ходжи Ахрара Убайдуллы. Унаследовал он зуд стяжательства и властолюбия от нашего предка, Хаджи Ахрара, свергнувшего с престола власти безбожника Улугбека и умножившего богатства ордена во всем мире от Китая до Испании.

Отец Хамидходжи тоже «протягивал руку жадности и власти к Китаю и к Африке». И совсем не случайно бедняга Хамидходжа уподобился желтому листочку, гонимому вихрями политических бурь то в Кашгарию, то в Индию, то в Камерун. Отец взваливал на его плечи тысячи беспокойных дел. Хамид был еще совсем юным, когда ему пришлось с головой окунуться в приключения. Ему бы гонять голубей и играть в ашички, а его приставили проводником к немецким офицерам, бежавшим из Самаркандского лагеря военнопленных. Тогда-то он впервые столкнулся со своим злым гением Гельмутом фон Крейзе.

Молодой отпрыск померанских помещиков Крейзе Гельмут уже в военном училище проявил способности к восточным языкам. Получив офицерский чин, Крейзе был представлен на новгороднем балу некоему барону Флоксу. Под этим именем в светских салонах был известен подполковник Николаи, начальник германской разведки.

Таланты молодого офицера нашли применение. Крейзе учится в военной академии, путешествует по странам Азии. В Дели и Мадрасе появляется в виде живописца и пишет портрет некоего Убайдуллаходжи, торговца каракулем из Самарканда. Художник пользуется популярностью и устраивает вернисажи своих рисунков. С мольбертом и кистями он разъезжает по Северному Афганистану и в районе пограничных Копетдагских гор, а также на Араксе в Закавказье.

Началась мировая война. Успехи турецкой армии под Карсом и Ардаганом во многом объяснялись невинными занятиями живописью Крейзе. Однако фатальная неудача под Сарыкамышем, гибель ударного корпуса заставили Крейзе покинуть Турцию, исчезнуть. Ему не повезло. Он попал в плен в Галиции, назвался саперным офицером, и его отправили в далекий Самарканд.

Лагерный режим не помешал Крейзе через ишана Хаджи-ахрарского Убайдуллаходжу и двух торговцев мануфактурой Каландаровых связаться с «Красным крестом» в Петрограде. Крейзе заинтересовались особы императорской фамилии. Вскоре Крейзе получил деньги и указания. Ишан Убайдуллаходжа не

остановился перед тем, чтобы подвергнуть своего первенца Хамидходжу всем превратностям путешествия от Самарканда до Аму-Дарьи. И сам Крейзе и второй военнопленный офицер Мейде, которых Хамидходже пришлось провожать, минуя часовых, казачьи разъезды и заставы пограничников, вели себя с Хамидходжой властно и высокомерно. Он получил немало тумачов от них.

Вскоре после Октябрьской революции ишан Убайдуллаходжа предпочел не иметь дела с большевиками, отряхнул прах со своих ног и удалился с семьей в священный город Мазар-и-Шериф в Северном Афганистане, где имел богатые имения и сады. Сына своего он посылает в Индию по торговым делам. Первый, с кем он встретился в Бомбее, был специалист по мехам — Макки Дойд, англичанин. И хоть мозги молодого человека заросли жиром, но у него сразу же хватило сообразительности, чтобы понять, что его отец Убайдуллаходжа — слуга, а Макки Дойд — хозяин. Открытие ошеломило Хамидходжу, и он безропотно отдался в руки полковника Макки Дойда, скромно именовавшего себя специалистом по индийским мусульманам.

Месяца три Хамидходжу натаскивали и, наконец, перебрашили в Советский Туркестан собирать по крохам то, что осталось в Татарии, Башкирии, Оренбурге от полезной деятельности Убайдуллаходжи, имевшего широкую агентуру среди татар мусульман Поволжья, Урала и Западной Сибири. Оказалось, что Убайдуллаходжа, оставаясь верноподданным Российского престола, весьма умело используя свои торговые связи через Крым и Кавказ, вел работу на Константинополь. Революция порвала связи. Хамидходже немало пришлось трудиться, чтобы заполучить похвалу полковника Макки Дойда.

К несчастью, Хамидходжа, по своей ленивой природе, работал небрежно и привлек внимание органов ЧК — ГПУ. Лишь случай спас его. Он вернулся в Мазар-и-Шериф. Но недолго он жил спокойно среди цветников и фонтанов отцовского дома. Вскоре вновь пришлось взгромоздиться в седло и отправиться в самую Мекку. Макки Дойд потребовал, чтобы Хамидходжа разыскал в Аравии и Египте тех мусульман России, которых в свое время переправлял к святым местам ишан Убайдулла в качестве паломников и которые по тем или иным причинам не вернулись на родину. Стонал и охал муллабача, но отец прикрикнул: «Ты сын великих ишанов! Чернь и ничтожество захватили Туркестан. Мы, и я и ты, призваны восстановить порядок. А порядок — значит, когда один из тысячи имеет все деньги, блага, женщин и право бездельничать, а все остальные ничего». Хамидходжа был прирожденным бездельником. Взгляды папаша его вполне устраивали. Но сколько лишений, сколько

опасностей приходилось терпеть, чтобы завоевать возможность бездельничать.

Хамидходжа выполнил поручение. Он слепил из осколков сосуд, разбитый вдребезги. Но, увы, в сосуде сохранились лишь протухшие капли жидкости. Макки Дойд остался недоволен. Хамидходжа сидел перед ним, и толстые щеки его дрожали, а глаза бегали в щелочках между веками. «Мы не хотим работать,— говорил полковник почти мечтательно,— нас привлекают удовольствия и развлечения. А ведь нас посылали совсем не за тем, чтобы любоваться танцами живота в каирских борделях. Хочу вам напомнить: кто начал работать на нас, тот не расстанется с нами до могилы».

На этот раз пришлось Хамидходже «тонуть в мутной реке», «жариться в песках пустыни», «бегать зайцем от пуль», «питаться черствым хлебом и пить соленую воду». И все из-за того, что почтенный Убайдуллаходжа вступил в секту африканских сенусситов. Спрашиваете, какое отношение самаркандский ишан мог иметь к африканскому религиозному братству «Сенусси», основанному выходцем из племени кочевых бербер Улад Сиди Юсуф Сиди Мухаммедом и ставшему грозой Северной Африки в начале прошлого века? Оказывается, Убайдуллаходжа провожал туркестанских паломников не только в Мекку, священный город мусульман, но и в далекий Камерун в Западной Африке потому, что некогда в средние века хаджиаххарские ишаны получали со своих мюридов в Камеруне дары — золото, слоновую кость и черных рабынь. Ишан Убайдулла попытался восстановить связи с сенусситами и отправил сына в Камерун. Там, к северу от Тикера и Кабаты, живет воинственное племя фульбе. Большинство мужчин его состоит в дервишеских орденах Кадрие, Шадимия и Сенуссие. В лишениях и тяжелых искусах они закаляют свои физические и духовные силы. Они приняли Хамидходжу и его спутников. Но всех подвергли искусу. Через два года Хамидходжа вернулся в Мазари-Шериф больной, истощенный тропической жарой и чрезмерными воинскими упражнениями. Он долго отлеживался в тени карагача. Макки Дойд затребовал его в Бомбей, но он сослался на болезнь и вскоре уехал с отцом, получившим амнистию, на родину в Самарканд. Хамидходжа думал, что навсегда избавился от Макки Дойда.

В Кызылкургане Хамидходжа поступил в лавку потребительского общества. Жил скромно.

Не совсем понятно, как Наркомпрос счел возможным послать Хамидходжу в двадцать девятом году в Германию учиться. Он не имел даже четырехклассного образования. Отцу его порекомендовали отдать сына сначала в школу второй ступени. Убайдуллаходжа обиделся: «О, Хамидходжа — сын шейха, а сыну шейха что за надобность в грамоте большевиков?» Моло-

дой ишан в группе пролетарского студенчества отбыл в Берлин.

Недолго он вел в Берлине студенческий веселый образ жизни. Деньгам пришел конец, и Хамидходжа попытался на черном рынке сбыть привезенный с собой опиум. Попался. Ему грозил штраф или тюрьма.

Была ли это случайность или нет, но проштрафившийся студент оказался перед лицом Гельмута фон Крейзе. Хамидходжа вертел головой, прятал глаза, гримасничал, надеясь остаться неузнанным. Крейзе улыбался: он очень сочувствует господину советскому студенту. Готов помочь. Но не познакомит ли сначала господин студент его с положением в Камеруне. Камерун до тысячи девятсот восемнадцатого года являлся немецкой колонией, и гитлеровский рейх весьма интересовался бывшими подданными Германии. Хамидходжа почувствовал неприятное жжение в области сердца. Деревянное лицо полковника Макки Дойда предстало перед его взором.

Хамидходжа напомнил полковнику Крейзе о скромном юноше, погонщике ослов, который сопровождал пленного Крейзе и его друга немецкого офицера Мейде из лагеря военнопленных к границе. «Я делился с вами последней лепешкой», — бормотал Хамидходжа. Полковник Крейзе признателен юному проводнику, но считает, что пора поговорить о делах.

Растерявшемуся Хамидходже уже мерещилась тюремная койка и черный хлеб. Он сидел оглушенный, чуть не плача...

Райской песнью прозвучали мысли, высказанные полковником Крейзе. Германский рейх интересуется всем, что происходит на Востоке и, в частности, в Туркестане. Для полковника Крейзе не секрет, что господин студент оказывает услуги английской разведке. Вот и в Камеруне, например... Одним словом, откровенность и доброжелательство! Что же касается штрафа и тюрьмы... Есть у афганцев пословица: «У кого корона, у того и угощение»...

— У кого горе — у того заботы, у кого праздник — у того веселье. Немцы, равно как и англичане, заинтересованы, чтобы мусульмане искоренили коммунизм в зародыше. Священная задача — война против коммунизма. Помогая невинной информацией фашистскому рейху, господин студент по-прежнему будет служить своим британским хозяевам. То, что господин студент рассказывал сейчас о Туркестане, Камеруне, Кашгарии, Крыме, Северном Афганистане, исключительно интересно. У господина студента неплохие связи. Взять хотя бы Хорезм. Очень интересные персонажи. Весьма пригодятся, когда победоносные когорты фюрера начнут свой марш на Восток. Но всем этим людям необязательно знать, на кого они работают: на

англичан ли, на немцев ли. Важно, чтобы они работали против большевиков. А теперь диктуйте,— закончил Крейзе.

У студента затряслись щеки и выступили слезы на глазах. Никакие увертки не помогли. И в кожаной папке Крейзе появился обстоятельный список имен, кличек, паролей, явок, адресов британской агентуры в Туркестане, Поволжье, на Среднем Востоке. Над созданием ее потрудились не одно поколение маккидойдов.

Как это бывает у людей, обладающих малоподвижными, ленивыми мозгами, Хамидходжа обладал уникальной памятью. Гельмут фон Крейзе даже счел возможным похлопать господина студента по плечу. Ему ничего не стоила любезность: «Из реки воду дарить». Но тут же он спросил очень ласково: «Вы знаете, что такое нежелательное лицо?» Хамидходже снова сделалось жарко. Он отлично знал, что это значит. Тем не менее Крейзе любезно пояснил: «Пока мы беседовали, я не мог решить — отнести ли вас к желательным или нежелательным». Господин студент сглотнул слюну и попытался что-то сказать, но не смог. Есть слова, которые и с пудом меда не проглотить. На пороге Крейзе заметил невзначай: «Вы не настолько наивны, чтобы докладывать полковнику Макки Дойду о нашей приятной беседе».

Конечно, полковник Макки Дойд не узнает о беседе.

Скоро Хамидходжа блаженствовал в купе вагона международных сообщений экспресса Берлин — Белград — Стамбул. Совесть не мучила Хамидходжу. Что ж, придется служить двум господам, если такая служба обеспечивает спокойствие.

На кривое дерево и черепаха влезет. От жалости к себе Хамидходжа даже замотал головой. И он тут же начал с дрожью протирать глаза. Перед ним маячило лицо Макки Дойда. Меньше всего хотел господин студент встретить сейчас зловещего полковника. Нельзя представлять перед лицом духовного наставника с запахом лука и чеснока во рту. А от Хамидходжи за версту теперь разило фашистской разведкой.

Он ничего не говорил. Он жалобно повизгивал. И ждал смерти.

— Ясно,— прозвучал голос полковника Макки Дойда.— И ты думал, что мы не знаем.

Со стоном Хамидходжа поднял толстое трясущееся лицо. И тогда он впервые увидел сидящего рядом с Макки Дойдом сэра Гемфри Болда и впервые затрепетал под его взглядом. У тигра глаза бесстыжие. Позже ему приходилось часто трепетать. Глаза сэра Болда прятались под ненормально толстыми надбровными дугами.

Говорил Макки Дойд. Хамидходжа на все кивал головой. Макки Дойд сказал, что спекуляция с каракулем провалилась,— кивок головы, писк. Макки Дойд рассказал про опиум,— кивок, писк. Макки Дойд объявил, зачем германскому абверу понадо-

билось выручить господина студента из тюрьмы,— кивок, писк.

Выводов полковник не сделал. Он лишь заметил: «В мечети запрещено плевать».

Вместе с сэрмом Болдом он покинул купе, оставив Хамидходжу в полной растерянности.

Желтый, иссохший листок попал в самый центр урагана событий. Пожухлый, хрупкий листок. Ступит на него сапог с грубой толстой подошвой — и останется прах.

Не столько жил Хамидходжа, сколько влачил существование. Не столько существовал, сколько кувыркался на ветру урагана событий. Часто он не верил, что вообще существует, живет. Он потерял вкус к жизни. Ему мерещились кинжалы, револьверы, подсланные убийцы.

Из Турции Хамидходжа долго не мог выехать. Он ждал. Ходил в приглянувшуюся ему кофейню. Выпивал чашечку кофе. Возвращался в гостиницу. Он впал в апатию. Начало войны в Европе прошло мимо него. Он ждал.

В сороковом году в той самой кофейне к его столику подошел одутловатый желтолицый турок. Постоял, посмотрел, чем привел муллабачу в состояние невменяемости. Пожевал толстыми губами и спросил: «Вы из Мазар-и-Шерифа? Пойдемте. С вами хотят поговорить. Безропотного, готового к закланию барашка отвели в дом, но не зарезали, не задушили. С ним говорила очень красивая женщина. Такой он не имел в своем мазаришерифском гареме. Так муллабача познакомился с госпожой Сефией.

Следующие два года превратились в ад. В самом пекле находился Хамидходжа. Он не знал покоя, забыл о своей лени. Он превратился в гончую собаку. Где только не побывал Хамидходжа, что только не делал. Поручения и задания подстерегали его в самых неожиданных местах. Он был рад, что ему доверили лишь роль связного, ни разу не послали на диверсию, не верили в него.

И вдруг он возликовал. Сделалось известно, что полковник Гельмут фон Крейзе погиб. Его убили пустой пивной бутылкой в городе Мемеле во время фашистского путча.

С легким сердцем Хамидходжа поехал в Мешхед, где в то время проживало много немцев. Владеющего немецким языком Хамидходжу чуть ли не в первый день пригласил коммерсант фриц Дермонд. За ужином он увлекательно рассказывал о месопотамском походе, о капитуляции английского экспедиционного корпуса в Кут Эль Амарне, о багдадских значных местах, о танце живота. Герр Фриц не скрыл и того, что его схватила контрразведка бригады Старосельцева, но в восемнадцатом году ему удалось бежать через Галицию в Германию.

Упоминание о плене, о Галиции, о контрразведке взволновало Хамидходжу. Пора было уезжать, но он никак не мог ото-

рваться от длинноносой внучки герра Фрица, веселой и совсем не злой румяной девицы. Дошло дело до того, что он предложил ей в своем дворце в Мазар-и-Шерифе восточные, в стиле сказок «Тысяча и одна ночь» апартаменты и сад с фонтаном. Скромно опустив глазки, немка предложила разнежившемуся ишану поговорить с ее дядей Оттокар-и-Моном, владельцем лучшего писчебумажного магазина. Вечером она повела своего возлюбленного в гости к дяде. В убранной с некоторой даже пышностью гостиной в креслах мирно сидели дедушка девицы Фриц Дермонт и... Гельмут фон Крейзе, полковник. «Не называйте меня, пожалуйста, Крейзе. Ныне я — Оттокар Мон», — сказал «покойник». По крайней мере таким его почитал Хамидходжа.

С тех пор прошло немало времени. Немка так и не поселилась в сказочных апартаментах с фонтаном. Потомок Хаджи Ахрара много раз чернел на солнце, валялся в грязи, умирал от жажды, замерзал на ледяных вершинах, тощал до факирского состояния, опять толстел и белел лицом. И все ради того, чтобы не попасть в разряд «нежелательных».

Подобная жизнь не устраивала Хамидходжу. Он ненавидел такую жизнь. Он, ленивый, неповоротливый, служил двум хозяевам.

Крейзе начал издавека. Перепуганному Хамидходже показалось, что в комнате сделалось темно, хоть яркий дневной свет обильно лился в открытые окна.

— Наше руководство, — многозначительно начал Крейзе, — недоволено вами. Конечно, перед войной вы поработали на совесть. Но наша фашистская разведка сама себя ограничивала. Мы мало разъясняли. Мы не разъясняли, что применение расовой теории Розенберга не распространяется на туземное население Туркестана, Ирана, Индии. Настороженное отношение людей Востока к фашизму мешает разведке. Неправильными оказались сведения о настроениях мусульманского населения Советского Союза. Вы же заверили, что мусульмане отвернутся от Советов в первый же день войны. Наши планы в Баку все еще не осуществлены. Если нефть — королева, то Баку — ее трон. И трон этот в руках большевиков. Ваша агентура — все эти татары, мордва, башкиры, муллы, имамы, бывшие лишенцы — гроша ломаного не стоит. Трусые и кровавые собаки! На словах они мусульмане, а на деле заячьи души. Сейчас, когда с часу на час можно ожидать падения Сталинграда, каждая информация из стана врага может спасти жизнь тысячам славных немецких воинов. Победа близка, но нужна информация! Немедленная информация для близкой победы!

Хамидходжа жалобно пискнул:

— Но правительство Туркестана. Я — министр правительства. Когда ваши, то есть наши, победят, я... поеду в Ташкент... Сейчас мне сказали... Я здесь...

— Кровавая собака!— выругался Крейзе.— Там льется кровь сынов фашистского рейха, а всякие болваны играют в министерства.

— Но,— осмелился занять ишан,— вы сами давали задания, Исмаили, араби, мусульманские братья, могущество ислама. Но нужно время, подготовка. Я сам...

Он даже позволил себе помянуть о роли панисламизма в пангерманизме. Неловко, неумело, но тем самым показал, что он понимает в высокой политике. Отчаянно цеплялся Хамидходжа за спокойную жизнь. Он не хотел уезжать из Исфагана. Он отлично понял, к чему клонит бешеная собака Крейзе. И совсем дела под Сталинградом не так хороши, раз Крейзе понадобилось разуверять в этом своего агента. Нет, полковнику надо во что бы то ни стало немедленно, сейчас выкинуть ишана из спокойного, приятного, полного роз Исфагана в холод, слякоть российских или казахских степей, лететь на бешено швыряемом бураном парашюте, заставить ползти на брюхе по соленой грязи, тонуть в ледяных реках, подставлять голову под пули энкаведистов...

— Благословенный ум мой помутился,— сокрушенно рассказывал потомок Ходжи Ахрара Зуфару,— благородное естество мое сжалось, словно нераспустившийся бутон, из наболевшего сердца вырвался глубокий вздох, благородная моя голова склонилась, и дождь слез, подобных красавицам жемчужинам, покатился из моих глаз. Я не хотел уезжать. Но однажды укушенный вдвойне боится. Я не спорил больше. Возражать я не смел. Умиротворять кобру бесполезно. В городе Катта-Кургане когда-то стоял у мечети преогромный карагач, обладавший способностью излечивать самые тяжелые болезни. На ветке карагача висела веревочная петля. Больной надевал петлю на шею и вешался. Святые люди, состоявшие при карагаче, вынимали больных из петли. Одно из двух: или они успевали вынуть несчастных и тогда больные поправлялись или не успевали. Все в воле аллаха...

С холодком в спине Хамидходжа представил себя стоящим под каттакурганским карагачем. Кожей своей шеи он ощущал шершавую веревку. На него смотрели холодные бесцветные глаза имама карагачинской мечети. Он уже испытывал судорожное удушье. А бесцветные глаза смотрели безразлично, равнодушно, жестоко. И глаза эти принадлежат проклятой собаке полковнику Крейзе.

Рассказывал Хамидходжа о своей жизни беспорядочно, бессвязно. Уже позднее Зуфар сумел привести отрывочные, почти бредовые воспоминания его в систему, разобраться в них. Очевидно, многие факты из своего прошлого Хамидходжа изобразил в выгодном для себя свете. Кое о чем он умалчал. Кое-что сумел расписать яркими красками.

Что толку останавливаться мне
на том, какие блюда подавали.

Джеффри Чосер

«Делили рис — дрались, поделили — пригласили друг друга в гости». Несколько упрощенная, но точная формулировка позиции кухгелуйе и жителей горной страны Загроса. Шейх Музаффар высказал ее немцам откровенно в лицо.

— Вы, ференги, деретесь, когда протягиваете руки захвата. Вы толкаетесь и наносите удары. Вы грызетесь из-за Ирана. Но когда вы поделите наши земли, пастбища, сады, стада, нефть, вы сядете пировать все вместе за пиршественную суфру, а нам предоставите возможность только смотреть на ваше пиршество с высоты виселиц.

Гости не презирают хозяина. Хозяин презирает гостей. В одном шатре угощался Франц Майер, Гаммота, Крейзе. В двадцати шагах за богатым угощением сидели сэр Болд и Ашки-эффенди.

Англичане не видели немцев, фашисты не видели англичан, хотя и те и другие находились в одном кочевье, в нескольких шагах друг от друга. Стенки чадыров тонки, но непроницаемы для взоров.

И сэр Болд и Франц Майер могли с чистой совестью заявить где угодно потом, что они не знали о приезде друг друга в кочевье кухгелуйе.

Шейх Музаффар сказал приехавшему за шерстью Кузьмичу:

— Если бы вор сказал заранее, когда придет воровать, я заручился бы свидетелем. Я не знал, когда они явятся, и не приготовил свидетелей. Будь свидетелем.

Кофе Кузьмич попивал в шатре самого шейха Музаффара в обществе его супруги Гульсун. Грузовик стоял за шатром.

Конечно, шейх не повел Кузьмича на угощение ни к немцам, ни к англичанам. Неудобство чадыров в том, что все разговоры, происходящие в них, хорошо слышны чуть не всему кочевью.

С англичанами шейх Музаффар беседовал любезно, но прямо:

— Пусть ложь за ложь и слова за слова, но если ложь за правду и слова вместо дела, это явный убыток. Разве вы, англичане, не коварны? Все знают, что у меня память верблюда, злая память. Когда восстал против Тегерана мой друг шейх Хазаль, вы, ингризы, обещали ему помочь, сам министр Остин Чемберлен обещал. Хазаль был честный человек, защищал интересы Британии честно. А вы, ингризы, его предали. Вы предатели!

Напомнил шейх Музаффар и про тысяча девятьсот девятый год. Тогда многие долины кухгелуйе обманным путем захва-

тила «Англо-персидская нефтяная компания». Ненависть кухгелуйе к ингризам неугасима. Много лет ингризы чинят зло горцам. Солдаты ингризов нападают на зимовки, когда снежные заносы закрывают дороги и тропы в горы. Кухгелуйе оказываются в ловушке. И тогда просвещенные ингризы посылают аэропланы и бросают бомбы на беззащитных. И так много лет. Сколько крови невинных пролито!

А теперь ингризы ищут союзников против немцев. Почему ингризы решили, что кухгелуйе стали их друзьями? Почему ингризам понадобилось заниматься искомательством перед шейхом Музаффаром, своим старым непримиримым врагом? Почему они предлагают золото? Почему они призывают о помощи, а сами ничего не делают и предоставляют полную свободу немцам? Забравшуюся в курятник кошку надо убивать сразу, иначе она повадится ходить каждый день и сожрет всех кур. Что пользы предаваться печали, когда дело ушло из рук?

Ни с чем пришлось сэру Болду и Ашки-эффенди отбыть из кочевья. Кухгелуйе не пожелали по своей воле переступить порог ада. Лезть в войну ради ингризов не захотели.

Сэр Болд, прощаясь, иронически поблагодарил шейха:

— Прав Саади: «Не вручай должности правителя никому, кроме мудрого, хотя и не дело мудрого быть правителем». Мудрецы откровенностью вредят себе.

Шейх любезно ответил:

— А Мир Наджми говорил: «Заглазно не говори ни про кого дурного слова. Если ты муж, скажи в лицо». Но ни сэр Болд, ни Ашки-эффенди не сказали шейху Музаффару, что своим отказом он подписал себе приговор.

Проводил англичан шейх Музаффар торжественно. Он лично вышел из шатра и, подняв руки, прочитал напутственную молитву. Вождь и народ приветствовали отъезжающих. Гостей буквально на руках отнесли в автомобиль, стоявший под бдительным надзором капрала Джекоба Беркли в двухстах шагах ниже по долине. Какие-то люди бросились к подножке и целовали «землю покорности». Музыканты играли на первобытных инструментах воинственные и торжественные мелодии. Сиворани — знатные всадники — скакали по бокам автомобиля и стреляли в небо из винтовок.

Поправив зеленую чалму, Ашки-эффенди не выдержал:

— Почет не по результатам.

— Собака в золотом ошейнике остается собакой. Он нам устроит собачью жизнь,— пробурчал сэр Болд.— А знаете, зачем карнавал?

Он напомнил, что в соседнем шатре сидели фашисты и все видели.

— Хитер наш шейх. Пыль в глаза. Посмотреть бы, как он проводит немцев.

Немцев провожал шейх Музаффар без всяких церемоний. Он не пожелал терять на разговоры и угощение много времени. Он тоже говорил им прямо в лицо:

— Барана подвешивают за его же ногу. Благодарите судьбу, что восточное гостеприимство делает вас неприкосновенными. Кто натравил кашкайцев на кухгелуйе, мы знаем. Мы, кухгелуйе, не прощаем крови. Уйдите, не причиняйте мне головной боли.

Немцы не хотели понимать. Они не теряли надежды и пытались уговаривать. Хвалились победами фашистской армии, величием новоявленного пророка Гейдара — Гитлера, тем, что скоро, очень скоро в Иран вторгнутся танковые армии Гудериана, всесокрушающие, неумолимые.

Высокомерие и презрение читалось на лицах немцев, но презрительным подергиванием щеки шейх Музаффар подавал знак слугам. Не успевали гости протянуть руку к поданному аппетитно пахнущему блюду с великолепно изготовленным кебабом в пряностях, и тут же слуги буквально из-под носа выхватывали блюдо и уносили его, не обращая внимания на обиду гостей. Долгие сутки немцы ехали по пустыне, по горным безлюдным каменистым дорогам, по болотистым низинам. Приехали в становище кухгелуйе голодные, изнывающие от жажды. Просидели за разостланной пустой суфрой много утомительных часов, пока шейх угощал в соседнем шатре англичан. Дразнящие запахи проникали и в шатер к немцам. Шейх Музаффар, хотел он того или не хотел, устроил своим немецким гостям мучительную пытку.

Шейх проявил настоящее ребячество, он любил наивные розыгрыши. Когда за долгожданным ужином блюда с нетронутыми кушаньями начали мгновенно исчезать, стало понятно, что он откровенно издевается. На возмущенные взгляды немцев шейх ответил еще коварнее. После каждого унесенного блюда он вызывал повара и накидывался на него с бранью:

— Болван, что ты приготовил! Тебе не обед готовить, а отхожие места чистить!

И все же Франц Майер решил игнорировать неуважение. Он прочитал обращение к шейху Музаффару самого фюрера. Он посулил много оружия, амуниции, золота. Он-де слышал, что супруга шейха Музаффара первая красавица, и предложил в подарок ей великолепный, изготовленный из ручных деталей лучшими мастерами автомобиль марки «бенц»:

— У вас здесь камни, щебенка, и нежные ножки вашей прелестной супруги устают ходить по плохим дорогам. Мы знаем: вы, кочевники, не богаты. Вам не на что покупать своим женам автомобили. Примите же от нас подарок.

Шейх Музаффар был краток. Заканчивая прием, он сказал:

— О, сколь многих на поверхности земли мы почитаем ве-

ликими, вроде вашего Гитлера, а они на самом деле мертвы. И скольких лежащих в земле мы считаем мертвыми, а они велики... Вы пришли просить и требовать, но ждете, когда наши быки принесут вам молоко. Гуляя сегодня по лугу, я встретил муллу, змею и зайца. Плохой знак. Быть беде. Когда поедете от нас, не оглядывайтесь.

Он сказал еще, что из скорлупки фисташки корабля не построить.

Когда же немцы позволили себе произнести резкие слова, шейх попросил их больше не приезжать.

— У кухгелуйе есть скверный обычай: отсылать головы не прощенных гостей на подносе крови.

Но шейх все же вышел провожать немцев. Когда они шли по дороге, спускающейся к ручью, мимо на дорогом «бьюнке» прокатил шейх с ярко одетой в лурскую одежду женщиной.

— Кто это? — не удержался Гаммота.

Крейзе сказал:

— Вы не узнали? Мадам Сефьет.

— Что она здесь делает?

Ответил Крейзе:

— Уговаривает господина шейха. Будем надеяться, что женская дипломатия подействует лучше!

— Кто ее сюда привез?

— Наш человек. Известный вам Хамидходжа.

Глава X

Если для успокоения вашей совести нужно лгать, я буду лгать.

Шамсуддин Казвини казий

— Он сделает твою кровь черной!

Слова, произнесенные тихо, даже вкрадчиво, заставили Зуфара вздрогнуть. «Нет, положительно здесь нельзя оставаться самому с собой ни на минуту». А он еще вслух ругал и бранил все на свете.

У резной колонны — «сутун» стоял, прислонясь, капрал Джекоб Беркли. К нему Зуфар испытывал антипатию с первого дня, когда увидел его у ворот виллы «Букет роз». Джекоб служил у сэра Болда шофером, но, судя по некоторым признакам, выполнял и многие другие обязанности.

Нельзя сказать, чтобы в его наружности имелись черты отталкивающие, неприятные. Так с виду — благообразный крепыш, с лицом белым, веснушчатым, каких немало. Сразу с первого слова стало ясно, что он бывал в Туркестане. Он заговорил с Зуфаром на довольно чистом узбекском языке. Да он

и не скрыл от Зуфара, что в тысяча девятьсот восьмом году состоял в Ташкенте при майоре Бейли.

— При шпионе! Да, так точно — шпионе. Немало тогда мы устроили неприятностей господам большевикам. Один Осиповский мятеж чего стоит.

Нелепо было, почему такой знающий и полезный человек прозябал в шоферах у сэра Болда.

Лежит целый день на деревянной карават или шмыгает по улочкам Исфагана с поручениями, явно неблагоприятного свойства.

Широколицый с глазами хитреца Джекоб насторожил Зуфара. Раз Зуфар застал его притаившимся у дверей.

— Подслушиваешь? — сказал Зуфар зло и пошел.

Тут же Джекоб нагнал его:

— Не считай молью человеческой почтенного человека.

Тогда на этом разговор между ними и кончился. Но вскоре Зуфар подумал, что он напрасно ершился. «Хоть и плохонький, но пролетарий». И его потянуло к Джекобу. Шофер умел расположить к себе. Не то чтобы он подделывался к новому другу, подхалимничал, но он умел залезать человеку в душу. «Откроет ли мышь дверь кошке?» Оказывается, открывает.

Сейчас они частенько сживали в каморке привратника и попивали настоящий кофе мокка по-турецки.

Зуфару нравилось простодушие Джекоба, его утонченная любезность, чистоплотность. В комнатке пол, потолок, стены были вылизаны. Сам Джекоб был напичкан историями из жизни Востока, причем историями вполне идеологически выдержанными. И вскоре Зуфару начало казаться, что Джекоб совсем не такая дрянь, каким показался вначале. Его философия, вполне простительная у человека, потерявшего родину, заключалась в давно и широко известном четверостишии Омара Хайяма: «Чаша, красotka и дутар. Пусть я имею их, а ты ищи себе рай».

Он открыто не лез в дела Зуфара, но усмотрел в поведении Сефиет нечто ранящее самолюбие Зуфара.

Не сговариваясь с Сефиет, он тоже не раз говорил Зуфару:

— Тебя большевики не ценят. Ты — государственный ум. Ты — Тимур. Ты — Шейбани. Ты — Бабур. А кто ты? Малый чин. Мелочь.

Сефиет очень просто свела Зуфара с сэром Болдом, который, казалось, сразу же по достоинству оценил Зуфара.

Но игру Сефиет нетрудно было разгадать.

А вот Беркли — сама простота и душевность. Чего ему лыстить.

И в долгие осенние вечера, когда даже мангалка не спасает от холода, струящегося через порог в михманхану, грея руки о чашечку кофе, Зуфар охотно пускался в рассуждения, которые

отнюдь не предназначались ушам кого-либо из челяди сэра Болда — резидента.

И все же сколь ни располагал к откровенности сержант, Зуфар всегда вовремя останавливался на невидимой грани. У него хватало наблюдательности и сообразительности заметить, как не нравилась простодушному Беркли такая его осторожность.

Насторожило Зуфара и другое. Привратник ни разу не отозвался плохо о сэре Болде. Ну не позволил себе ни одного дурного слова, насмешки. Значит, или он действительно предан Болду, или он его человек. Беркли рассуждает так: «Этот большевик не верит ни сэру Болду, ни мне. Большевик думает: «Если меня подослал Болд, я должен ругать Болда». А я хитрее большевика и не стану ругать хозяина, тогда большевик успокоится и подозрения у него утихнут. Большевик скажет: «Джекоб просто слуга, немножко глуповат, немного туповат».

Если Джекоб даже нарочно хотел бы посеять сомнения в душе друга, он не мог бы сделать этого более успешно, когда решил сыграть на самых низменных страстишках. Однажды он позвал Зуфара зайти вечером к нему. Когда Зуфар зашел в комнатку, в ней Джекоба не оказалось. Зуфара поразила, ослепила своей наготой молодая женщина, сидевшая у мангала. Она стыдливо вскрикнула и принялась шарить руками вокруг, собирая одежды, но не торопясь одеться.

Зуфара откровенно покупали. И покупателем выступал простак Джекоб Беркли.

Сведя все к случаю и подшучивая над неосторожным любовником, забывающим о своей красотке, Зуфар сделал вид, что ни в чем не заподозрил Джекоба.

Страстный любовник, клявшийся до того, что он перережет горло всякому, взглянувшему на его красавицу, неправдоподобно хихикнул. Тут же он повел Зуфара в зимний сад угощать «пити», которое он достал на кухне явно для себя одного и которое собирался столь же явно съесть в одиночестве в тени апельсинового дерева, пока Зуфар будет беседовать с неосторожной красоткой.

Беркли посетовал на случайность и заговорил с невинным видом о другом. Он, Беркли, очень не любит, как выяснилось, просто презирает приезжего Ашки-эффенди. Всем надоед он со своим скрипучим голосом и вонючим табаком. Бедного хозяина довел до ярости. Сэр Болд такой хороший, такой тактичный! Разве он позволит хоть словом обидеть слугу? У Беркли полно друзей. Взять хотя бы шейха Музаффара. Конечно, Зуфар знает шейха Музаффара. Хозяин хочет шейху Музаффару добра и благоденствия, а Ашки-эффенди — коварная змея. Хочет разрушить дружбу и причинить зло Музаффару. Вот сэр Болд и зол, ибо не знает, как положить конец зловерным делам приезжего.

Здесь Джекоб Беркли принялся усиленно хлебать пити. Тем самым он предоставлял возможность Зуфару задать вопрос: почему же сэр Болд не в состоянии ничем помочь своему другу шейху Музаффару.

Не дождавшись вопроса и опорожнив полчашки супа, Джекоб сам сказал, в чем дело. Теперь Зуфар был убежден, что шофер все выложит. Только вот с какой целью?

Сэр Болд, оказывается, беспомощен. Не сэр Болд главный здесь резидент, а Ашки-эффенди. Не смотрите, что он тихо говорит и тихо ходит. Недаром он скрипит. Нет, Ашки-эффенди плохой человек, совсем плохой. Сэр Болд очень не любит фашистов. Да, да, не любит. Почему Зуфар так удивился? Почему даже переменился в лице? Не переменился. Значит, показалось.

Сэр Болд всех немцев арестовал и отправил в Тегеран. Теперь приехал этот тихоня Ашки-эффенди и ругает сэра Болда за немцев. Ашки-эффенди — начальник, сэр Болд — подчиненный. Что может поделаться сэр Болд?

Честно говоря, Зуфар струхнул.

Судя по всему, Джекоб Беркли показал, что поездка Зуфара с Кузьмичом известна обитателям виллы. Известны также и его симпатии и антипатии.

Но вот по чьему заданию добродушный Джекоб Беркли проверяет его, Зуфара?

Он отставил чашку и сказал:

— Клянусь, у твоей красотки ляжки хоть куда.

— А! — только мог вякнуть Джекоб и выпучил глаза.

«Если он полезет из-за своей красотки в спор и драку — очень хорошо, — напряженно думал Зуфар. — Если не полезет — дело мое плохо. Значит, он тоже шпион». Хорошо, что Зуфар вовремя остановился и не выложил всего, что у него на душе. Ни разу не упомянул шейха. Не высказал отношения к трабзонским министрам. Ни словом не обмолвился о Сефиет. Но Джекоб явно знал больше, чем рассказывал Зуфар.

И он хотел знать еще больше. Его хозяева хотели знать, что такое Зуфар. Иначе друг Джекоб полез бы в драку из-за толстых ляжек своей возлюбленной. Как там: «Бокал вина, красotka, дутар». Хозяева Джекоба Беркли хотели знать все о Зуфаре. Они сознательно пустили его на простор, дали ему известную самостоятельность, позволили даже разъезжать по пустыне и горам. А теперь? Теперь они нашли, что наступило время ему за свою «свободу» платить. Для начала они подсунили Джекоба. Красавица не в счет, ее придумал, наверное, сам Джекоб.

А все-таки они посчитали его эдаким «кондзахном», персидским болваном, когда подсунули ему красотку. «Сейчас

Джекоб заговорит о Петре Кузьмиче, обязательно заговорит», — подумал Зуфар.

Куском мягкого лаваша Джекоб вытер остатки пищи на донышке чашки, со смаком загнал комок лаваша в рот, аппетитно чмокнул и сказал:

— Сейчас самое подходящее — запретного бы коньяку рюмочку, другую, а? Попросили бы вы, уважаемый, что ли, этого вашего, как его, друга шофера-интенданта привезти мало-мало. Ох, хорошо бы обжечь себе горло

Насчет коньяка Зуфар что-то пробормотал утвердительно, но про Кузьмича даже не заикнулся. И сделал тактическую ошибку. Он увидел кривую усмешку на лице Джекоба. А в глазах прочитал недоверие.

Надо было искать выход — быстро, мгновенно. Здесь шел допрос. Допрашивали Зуфара. Если Джекоб Беркли и балагур, то он смертельно опасный балагур. Пора бы раскусить его. Он же цепной пес сэра Болда.

Хорошо. Они считают его кондзахном. Хорошо, он и будет себя вести кондзахном.

— А я и не знал, что у русского в грузовике коньяк. Я думал, что в моторе бензин. Ха-ха-ха! — рассмеялся Зуфар.

Хихикнув для проформы, Джекоб с завидной опытностью продолжал допрос. Он преобразился в хорька. Даже ноздри у него шевелились.

— Здесь не достанешь хорошего коньяка. А он откуда-то привозит. Вот откуда?

— Да? Но разве привозит?

— Вы бы ему заказали. Он вас послушается. Меня не слушает. Вы советский. Он русский. Вы почти русский.

— Зачем ему меня слушать? Он не верит мне.

— Зачем не верит? Шофер — военный человек. Вы военный, он командир.

— Почему он командир? Разве он командир?

— Он военнослужащий. Вы офицер. Прикажите, он вас слушает.

— И привезет коньяк?

— Привезет.

— Ну!

— Все сделает. Только прикажите!

«Воображаешь, что водишь за нос кондзахна, дорогой друг, — думал Зуфар. — Но далеко не поведешь. Сейчас я тебе самому защемлю нос и...»

— Только прикажите ему, — твердил Джекоб Беркли.

Он дрожал от нетерпения. Ему казалось, что он сейчас поймает Зуфара. Думал, что Зуфар прямо влетит в расставленную сеть.

— Разве интендант дезертир?— удивленно спросил Зуфар.

— Почему дезертир? Какой дезертир?

— Обыкновенный. Разве он сбежал из Советской Армии?

— Почему? Он?

— А если он не дезертир, если он служит, с какой стати он тогда будет выполнять мои приказы? Он же считает меня дезертиром. А у нас в Советском Союзе дезертиров не слушают. Дезертиров расстреливают. К стенке — и бац! Станет он меня слушать. Еще застрелит.

— А вы же?..

Он осекся и испуганно поглядел на Зуфара. Он выдал себя. Теперь Зуфар знал, что его встречи с Кузьмичом тщательно изучаются и проверяются.

Теперь надо было умно объяснить Джекобу Беркли эти встречи, зная заведомо, что он не поверит.

И он решил, мгновенно решил не вступать с Джекобом ни в какие объяснения. Он спросил:

— Вы рыболов?

— М-да... любитель... так сказать, форель или...

— И вы знаете: когда бы вы ни вытащили рыбу из воды, всегда она свежая.

— М-да... То есть...

— Ну вот и мне нужна свежая рыба. Абсолютно свежая.

— Но?

— При чем тут грузовик — хотите вы спросить! А сами догадаться не можете.

Джекоб, по-видимому, начинал догадываться, и он даже с некоторым уважением посмотрел на Зуфара, когда тот сказал ему:

— А вам надо знать: даже в аду есть скорпион, от которого черти укрываются у змея.

— Вы об этой турчанке?

Но Зуфар не счел нужным пояснять, что у него свои хозяева, а у Джекоба свои.

Глава XI

Проскакав на коне мыслей по ристалищу разумения, удалил пыль сомнения с лика светил достоверности.

Муайид ад Дин Рази

За чашкой кофе сэр Болд невзначай повел разговоры о делах в кашкайских кочевьях:

— Наш друг Мирза Кашкаи, оказывается, ведет переговоры с господами фашистами.

Сказанные равнодушным тоном слова могли удивить кого угодно. До сих пор кашкайцы считались верными британскими союзниками. Одна попытка их заигрывать с немцами могла вызвать большое смятение во всем Южном Иране.

Но поразительнее всего было, что сэр Болд заговорил об измене Мухаммеда Насыра Мирзы Кашкаи в присутствии самого Мухаммеда Насыра. Подняв плечи, вобрав в них свою непомерной величины голову и сверля зелеными глазками Мухаммеда Насыра, англичанин стоял перед ним в угрожающей позе и как никогда походил на разъяренного павиана.

Нельзя сказать, что вождь кашкайцев испугался. Всегда прикрытые веками его коровьи глаза еще больше прищурились, и крылья большого крючковатого носа вдруг усиленно зашевелились, да, пожалуй, толстая нижняя губа выпятилась еще больше. Но в остальном он оставался все тем же флегматичным, благодушным Мухаммедом Насыром Кашкаи, другом сэра Болда и постоянным желанным гостем и завсегдатаем виллы «Букет роз».

Скорее всего напугался стоявший за шезлонгом своего хозяина секретарь и телохранитель вождя кашкайцев, безбородый, безусый, с покатыми плечами конфетный красавец. Персиковый румянец сразу сошел с его щек. И капельки пота выступили на лице.

Помахивая своими обезьяньими руками, сэр Болд вплотную подошел к Мухаммеду Насыру и долго разглядывал его, точно видел впервые в жизни. Гримаса на лице англичанина могла напугать и более храброго человека, чем Кашкаи. Вождь мужеством не отличался, и все это знали. Одно уж то, что он не шевельнулся и не раскрыл рта, показывало: заявление сэра Болда оказалось для него полной неожиданностью.

Он весь обмяк в шезлонге, лежал безжизненным кулем. Полное его лицо набрякло, и щетина на щеках, усики, густейшие черные брови резко чернели на мертвенно белом лице. Он выглядел жалко со своими кокетливо подвитыми волосами, ниспадавшими на воротник пиджака, и сбившимся набок франтовским галстуком. Кашкаи напоминал змею с раздавленным хвостом.

Сэр Болд наслаждался его замешательством. Все присутствующие приложили палец любопытства к губам изумления. Известие всех потрясло.

— Что ж! — прорывал сэр Болд. — Восторгаюсь тонкостью нашего друга. Сверхловкий ход!

Он продолжал свирепо разглядывать Мухаммеда Насыра, который, судя по выражению лица, не мог прийти в себя.

Усмехнувшись, сэр Болд показал клыки:

— Господа, наш дорогой друг Мирза Кашкаи тонко учел все обстоятельства. Вы знаете, Анкара ведет двойную игру.

Правящие круги Турции помогают фашистам. Господин Мирза Кашкаи решил усыпить бдительность турок.

Затылок, толстые щеки Мухаммеда Насыра побагровели.

— И наш дорогой Мирза,— продолжал сэр Болд,— решил запросто околпачить немцев. Он расставит им сети. Птички запутаются — и дело в шляпе! Не так ли?

Его охватил восторг. Он картинно ржал и хлопал по пухлому плечу Мирзу Кашкаи и всяческими способами выражал свое ликование. Он заставил Мирзу Кашкаи поделиться результатами переговоров и рассказать о планах немцев.

Что оставалось вождю кашкайцев? Он лишился последних остатков мужества.

Сэр Болд требовал откровенности. И немедленно. Оставалось быть откровенным. Тем более, что, судя по отдельным молниеносно вставляемым замечаниям, сэр Болд знал очень много. Почти все. И всю изворотливость своего ума Мирза Кашкаи, испытанный и коварный политик, постарался использовать, чтобы не сказать больше того, что знал страшный англичанин. Мирза Кашкаи балансировал на острие меча.

Он признал, что к нему приезжали Шмидт, Франц Майер и еще несколько высокопоставленных немцев. Они хотят заключить с кашкайцами и другими племенами договор.

— В недалеком будущем Германия выступит в Иране,— с трудом выдавил из себя Мирза Кашкаи.

— И вы обещали им поддержку. Заверили их,— вставил сэр Болд.— Но на самом деле, я полагаю, поддерживать акции гитлеровцев вы не собираетесь? Не так ли?

Мирзе Кашкаи ничего не оставалось, как согласиться.

— Уважаемый друг наш, Мирза Кашкаи,— продолжал сэр Болд,— дальновидный политик, но не совсем умелый рассказчик. Позвольте мне изложить сущность событий. Мы с вами — я имею в виду союзников — здесь, на юге Ирана, на вулкане. Бесноватый Гитлер вполне серьезно, каким бы это безумием ни казалось, решил нанести удар в сторону Индии через Турцию, Ирак, Иран. Лавры Наполеона, затевавшего когда-то подобный поход, не дают спать бесноватому. В орбиту похода намечено втянуть Туркестан и Аравию.

Действия Германии, по данным Болда, состоят из двух этапов.

Сначала на территории, намеченной для наступления, ведется психологическая война. Незаметно, тайно в Иране, Афганистане и Туркестане расшатываются устои государственной власти. Печать, радио Германии ведут успокаивающую кампанию. Подчеркивается важность смягчения международных отношений. Народам сулят рай в случае победы гитлеризма.

А тем временем устраиваются заговоры, мятежи, восстания, диверсии, террористические акты. Пускаются в ход золото,

взятки крупным чиновникам, религиозный фанатизм, парашютисты, патриотические общества вроде «Меллиуне Иран», недовольные правительством кашкайцы,— тут сэр Болд очень внимательно посмотрел на Мирзу Кашкай,— местные националисты, западноевропейские туристы и коллекционеры, шлюхи, ученые-археологи, террористические секты вроде ассасионов, дервиши и тому подобное. Всем известно, что немцы пытаются парализовать стратегические центры союзников в Иране. Предотвращены уже десятки попыток прервать движение поездов через Иран.

Фашисты пытаются создать на обширных территориях остановку гражданской войны, паники, неразберихи. Можно с часу на час ожидать путча в Тегеране. Гитлеру не терпится посадить на трон сильного шаха, разделяющего фашистские убеждения. Здесь, в Иране, уже наготове вполне подходящее правительство и для Туркестана. Афганистан и Северная Индия тоже, по мнению фашистов, вполне созрели. И Гитлеру остается лишь открыть рот, чтобы смаковать плоды. Почему же остановка? Ждут сигнала. А сигналом явится взятие немцами Сталинграда. Сокрушив остатки русских армий, мобильные корпуса — воздушные армады, армии парашютистов, сверхмобильные танковые части — ринутся через приаральские степи в Туркестан и Синдзян. Через Кавказ, Баку в Иран и дальше в Афганистан и Белуджистан, а затем в долину Инда. Блицкриг будет поддержан Роммелем из Северной Африки, который захватит Египет, Сирию и Ирак.

— Нам, людям, сидящим здесь,— закончил сэр Болд,— в тысячах километрах от войны и вдыхающим запах исфаганских роз, планы Гитлера кажутся фантастическими. Но то же думали многие в начале войны. Кто обратил внимание на то, что рейхсмаршал Геринг назначил генерала Треттнера начальником штаба Седьмой дивизии люфтваффе? Почему именно Треттнера-парашютиста? А потом наши генштабисты локти кусали, когда с неба посыпались десятки тысяч дьяволов в Голландии, Бельгии, на Крите, Мальте, в Польше. А сколько злодеяний совершили диверсанты, одетые в форму армии собственной страны, устраивая взрывы, захватывая радиостанции, вокзалы, правительственные учреждения, наводя на население панику и ужас с помощью заранее подготовленной местной пятой колонны вроде... Мухаммеда Насыра Мирзы Кашкай.

Имя Кашкай было названо так неожиданно, что он снова покраснел.

— Весь вопрос,— сказал наконец сэр Болд,— не зашли ли уже далеко господа фашисты и действительно ли продались немцам местные князьки? Надеюсь, что вы, господин Кашкай, только делаете вид, что попались на гитлеровскую удочку, и водите фашистов за нос. Не правда ли?

Сэр Болд стоял по одну сторону шезлонга, Ашки-эффенди подошел с другой стороны, лишь барон Тенти и Зуфар остались на своих местах. Несколько мгновений длилось молчание, Мирза Кашкаи не шевельнулся в своем шезлонге. Наконец очень тихо, беззвучно он проговорил:

— Все так, как вы говорите, господин Болд.

Глава XII

Будь бдителен и расторопен, рас-
судителен и понятлив. Наблюдай за
действиями и слушай речи.

Самарканди

Настоящее имя барона Зуфар вспомнил не сразу. В детстве Зуфар гостил в Самарканде у своей тетки, имевшей домик на Юнучка Арыке у самых ворот виноградной плантации Кастанье. Кастанье преподавал в самаркандской женской гимназии французский язык. В Самарканде Кастанье почитали за просвещенного человека.

Просвещенный человек держал в своем поместье вооруженную до зубов охрану. Сторожа́м ничего не стоило пристрелить мальчишку, забравшегося в виноградник. «Священный принцип частной собственности!»— любил восклицать Кастанье.

Ныне в Исфагане барон Тенти дю Кастанье представлял союзную Францию, держался с достоинством, но на самом деле не имел никаких полномочий. Во многом ему помогало благородное, испитое лицо и аристократические седеющие кудри. Одевался Кастанье с шиком, был настоящим художником по умению начищать ботинки и гладить брюки. От барона постоянно пахло самыми тонкими духами.

Он решительно ничего не делал. Приходил на виллу «Букет роз» без приглашений, располагался с удобством в шезлонге. В отсутствие леди Летиции он пил гораздо больше вина, чем при ней. Барон ратовал за вино. Он мочил свои пышные галльские усы в бокале и восклицал: «Во французском департаменте Пюи де Дом младенец соглашается сосать материнскую грудь лишь в том случае, если нет вина. Пюидедомцы воды не пьют, а живут до ста». Он уговаривал Зуфара пить вино. За бокалом вина Кастанье рассказал Зуфару свою биографию, но не обмолвился о жизни в Самарканде. И это настораживало. Настораживало Зуфара и другое. В фарфоровых глазах Ашки-эффенди мелькало что-то враждебное, когда они задерживались на лице барона, а барон мрачнел при виде зеленой чалмы.

— Меланхоличен, как мартовский кот,— характеризовал барон Ашки-эффенди.— Рюмка яда — в бочке вина. Выпьем! Путь в элизиум открыт.

Непонятно, что имел в виду барон, но он явно предостерегал Зуфара.

— Британцы не хотят уняться. Цепляются за Восток. Перья повыщипаны, а все еще задирают нос. Подбородок в небо, грудь колесом, а в кармане один пенс. Держит сэр Болд вас на вилле отнюдь не из гостеприимства. Да вы не глупый человек, сами понимаете. Остерегайтесь. Британцы беспощадны.

Что хотел сказать барон? Зачем предупреждал? Или Зуфар пленил его тем, что знал немного по-французски? В Хазарасп неведомыми путями попала еще до революции швейцарка мадемуазель Мок. Она преподавала французский в школе второй ступени, где учился Зуфар. Или барона очаровал рассказ Зуфара о найденном им на исфаганском кладбище надгробии с именем француженки, маркизы д'Ассиньи, похороненной в XVIII веке? Барон установил, что маркиза была возлюбленной шаха Аббаса.

Тенти воспылал симпатиями к Зуфару и ни на шаг не отпускал его от себя.

И все же Зуфар спросил барона про Самарканд.

— О! — воскликнул француз. — Оказывается, вы тонкая штука.

Что он хотел сказать, непонятно. Но он пояснил, что вынужден был покинуть Советский Союз в девятнадцатом году. По словам барона, он уехал беспрепятственно.

— О, я не имею никаких претензий к «тофариш».

Но «тофариш» к барону Тенти дю Кастанье претензии имели. Уже в том же девятнадцатом году Кастанье объявился в Париже. Вскоре вышла его антисоветская книжка «Басмачи», в которой он изображал кровавых курбашей и калтаманов народными героями. И хоть Зуфар имел самое неприятное личное знакомство с палачом туркменского, хивинского и каракалпакского народов, Джунаидханом, ни словом не возразил барону, когда тот помянул, что описал «подвиги» джунаидовцев в самых радужных красках. Вообще Тенти очень много рассказывал. В частности, он припоминал прекрасные дни, когда имел в Тегеране валютную контору. Чем-то он был тесно связан с Жюлем Моком, владельцем аптекарской фирмы в Тегеране. Зуфар не преминул про себя отметить, что деятельность и барона Кастанье и Жюля Мока в Северном Иране совпала с последней авантюрой Джунаидхана в двадцать девятом-тридцать первом годах в Туркменской республике.

Заверения барона в постоянном миролюбии Франции не обманывали Зуфара. Больше правды было в словах о завоевательных планах французоз еще со времен Франциска I, об интересах в Малой Азии, о покровительстве христианскому Ливану, о попытках твердой ногой стать в Сирии и захватить нефть Месопотамии. Наполеон лелеял мысль о походе на Индию со-

вместно с русскими казаками. Той же экспансионистской политике служили французские школы, пансионы, колледжи в Багдаде, Бейруте, в Персии, в Аравии, на островах Ормузда. И не свидетельствовала ли могила маркизы д'Ассиньи на армянском кладбище в Исфагане о том же? Тогда Франция соперничала на Востоке с Англией. Интересы Франции полностью согласовывались с интересами России. Франция даже не возражала, если бы Россия вышла через Персию к берегам Индийского океана и встала бы твердой ногой в портах Сониман и Гвадар. Франция заимствовала опыт колониального управления в Туркестане для Алжира и Туниса. Вот почему резиденты французы преподавали французский язык в туркестанских гимназиях, владели виноградниками в Самарканде и занимались виноделием.

Он, барон Тенти дю Кастанье, отлично понимает чувства своего молодого друга. Понимает, но, увы, Франция ничем не может сейчас помочь туркестанским мусульманам; истерзанная, несчастная Франция в историческом отношении исчерпала себя. Французский народ истощил последние силы, сохранившиеся в нем от великих предков. Французам, увы, остается влиться теперь в здоровые, энергичные массы германцев, и уже в их составе осуществлять великие планы предков. Слияние французов с немцами предопределено, как и предопределен переход к Германии исторической миссии Франции на Востоке.

Теперь Зуфар увидел в элегантном, ласковом бароне Тенти самаркандского помещика Кастанье, приказывавшего стражникам стрелять в мальчишек, сорвавших виноградную кисточку. Барон сколько угодно мог вытирать уголок батистового надушенного тонкими духами носового платочка набежавшую на глаза слезу умиления, сколько угодно мог вздыхать. Зуфар не верил ему. Барон — автор антисоветских трудов, редактор панисламистского журнала «Эхо Ислама» и пантюристского издания «Турция», выходившего в Швейцарии. Об этом Зуфару сказал сэр Болд. Внешне это невинная овечка, бродящая на своих тонких ножках по пустыням Азии ради собирания коллекции азиатских казней. Когда же барон невзначай помянул, что он пять лет состоял в чине капитана советником при штабе генерала Вейгана, командовавшего армией союзников на Ближнем Востоке, как раз в период Советско-финляндской войны, многое прояснилось.

Барон мочил усы в белом вине и откровенничал:

— О, генерал Вейган — мой друг! Генерал Вейган всегда говорил: «Я весьма ценю вас, барон. Вы — знаток азиатской души».

Известно, что сформированная союзниками на Ближнем Востоке армия Вейгана предназначалась для нападения на Со-

ветский Союз и в частности для захвата Баку. Вторжение гитлеровцев в СССР помешало этим планам.

Сейчас знаток азиатской души и специалист по туркестанскому басмачеству остался не у дел. Так казалось на первый взгляд.

Барон Тенти дю Кастанье попивал вино на вилле «Букет роз», играл в бридж с сэром Болдом, сочувствовал печальной участи леди Летиции и ненавидел Англию и высказывался вполне определенно:

— Англичане на Востоке сеяли всегда зубы дракона. Из зубов выросли драконы и съели вас, господа британцы. А драконов приручит Гитлер.

Внимательнее всех слушал Ашки-эффенди, слушал и своими фарфоровыми глазами прошупывал лицо барона. С Далласом барон сошелся в вопросах религии. Католик Кастанье в прошлые годы преподавал в иезуитском колледже католического университета в Бейруте и редактировал орган университета «Сайнс Леттр Арт». И университет и журнал своими историческими трудами по исламу снискали признание даже среди самых реакционных исламских ортодоксов — альбазхарских шейхов в Каире.

Общие интересы, возникшие у барона и преподобного Далласа на почве отвлеченных теоретических догм, вскоре обрели несколько иной, в основном материальный характер. Тенти по-прежнему благодушествовал в патио у мраморного водоема. Он мочил свои галльские усы в ширазском белом вине и нет-нет восклицал: «Я убит! О боже, я убит выстрелом из чековой книжки».

Что он этим хотел сказать, Зуфар узнал довольно скоро.

— Я впорхнул, и меня заметили. Я вспорхнул — и нет меня. Вы иное. Вы корнями ушли в почву Востока. Вам жить и трудиться на Востоке. Вы ведете себя непростительно. Вы погибнете. Вам надо бежать.

Он сидел в шезлонге все такой же мягкий, с красным от жары лицом и все так же пил ширазское вино. Но говорил барон дю Кастанье тоном тревожным, устрашающим.

Выходило, по его словам, что бояться следовало совсем даже не сэра Болда. Опасен Ашки-эффенди. Надо бояться его хрипучего медлительного голоса, его рачьих, фарфоровых глаз. Их невидящий взгляд все видит.

— Вы сидите, мой молодой друг, у дверей смерти, — говорил барон, — и не видите смерти. Страшный человек Ашки-эффенди. Он давно бы разделался и со мной, но зачем я ему, оживающий, беспомощный, умеющий пить белое вино и похлопывать по спинке хорошеньких прислужниц? Франция ничто. Франции, увы, нет. И я надул Ашки-эффенди. Я надул его цитатами из Хафиза и Саади. Зеленая чалма Ашки-эффенди

никого не обманет. Он англичанин и притом человек коварный, англичанин торгаш, способный в любом случае надуть. И все же я, французский дипломат, надул англичанина Ашки-эффенди. Да, англичанин Ашки-эффенди воображает, что Кастанье ничто. Но нет, он еще узнает...

Что узнает Ашки-эффенди, барон так и не сказал. Видимо, он хотел дать понять, что свирепый Болд не главный, не самый страшный. Но Зуфар и сам знал, что тихий, ничего не видящий дервиш Ашки-эффенди играет очень большую роль, быть может, даже большую, нежели сэр Болд.

Барон мочил седые усы в вине и бормотал:

— Если сэр Гемфри встанет на четвереньки, то живо побежит Квадрупедес! Это значит — четырехкопытное. Он хуже чем четырехкопытное. И животные берегут своих самок. Болд бесчеловечен даже в отношении к своей жене. Леди Летиция томится в плену, а Болд ничего не предпринимает. Ашки-эффенди еще хуже. Он не может встать на четвереньки. Ашки-эффенди ляжет на землю и поползет. Ибо Ашки-эффенди из породы ядовитых пресмыкающихся. Ашки-эффенди — змея.

По мнению барона, Ашки-эффенди и Болд используют Зуфара как орудие низкого интриганства. Они его считают правверным мусульманином. Им он очень нужен. Сокрушительные победы гитлеризма заставили Британию приглядеться к панисламизму. Коран — железные удила для широких масс. Открыв путь в массы идеям свободы, разоблачая религию, европейцы высвободили революционные силы. Англичане поумнели. Всюду, где возможно, они раздувают идеи панисламизма. Именно они вызвали к жизни тайные мусульманские общества вроде «Черных братьев ислама», «Исмеди» и многих других. Щедро льется поток золота на содержание подобных организаций. Ислам и идея исламизма — конек англичан.

Не кажется ли молодому другу, что он уже попал в сети Болда и Ашки-эффенди и стал одной из таких нитей?

Зуфар решительно отверг это предположение.

Меньше всего он хотел признаваться, что француз прав. И мысленно дал клятву ни единым словом не проболтаться барону о ночном собрании «Черных братьев ислама», на которое он на днях попал.

— Вам надо бежать!— воскликнул Кастанье.— Послушайте друга!

— Куда бежать? От кого бежать?— послышался над ними голос. Барон не удержался и помянул черта. Зуфар вскочил.

Над ними стоял американец. Он подошел совершенно неслышно.

— Бежать от себя!— воскликнул он.— Мое имя Даллас, преподаватель Даллас Рокфор. Бог утомляет меня постоянного об-

щения с собой. Слово мое приносит мне счастье и умиротворение. Придите, друзья, ко мне, прежде чем бежать, и поделитесь со мной, преподобным Далласом Рокфором, своими сомнениями и думами, и я поделюсь с вами мудростью.

Он остановился на краю мраморного водоема и воздел руки к небу. Но глаза его глядели не слишком умиротворенно. Они пытливо изучали лица Кастанье и Зуфара.

— Дьявольщина!— пробормотал барон.— Столкните его в воду. Что ему здесь надо?

— Ходит!— проговорил зло Зуфар.— Водяная крыса тихо ходит.

Костлявый, высоченный Даллас стоял, воздев руки, возглашал:

— Придите ко мне с открытой душой, ибо я постоянно общаюсь с богом!

«Его преподобие анаши накурился,— вдруг понял Зуфар.— О, он сейчас упадет в хауз».

— Бойтесь людей, у которых души — просмоленный канат!— воскликнул Даллас и вдруг зашагал по обочине водоема, акробатически балансируя на скользком мраморе.

— Гашиш?— задумчиво пробормотал барон.— Гашиш очень хорошо... Он ищет турчанку. Он не может примириться с тем, что она натянула ему нос.

Барон проводил американца глазами. С воздетыми руками преподобный Даллас в нелепых коротких джинсах прошагал журавлиным шагом через патио и исчез.

— Прокрался к нам, и только тогда мы его заметили,— проговорил в раздумье барон.— Гашиш! Ничего себе. Опасная личность. А все-таки, мой добрый друг, вернемся к нашим делам. Вам надо убираться отсюда.

Очевидно, барон что-то знал, но не хотел говорить. Он по-прежнему мочил усы в белом вине и сочувственно вздыхал, всем своим видом показывая, что ничем не может больше помочь своему другу...

Зашаркали подошвы, и фигура Далласа снова возникла в патио.

Американец водрузился рядом в шезлонге и принялся бубнить прямо в ухо Зуфару, отнюдь не стесняясь, что его могут слышать. Мешанина из турецкого, персидского и английского не позволяла понять до конца, что хотел сказать американец. Зуфар давился горячим кофе и с тоской поглядывал на величаво разгуливающего в патио павлина. Птица с треском распускала свой драгоценный хвост и издавала отвратительные крики.

Голос преподобного Далласа удивительно походил на скрипучий клекот павлина и был почти столь же непонытен.

— Меня зовут Даллас,— бубнил в ухо Зуфару американец.— Зовут меня преподобный Даллас Рокфор. Я уполномочен святейшим папой римским и кардиналом всей Америки Спэлманом проповедовать истину господню на земле. Я, Даллас — ангел Сонма Незримых дел, призрак, ходящий невидимым среди людей. Бог верил мне счастье и покой людей. Те, кто приходят ко мне, обретают богатство и довольство. Вам надо сказать только «да», и вам тогда будут не страшны ни закон, ни мораль, ни Болд, ни барон... никто. Вы получите паспорт американского гражданина и войдете в мое подчинение. А доллары посыпятся из рога изобилия.

Переход от папы римского к американскому паспорту и долларам был несколько неожиданным. Но Зуфар уже ничему не удивлялся. Он старался глядеть в сторону барона, невозмутимо устремившего глаза в голубое утреннее небо.

Зуфар так ничего и не ответил. Американец по-своему понял его молчание:

— У нас говорят: «Кто любит хозяина, тот любит и его собаку». Они боятся нас, боятся Соединенных Штатов. Они ничего не посмеют сказать вам.— И он воскликнул во всеуслышание:— Меня зовут Даллас, преподобный Даллас Рокфор! Придите же ко мне страждущие и смятенные!

И он расположился еще более удобно, так, что шезлонг затрещал.

Зуфар выскочил и направился к выходу. На пороге калитки он обернулся. Его провожал прозрачный невидящий взгляд небесно-голубых фарфоровых глаз Ашки-эффенди.

Уже Зуфар был в седле, когда около него оказался барон. Весь его вид: щегольской персидский «кобэ», белые сандалии, тросточка с золотым набалдашником, изящная шапочка «тегеранка» — показывал, что он собрался на приятную прогулку. Уставившись на Зуфара, барон Тенти сказал:

— Бегите, мой друг! Исчезните! Здесь, в «Букете роз», не все розы приятно пахнут. Помните. Здесь исчезают люди против своей воли. Бедная леди Летиция! Она тоже, боюсь, исчезла...— Он запнулся.— Но так или иначе, если вы сочтете за лучшее не возвращаться сюда — запомните адрес: Самарканд. Юнучка Арык. Восемнадцать. Дом под железной крышей. Семь метров от угла. Копать. Надеюсь на вашу порядочность. Тридцать процентов ваши. За остальным приедет мой человек или я сам... О мой друг, я успел полюбить вас. Надеюсь, мы еще встретимся... Там...

Он вытер носовым платком набежавшую слезинку и помахал на прощание рукой.

— Помните. Восемнадцать и семь. Мерьте рулеткой. Мой воздушный поцелуй.

Когда лев твой враг, явный ли,
тайный ли, со львом надо разговари-
вать мечом.

Мердавидж

Сэр Гемфри Болд?.. Англичанин? Английский аристократ? И «Черные братья ислама»... Зуфар подгонял коня и разговаривал вслух. С кем? С ящерицами, перебежавшими тропу, с хохлатыми жаворонками, выпархивавшими из-под копыт, громко стучавших по хрящеватому грунту дороги, с самим конем, упрямо потряхивавшим холеной гривой.

Итак, сэр Гемфри Болд, оказывается, сам великий мюршид, духовный наставник, всесильный глава «черных братьев ислама», тайных террористов-убийц, или как их там называют — «фидайев».

Больше того, сам Зуфар теперь тоже «фидай», то есть «черный брат ислама». Фидай — жертвующий собой, готовый в любую минуту убить того, кого прикажет убить мюршид, слепо, не рассуждая, не думая.

Большой нелепости Зуфар не мог представить. Он до сих пор и мысли не допускал, что средневековая секта ассасинов еще существует и что он окажется в числе последователей легендарного Старца Горы из таинственного замка Аламут.

И вот по милости красавицы Сефиет он теперь не офицер Советской Армии, а средневековый наемный убийца с кинжалом. А главное, это не сон, не плод расстроенного воображения, не воспаленный бред. Он скачет по степи на чистокровном арабском коне из конюшни великого мюршида — тьфу! — сэра Гемфри Болда. В кармане у Зуфара крупнокалиберный пистолет с рукояткой, на которой выгравирован арабскими буквами стих из корана. И он, Зуфар, сегодня ночью, положив одну руку на раскрытый коран, а другую на этот самый пистолет, черт бы его побрал, выслушал слова клятвы, что он должен застрелить из него...

Да, если следовать клятве на коране, Зуфар скакал во всю прыть к голубым горам Загроса, чтобы пристрелить собаку-шейха Музаффара, человека, к которому он проникся глубоким уважением, человека, которого он должен преданно уважать хотя бы за то, что он спас много лет назад ему жизнь.

И все устроила Сефиет.

Одно ясно, он теперь «фидай», а ему разъяснили: «Если ты не убьешь, тебя самого убьют».

Ему еще сказали, что «черные братья ислама» есть всюду, что они есть и в кочевье луров, что они незримо присутствуют и в чадыре шейха Музаффара. Достаточно ему, Зуфару, сделать неверный шаг, сказать неверное слово, и он погибнет.

Невольно Зуфар завертел головой, оглядывая пустынную долину, по которой легко и весело нес его конь арабской породы. Где же незримые соглядатаи? И что мешает ему свернуть с тропы и совсем не ехать в горы, в кочевье шейха Музаффара.

Но надо ехать.

Проклятые, как они все ловко обставили. Сефиет уверила: «Пустая проформа». Единственный способ сломать стену недоверия.

Какой маскарад! Ловкачи! Тьма порождает тайны. В условленном месте его встретили два черных брата. И пароль сверхтаинственный: «Змеиный царь». И лабиринт темных улочек и переулков. И повязка на глазах.

Все непременные свойства таинственного! Нагнетение страха и ужаса.

В мрачной, темной комнате за едва угадывающимся столом мрачные фигуры в черном. Чуть белеющие лица. Хрипучие голоса. Кликушеская декламация изречений. Чье-то гнусавое бормотание.

«Одна цель! Одна цель правоверного: чистота ислама, чистота религии. Одна цель! Одна цель!»

Вдруг свет вырвал из темноты поверхность круглого стола. На скатерти — раскрытый коран. Рядом — револьвер. Чашка с водой.

И снова выкрики:

«Клянись! Клянись! Положи руки на священный коран и на пистолет! Клянись! Коран — верность, пистолет — смерть за нарушение клятвы!»

А потом просто нечленораздельное мычание. И тут же четко и ясно:

«Подыми руки на безбожный коммунизм!» И опять не то молитвы, не то изречения.

Он ничего сам не говорил. Да от него и не требовали. Заунывно один из сидевших в темноте тянул: «Клянись! Клянись!» — пока кто-то не возопил:

— Ты фидай! Ты фидай! Берегись!

Тут же Зуфара заставили выпить чашку воды, схватили под руки и поволокли из темной комнаты.

И лишь глубокой ночью, усталый и злой на Сефиет, Зуфар добрался до виллы «Букет роз».

Несмотря на поздний час, в патио на берегу мраморного водоема сидел в шезлонге сэр Болд. Он осклабился:

— Вы? Явились? Пью джин, настоящий шотландский джин. Налить?

Удивительно. Что с Болдом? Он никогда не снисходил до беседы с Зуфаром, да еще за стаканом джина. Непроста он предлагает джин, непроста сидит в шезлонге далеко за полночь, непроста столь необычно ласков.

А сэр Гемфри Болд вдруг еще принялся декламировать:

— «И одиноко пью вино» — скажем, не вино, а джин, шотландский джин. Наливаю — «И одиноко пью вино, и друга нет со мной» — вернее не было — «Но в собутельники луну позвал я в добрый час. И тень свою я пригласил, и трое стало нас». То есть четверо, а?

Он выпил залпом свой стакан и воскликнул:

— Прелестные стихи! Прелестная ночь!

Неспроста англичанин вздумал читать Зуфару стихи. И он вдруг сразу все понял. Зуфара осенило.

Он спросил:

— А что такое фидай?

На вопрос сэр Гемфри Болд реагировал бурно. Он просто впал в восторг:

— А я-то полагал, что вы простак. А я, старый желтозубый лис, вас просто недооценил!

Он долго смеялся громко, пронзительно, визгливо. Он рычал.

Зуфар понимал, что вся таинственная история с посвящением его в фидайи происходила с ведома сэра Гемфри Болда.

— Не поверите, вы вели себя молодцом, — воскликнул, нарычавшись, сэр Болд.

И стало еще ясно, что он присутствовал там в комнате во время фидайской клятвы. Значит, англичанин сэр Болд...

— Разве вы мусульманин? — спросил Зуфар.

— Ну уж это, позвольте вам заметить, вопрос несколько наивный, — проворчал сэр Гемфри Болд. — Лучше я вам разъясню кое-что. Не выпьете ли вы свой джин. Разговор у нас, я полагаю, серьезный и... задушевный.

Зуфар испугался. Задушевность павиана? Предпочтительно было, чтобы сэр Болд оставил свою задушевность при себе.

Первый раз Зуфар видел сэра Болда пьяным. Англичанин выпил очень много, чересчур много, и с ним произошло то, что происходит со всеми пьяными. Он разоткровенничался.

И откровенность его еще больше перепугала Зуфара. У него в голове всплыла слышанная где-то фраза: «От откровенности его несло мертвечиной». В пьяненьких улыбках сэра Болда было полно угрозы.

— Вот мы и беседуем мило, я да моя тень, вы да луна, вчетвером, — бормотал сэр Болд. — Не кажется ли вам: мило беседуем. Вчетвером. Не слишком ли много свидетелей? И тень! И луна! Тень — женщина, луна — женщина. Сколько шлюх, сплетниц при важном разговоре, деловом разговоре мюршида со своим фидаем, а?

Яснее он не мог сказать...

Зуфар скакал быстро по дороге. Он не любовался прелестью далеких и близких садов. И даже осеннее море роз не привлекало его внимания. Он хотел обдумать события прошедшей ночи, спокойно разобратся во всем. Зуфар хотел как можно скорее выбраться в горы. С высоты хорошо видно. Он хотел посмотреть, не едет ли кто за ним, так ли длинны руки «черных братьев ислама», так ли цепок сэр Гемфри Болд?.. Мюршид!

Конь испуганно шарахнулся и захрипел. Из селения выскочил великолепный «шевроле» и преградил дорогу. Стекло опустилось, и нежнейший голос Сефиет — о, она умела придавать ему нежнейшие интонации! — позвал его:

— Вы не хотите даже сказать мне «до свидания»?

— Я спешу! — смог только пробормотать Зуфар.

— Я тоже. Сойдите с коня. Эй, Шоди, — приказала турчанка шоферу, — отгони автомобиль в сторонку и возьми коня господина. Поводи его.

Она довольно бесцеремонно втянула Зуфара в автомобиль. Здесь было прохладно, за плотными занавесками.

Сефиет была очаровательна в своем легком платье. Она не очень точно следовала шариатским нормам, предписывающим мусульманкам носить закрытые платья, длинные рукава, скрывающие руки до кончиков пальцев, и подола — до носков туфель.

— Здесь нам никто не мешает... поговорить... Шоди очень дисциплинирован. Он посмотрит за конем, а мы... поговорим. Я хочу, чтобы ты меня долго помнил, чтобы ты меня не забыл.

Надо сказать, что Сефиет, когда хотела, была удивительно мила. Она заставила Зуфара забыть и про мюршида Болда, и про клятву фидайев, и про Далласа. В какой-то мере она доказала, что ревность — чувство по меньшей мере никчемное. Даже если у Зуфара и были мстительные чувства, они развеялись, когда голые руки Сефиет обняли его за шею и нежные губы коснулись его губ. Турчанка не утруждала себя доводами, она больше полагалась на чары своего молодого прекрасного тела. Казалось, не расчетливое распутство руководило ею, а подлинные чувства. Зуфар был ошеломлен и очарован.

Не одна прекрасная турчанка уверовала, что она вернула себе верного раба. Надо сказать, что и Зуфар, как это ни печально, забылся.

— Ты считал себя моим врагом. Так вот, когда мы встретимся — а встретимся мы скоро, — будь таким яростным, жестоким, злым и терзающим врагом, как сегодня. И ненавистным...

Она ни единым словом не напомнила Зуфару о своих планах и о том, что она ждет от него. Она помахала ему нежной рукой и умчалась на своем «шевроле».

Зуфар сел на коня и шагом пустил его по извилистой дороге, поднимавшейся в горы. Только теперь он почувствовал тревогу. Он рассчитывал засветло доехать до ближайшего кочевья, а теперь не увидит огней костров раньше полуночи.

Глава XIV

Приукрашивать свое рубище лучше, чем добыть позорным путем шелковую одежду.

Саади

О вечерний ветер! Если ты пронесешься над улицами Балха, загляни в мой дом и напомни обо мне.

Насыр Хосров

Сумасшедшая езда. К такому стилю Кузьмича Зуфар привык. Кузьмич вообще не ездил иначе.

Он умел сразу делать несколько дел. Он вел грузовик. Он на ходу проверял работу мотора, для чего, не переставая крутить баранку, вылезал на подножку. Читал не то персидскую, не то арабскую рукописную книгу. Возился с радиоприемником. Напевал. Заговаривал на полном ходу с обгоняемыми шоферами и погонщиками ослов. «Просвещал» Зуфара.

На сей раз Зуфара он «подцепил» якобы случайно в придорожной, смахивающей на ворох бурьяна и груды глины кахвехане. Здесь Зуфара заставила заночевать пыльная буря, начавшаяся после захода солнца. Случайность произошла на совершенно непроезжем проселке среди холмов. По этому проселку Зуфар ни разу до того не ездил. Сэр Болд самолично наметил на карте маршрут по запутанному лабиринту дорог, дорожек и караванных троп. Главное шоссе исключалось.

Самое интересное — вроде Зуфар был наедине с сэром Болдом, — шел разговор о фидаях и шейхе Музаффаре. Встречу с Кузьмичом приходилось объяснять совпадением.

А Кузьмич твердил:

— Случайность. Случайность.

Но «случайность», по-видимому, имела имя Мехри. Так звали одну из двух кенизек, разгуливавших по вилле «Букет роз» в легкомысленных одеяниях. Кстати, она поливала в патио цветы, когда сэр Болд декламировал стихи о луне и собутыльнике.

Прекрасного арабского коня, полученного для поездки, Зуфару пришлось оставить на попечение владельца кахвехан.

Козлиное подпрыгивание грузовика, грохот мотора не мешали Кузьмичу рассуждать. Сейчас ему не давал покоя роман Сефьет с преподабным Далласом. Разговор не мог быть приятным для Зуфара, и Кузьмич это знал.

— Чем мог сей жженный сургуч пленить красавицу?— удивлялся Кузьмич.— Безумная любовь женщины-вамп к бутылке постного масла! Или Сефиет углядела в старой каланче нечто необыкновенное? Противоестественно. Что ты скажешь, Зуфар? Да ты не обижайся.

Но Зуфар не успел ответить. Дорогу грузовику перегородила упряжка волов. Отчаянно сигналив, Кузьмич весь высунулся из кабины и успел поприветствовать арабщика, узнать о его здоровье и расспросить о новостях.

Машина снова лихо заскакала на ухабах. Кузьмич плюхнулся на сиденье, дал газ и снова заговорил:

— Велик аллах, Сефиет не Мария Магдалина. Сефиет холодна и равнодушна. Ты и сам знаешь, черт поberi!

На этот раз ему помешали британские грузовые автомобили. Пришлось довольно долго стоять. Кузьмич обменивался с пропыленными шоферами сигаретами, шоколадом и даже «рашин водка». Тем временем Зуфар, забившись в глубь кабины и скрипя пылью на зубах, сдавленно сыпал ругательства. Когда они поехали дальше, Кузьмич удивился:

— Видать, общество сэра тебе здорово надоело. Ты тут так материл ни в чем не повинную британскую шоферню. Я боялся, что они тебя за шиворот да из грузовика. Э! Да и бедняжку Сефиет ты... честишь напрасно! Баба она хоть куда. Беспутная вот...

— Не в беспутстве дело,— выдавил из себя Зуфар.— Зачем вы меня подобрали? Куда везете? Там, на вилле, все взбесятся, узнав, что я не в кочевье шейха, а мотаюсь с вами по степи.

— Чего это ты, Зуфар, «выкаешь». Единственный соотечественник здесь. Давай проще, друг. А ты прав: беспутство беспутством, а вопрос гораздо серьезнее.

Он резко вырулил по целине в степь и, промчавшись километра три, съехал по головокружительному откосу и затормозил грузовик в овраге.

Он бросился на траву и, закинув руки за голову, заговорил:

— Преподобный Даллас, священник, поп, но особенный. Связан с разведывательным управлением США. Явно немалый чин. Турчанка сразу сообразила. Прощупывает почву на всякий случай. Сегодня она держится еще фашистов, они сильны. Но кто знает, что будет завтра. И она обольщает американца. В чем тут дело?!—воскликнул Кузьмич.— Извращенный вкус? Даже нос преподобного Далласа весь испещрен морщинами. Воображаю противоестественное зрелище, когда мраморная щечка турчанки трется о корявую морду пьяного монсеньора.

Зуфар промолчал. Меньше всего он хотел говорить о Сефиет.

— Ффу!— отдувался Кузьмич, косясь на Зуфара.— Что ты приуныл? Завидно? Даже Болд, по слухам, не выдерживает, являет собой господина гориллу, у которого из лап вырвали очаровательную горилльскую подругу. На вилле вашей творится нечто непотребное.

— Неужто Даллас думает, что его не раскусят?

Кузьмич внимательно оглядел степь и продолжал:

— Все это обстановка. А тебя я не подышать свежим воздухом привез. Два дня спустя надо ждать гостей с неба...

— Парашютисты? Где? В каком месте?

— Тебя не интересует, сколько?

— Нет.

— Высадка здесь. Смотри и запоминай. Кашкайцы готовы их принять. Высадка — сигнал к восстанию.

— А шейх Музаффар?

— Он враг немцев. Ты поедешь к нему. Здесь я набросал схему. «Крестики» — кашкайцы, «кружочки» — районы приземления. Ты сообщишь шейху.

— Понятно.

— Турчанка ничего не говорила?

— Она занята Далласом.

— Ну и заело тебя. Но Даллас в курсе. Неясна позиция Болда и Ашки-эффенди.

— Они...

Подробно Зуфар рассказал о всех разговорах на вилле.

— Да, загадка... Одни кухгелуйе могли бы им помочь обуздать Мирзу Кашкаи, а они хотят кокнуть шейха Музаффара. Свести старые счеты...

Он перевернулся на живот и, раздвинув высокие стебли травы, смотрел. Затем он сказал:

— Не вздумай сесть или встать!

Он долго смотрел и вдруг чертыхнулся:

— Черт... Они повернули сюда. Машина в овраге. Ее не видно. Значит, они заметили след скатов.

Теперь и Зуфар сквозь стебли сухой травы разглядел, что по степи едут тридцать — тридцать пять всадников.

— Едут, сволочи! Жаль, нельзя садануть из трещотки.

Понаблюдав с минуту, Кузьмич сказал:

— Я поеду через реку вброд. Воды мало. А ты вдоль обрыва иди по тугаям. Возьмешь из кузова мою двустволку. В случае чего, скажешь, охотился. Меня не видел. В четырех-пяти километрах отсюда в урочище цыганский табор. Скажешь, тебе надо в селение Дэшт-и-Как — доставят. У цыган найдешь коня.

Они толкнули, и грузовик неслышно покатился вниз. Когда у самой воды мотор завелся, Зуфар соскочил на землю и побежал. Из зарослей он смотрел, как грузовик пробирался через быстрые, но мелкие протоки. Колеса поднимали буруны. Высоко

взлетали брызги, образуя веселые радуги. Машина выехала на берег и покатила по степи.

Уже продравшись сквозь заросли к обрыву, Зуфар увидел всадников. Кавалькада выскочила из зева оврага и помчалась через протоки. За себя Зуфар мог быть спокоен. Он быстро шел по-кабаниным тропам через колючие кусты.

Он задумался над ролью преподобного Далласа. Перевороты в арабских странах, игра на фанатизме, вербовка эмигрантов, живущих в Турции, Иране, на Среднем Востоке для шпионажа в СССР, связи Далласа с узбекскими националистами — Баймирзой Хаитом, Рузи Назаром, Абдуллой Туляганом, Иргашем Пирматом и прочими — все это могло казаться не слишком серьезной, детской игрой, когда на фронтах сталкиваются в смертельной схватке десятки миллионов. Южный Иран слишком далек от границ Советского Союза. Неправдоподобным казалось, что отсюда из Исфагана можно причинить вред Советской стране. Сама нелепая фигура Далласа Рокфора, скорее комичная, чем зловещая, вызывала больше раздражения, чем страха.

Выясняется, что американец гораздо теснее связан с фашистами. Ненависть его к большевикам не бравада. Он, видимо, не останется перед тем, чтобы купить феодалов и с помощью фашистских парашютистов захватить Трансперсидскую дорогу, нанести удар в спину. Здесь на месте, на берегу реки, в степи, вся деятельность монсеньора Далласа Рокфора представлялась очень серьезной. Всадники, скакавшие через реку, были вооружены. Они, конечно, не могли догнать грузовик Кузьмича, но несомненно одно: они весьма деловито расчищали степь для весьма опасного представления.

Нетерпеливо пробирався Зуфар сквозь заросли. Надо как можно скорее быть в Дэшт-и-Каке. И не только затем, чтобы не возникли подозрения на вилле «Букет роз». Надо спешить в горы к шейху Музаффару. Надо успеть.

Первой, кого увидел в цыганском таборе Зуфар, оказалась Хуршид. Нельзя сказать, чтобы он очень удивился.

Хуршид не стала ему объяснять ничего. Она выкрикнула несколько слов на непонятном языке. Появился цыган с пронзительными собачьими глазами, с невидной, но отличных статей лошадкой. Осталось лишь набросать записку, и цыган с диким возгласом ускорил по тропинке.

Бронзоволосая Хуршид ничуть не изменилась. Ни солнце, ни песок, ни лишения таборной жизни не отразились на нежном румянце ее щек. Ее ястребиные глаза сделались еще более жгучими, улыбка еще пленительнее. Топорные, с гигантскими амебистами серьги подчеркивали как нельзя ярче красоту «курдской принцессы», и Зуфар теперь узрел во всем облике ее нечто подлинно цыганское, хоть раньше недоумевал, когда ему говорили, что Хуршид из цыган-сузмени.

Поразило Зуфара не то, что он встретил Хуршид в цыганском таборе. Он еще тогда во время бегства на грузовике из кашкайского рая узнал ее в освобожденной из плена молодой женщине. Зуфара поразило, что Хуршид, облепленная курчавыми ребятишками, с чьим-то грудным сосунком на руках, моющая чугунный котел у очага, оставалась надменной принцессой.

Сузмени кривлялись и галдели. Старухи, столь же безобразные в старости, сколь прекрасны бывают цыганки в молодости, запускали пятерню в свои одежды в поисках нового местечка, где бы почесать. Никто Зуфара не кусал, но и он еле удерживался, чтобы не почесаться. Набежали отовсюду еще сузмени — мужчины, женщины, дети.

— Хорошенький хочет пить, — закричала неожиданно появившаяся Бибинур. — Хуршид, свари хорошенькому кофе.

Она схватила валявшуюся на земле проволочную корзинку, бросила в нее веточек, горячих углей и принялась вертеть ее над головой на веревке.

— Гори! Гори! Для миленького, — нараспев приговаривала она и пританцовывала. На голых лодыжках у нее звенели серебряные браслеты. — Миленький красивее твоего шофера. Горе мне — зачем ты, красавица, выбрала себе шофера какого-то, «пых-пых». Мало тебе наших плетельщиков решет... Гори! Раздувайся!

Пламя разгорелось, и женщина швырнула содержимое корзинки в глиняный очаг.

— Эй, вари миленькому кофе! Не задирай нос, Хуршид. Тебя привезли с гор в корзинке. Свари кофе господину офицеру!

Детишки племени, кудрявые, глазастые, красивые, грязные, обожали Хуршид. Они цеплялись за ее бесчисленные юбки. Особенно надоедливых мальчишек она небрежно пинала маленькой голой ступней, над которой, так же, как и у матери, бренчали браслеты.

Молоденькие цыганки обступили Зуфара, предлагали ему погадать, просили монетку: «Не держатся деньги в руке великодушного. Терпение в сердце влюбленного — вода в решете». Толпились цыгане с мужественно красивыми лицами. Они просто лопались от любопытства, вертели в руках двустволку, щупали одежду, разглядывали часы.

И лишь когда сварилось кофе и изжарился на углях полусырой, пахнущий дымом лаваш, Хуршид прогнала детей и молодок и спросила Зуфара, зачем он пришел к ним.

Но он не успел сказать. В чадыр снова ввалились красавица Бибинур. Она уперлась прямо в плечо Зуфара своими округлыми, упругими грудями и кричала ему в ухо:

— Ты знаешь этого соломенноволосяго шофера «пых-пых! Тук-тук! Ду-ду!»? Чего нашла в нем моя красавица, моя принцесса? Листок упал на колючку, колючка на листок — все одно вред листку.

Лицо ее, приукрашенное наклепленными на лоб, на щеку, на подбородок родинками, смеялось.

— Да оставьте, мама! Петро у себя на родине уважаемый человек.

— О горе, ты выросла на дороге и судьба не потоптала тебя. Я поберегла тебя. Вырастила белотелой, красивой. Разве твой соломенноволосяй тебе пара? И когда он обворожил тебя только, окрутил?

— Сто раз говорила тебе. В Испании. И чем тебе плох шофер... Всегда прокатит...

— А если он тебя потащит с собой на своем атумбиле на север, где льды, где снег? Да и разве ворона станет лебедем, испупавшись в реке? Была ты сузмени-цыганкой и останешься в его глазах цыганкой. Будешь смывать грязь тряпкой с колес его «пых-пых».

Бибинур трогала глаза покрашенными хной пальцами. плакала и все плотнее бесцеремонно прижималась к плечу Зуфара.

Конечно, принцесса курдов в цыганском платье с бесчисленными пышно топорщащимися юбками, с переливавшимися всеми цветами ожерельями на ослепительно открытой груди и со своими босыми маленькими ножками могла потягаться с первыми красавицами Ирана. Бибинур не слишком импозантно выглядела в своем крикливом платье. Но здесь, в пустыне, у входа в жалкий шатер, она поражала своей дикой красотой.

— Эй, ты, чего глядишь?— высунувшись из шатра, заорал вдруг на Зуфара весьма свирепый на вид человек.— Это что, твоя женщина, что ли? И кто ты такой?

Крик его привлек внимание, и мгновенно у чадыра набрались люди: старые, молодые, женщины, мужчины, дети.

Но Хуршид подняла только свой пальчик с покрашенным ногтем, и сразу свирепый человек стал смирным.

— Что угодно прелестной бегим, моей дочке?— спросил он.

— Мне угодно, отчим, чтобы вы не выходили на солнцепек и не подвергали себя превратностям погоды. И, кстати, заберите к себе мою маму. Мне с человеком поговорить надо.

Цыган проворчал:

— На месте твоей матери я просверлил бы тебе нос и продел бы в него золотое кольцо невесты. Бросила бы дурить.

Цыган исчез. Бибинур нехотя ушла за ним. Толпа разбрелась.

— Что случилось?— спросила вполголоса Хуршид.— Вы видели Петро?

Она выслушала рассказ Зуфара и только тогда повела его в шатер. Свирепый цыган оказался новым мужем ее мамыши.

— Закопать тебя живой в землю!— заявил цыган, когда узнал, что Зуфар привез новости о Кузьмиче.— Девка окончательно спятила. За ференга пошла. Я ей всего-навсего отчим, а не то...

Бибинур взвизгнула:

— Лучше бы я тебя продала за сто меджидие кашкайскому хану. Да он за твою невинность больше бы дал. А этот твой хоть бы выкуп за тебя предложил.

— Брось, мама, на себя наговаривать. Петро меня от неволи спас,— сказала Хуршид.— А теперь послушайте, что расскажет нам Зуфар.— Она вертела и цыганом, и своей мамышей, и всем табором и заставила отчима внимательно выслушать Зуфара.

— О чем говорить?— сказал цыган.— Сейчас коня достанем... коня тебе дадим.

Они договорились передвинуть табор ближе к переправе, и Зуфар вскочил на появившегося точно из-под земли коня.

Его поехала провожать Хуршид. Она отлично умела ездить верхом. В своем цвета хаки полувоенном френче, галифе и коббойской шляпе девушка ничуть не походила теперь на цыганку. Цель поездки была не совсем ясна. Она слушала рассеянно, отвечала невпопад. Глаза ее беспокойно смотрели в степь. Она искала.

И потому, что она несколько раз спросила про Кузьмича: «Что он?», «Где он?», «Куда поехал?», «Когда приедет?»— Зуфар понял, что она ищет грузовик Кузьмича.

Беспокойство Хуршид возросло, когда на дороге появился крытый лимузин. Из него выскочили жандармы с оружием. Они были грубы и крикливы, как и надлежит быть полицейским во всем мире. Они не удержались от оскорблений. Старший из них, по-видимому офицер, даже прозрачно намекнул на «шлюх», которые не стесняются носить слишком обтягивающие бедра брюки.

Меньше всего следовало Зуфару связываться с полицией. Он и сам это знал. Но он крикнул:

— Не смейте хамить девушке!

— Что такое?— весьма равнодушно проговорил офицер, и усы у него запрыгали.

Глаза Хуршид останавливались то на одном жандарме, то на другом. Она соскочила с коня, бросила ему на шею поводья и подошла, похлестывая себя плетью по крагам, к офицеру.

— Сними фуражку, Зал Зиаэтдин!— сказала она спокойно.— Сними фуражку перед дамой!

— Что такое?!— снова воскликнул офицер.

— Чего ты заладил, Зал Зиаэтдин: «Что такое? Что такое?» Попугай! Сними фуражку. И извинись!

— Да кто вы такая?

— Потихе!

И тон, и взгляд Хуршид заставили Зал Зиаэтдина снять фуражку.

— Господа, куда вы следуете? Предъявите документы.

Теперь офицер говорил вежливо, но задыхался от злобы. Он сделал знак, и жандармы, держа оружие наготове, ближе подступили к Зуфару.

— Вот видал!

И Хуршид сунула в лицо жандарму документ с красной печатью. Полицейский судорожно сглотнул воздух и вытянулся.

— Читай вслух! Пусть все слышат,— кивнула головкой Хуршид на жандармов, стоявших, вытаращив глаза и шевеля усами.

— Читай же, Зал Зиаэтдин, и пусть тебе будет плохо.— Хуршид топнула ногой.

Запинаясь, Зал Зиаэтдин читал:

«В правосудные дни его величества шахиншаха, несравненного благодетеля народа Ирана, в дни процветания и благоденствия могущественного государя — да хранит его провидение от всяких злосчастий и неприятностей! — оповещаются все губернаторы астанов Иранского государства, градоначальники и прочие чины, что мы, шахиншах, повелеваем обращаться с дамой, предъявляющей сей документ, как с родственницей шахиншахского дома, не позволяя осведомляться о ее имени и звании и не проявляя ни малейшей назойливости».

Зал Зиаэтдин окончательно онемел, когда увидел звание и подпись под открытым листом.

— Все,— сказала Хуршид, не скрывая торжества.— Понял?!

— Повинуюсь... — бормотал офицер.

— Сложи бумагу, Зал Зиаэтдин! Подай мне!

Она очень легко вскочила в седло и крикнула:

— А он со мной.

«Он» относилось к Зуфару. Жандармы поспешно отступили к лимузину и уехали.

Хуршид свистнула:

— Что с вами, Зуфар? У вас лицо кота, проглотившего вместо мыши дикобраза.

— Вы? Откуда у вас такой... такая грамота?

— О! Я всего-навсего бедная цыганка, презренная сузмени, живу в нищем шатре. Но,— и она лукаво усмехнулась,— зернышко перца крошечное, зато острое. Мой отец Юсуф Зюлели был министром в Турции, а я турецкая подданная. Но вот я вижу вдали и украшение селений Дэшт-и-Как. Поспешите! — И совсем уж обыденно добавила: — А увидите Петро, скажите, есть такая на свете сузмени Хуршид. Ее глаза цвета шабранг все видят, всюду видят. И если он глянет на какую-нибудь... особу...

Но она не кончила и засмеялась. И от смеха ее Зуфар

вздригнул. Он не позавидовал бы теперь Петро, если бы он вдруг вздумал заглядываться на девушек.

Хуршид пришпорила коня и ускакала, оставив Зуфара в смятении. Нет, поистине Сефиет не выдерживала сравнения с бронзоволосой «шайтани».

Глава XV

Я краше луны и сильнее льва.
Мой язык острее меча, мой приказ
проникает глубже острия копья.

Закир Рукнадин

Дурак поумнеет, когда белым ста-
нет ворон, когда перец превратится
в мед, когда птица взлетит без кры-
льев.

Ахикор

С тяжелого фаянсового блюда смотрят живые страшные глаза. Взгляд пустых зрачков ловит вас. Отодвиньтесь в сторону — он неотрывно следит. Творец расписного блюда древний гончар — гениальный художник. Хотел напомнить вкусившим пищу о тщете всего мирского.

Съели все, что на блюде. Хлебом вытерли сало, подливу. И вдруг на дне блюда — глаза, дикие, угрожающие! Физиономия с огромными глазами, изборожденным морщинами лбом, рассеченным устрашающей складкой от переносицы вверх.

Угрожающее лицо полно мысли, губы сложены в сардоническую усмешку.

Поел всласть. Ты сыт, благодушен, но помни: опасность подстерегает тебя отовсюду, даже со дна блюда, даже в пище.

Весь рисунок на блюде очень древнего гончара-художника напоминает об опасности. На блюде, разделенном на шесть треугольников вершинами в центре, фигура не то воина, не то воинственного божества. В одном треугольнике глаза и жуткие черты убийцы, в остальных треугольниках вписаны распятые руки, туловище. В одной руке лук со стрелами, в другой — кривая монгольская сабля. Грубыми штрихами туловище облачено в воинские доспехи. На голове шлем. Все в целом — смесь натуралистической точности с примитивным формализмом.

Последние куски мяса и овощей съедены. Вожди племен ловко вытирают с древнего покрытого паутинкой трещинок фаянса подливу и отправляют, чавкая, сочные куски лаваша в рот. Вкусно! Слышится довольная отрывка...

Но ужинающие хмурятся. Глаза божества с донышка блюда напоминают об опасностях, о быстротечности жизни, о смерти.

Глаза Мухаммеда Насыра Мирзы Кашкаи удивительно похожи на грозные глаза божества, хотя блюдо гончар расписывал и обжигал сотни лет назад. Блюдо подается только почетным гостям, очень почетным.

Кашкаи ковыряет в зубах золотой зубочисткой и мямлит:

— С этого блюда ели гости моих дедов и прадедов. Самые почетные гости. Верные друзья.

Он вечно мямлит — великий Кашкаи. У него такая привычка. Кто его знает, что он хочет сказать. Порой не разберешь слов, выползающих из толстых губ, над которыми чернеет узенькая щеточка усов.

Орлиный, массивный нос, толстые в синей щетине щеки, двойной сизый подбородок, подпертый пестрым американским галстуком. Выразительно угрожающие глаза под кустистыми бровями — глаза с фаянсового блюда.

Вполне достойная внешность, грозная внешность, подобающая наследственному вождю могущественного народа кашкайцев. Даже узкий в два пальца шириной лоб, залысина на висках и кудрявые волосики, ниспадающие на жирную шею, не портят впечатления надменности и величия. Грозное, очень грозное божество! Все невольно взглядывают на блюдо, затем на лицо Мирзы Кашкаи и вздрагивают.

Но в руке у Кашкаи не лук со стрелами, а зубочистка в золотой оправе. И рука расслабленная, и весь не по годам располневший торс облачен не в доспехи, а в английский бостон. Сидит Кашкаи неудобно по-турецки на ковре. Пиджак на спине набегаёт горбом, брюки неприлично обтянули толстые ляжки, задрались, и все видят кальсоны, перетянутые подвязками. Живот, набитый пищей сверх меры, выпирает подушкой. Совсем недостойный вид. Родовые старейшины опускают глаза. Им неудобно. Хорошо, что Кашкаи щурит глаза и смотрит вдаль.

Кашкаи созерцает. Стараются подавить зевок и смахнуть с губ презрительную ухмылку. Он вождь, властитель кашкайцев, и ему нельзя смотреть на их кочевье безглаголиво.

А он брезгует пищей из засаленного родового блюда. Он брезгует сидеть на пыльном, пусть очень искусно вытканном, ковре. Вождь не прикоснется к кашкайской девушке, пока ее не вымоют в бане. Он брезгует и всеми этими унылыми, какими-то фиолетовыми, лишенными растительности горами, окаймляющими яйлаг с черными пятнами чадыров, в которых рождаются, живут, умирают кашкайцы, нищие, грязные, согбенные скотоводы и земледельцы — безответные кашкайцы. Мирза Кашкаи не скрывает отвращения, когда мимо проходит старо-

образная женщина с ребенком на руках и с чумазой девчонкой, цепляющейся за ее шальвары.

Женщина пробирается рядом с ковром пирующих. Она робко поднимает на Кашкаи глаза, прекрасные глаза загнанной газели, и скрывается за пологом шатра. Брезгливая мина сходит с лица Кашкаи. Это хозяйка шатра, его старшая супруга и мать его детей. Гигантский в три света шатер соткан из тончайшей шерсти ее руками. Она дочь вождя сильнейшего кашкайского рода. Кашкаи невольно оглядывается, и взгляд его тонет в тени обширного чадыра, устланного коврами и уставленного золотой и серебряной утварью. Кашкаи недовольно морщится. Зачем он дал согласие остаться переночевать на яйлаге? После совета родовых вождей придется спать с женой. Иначе неприятностей не обернуться. Начнут болтать, что он лишился «кув-вэ» — мужской силы. Среди верных кашкайцев есть уйма дураков и болванов, полных предрассудков семейных, родовых, феодальных и каких угодно. Сам он давно от предрассудков избавился, живя подолгу в европейских столицах. Мирза Кашкаи — европеец от верхушки лысины до подметок парижских туфель, аккуратно выставленных рядом с ковром.

И вообще он приехал сюда по трудным дорогам совсем не затем, чтобы набивать желудок жирной непрожаренной бараниной и возиться ночью с увядшей женой. Его брат Малек Мансур по радио из Германии передал, что скоро в этой долине начнется высадка парашютистов. А завтра вечером здесь в шатре произойдет встреча, очень важная встреча вождей южных кочевников.

Глаза его темнеют и делаются свирепыми. Он смотрит на своих кашкайцев совсем так, как божество с древнего блюда. Жестом приказывает убрать суфру. Он должен сказать вождям очень серьезное слово и сам боится этого слова. Но ничего не поделаешь: надо платить по счетам, предъявленным фон Папеном. Дьявольщина! Какой неприятный, какой жуткий взгляд у божества. Да уберут, наконец, отсюда сатанинское блюдо!

Откашлявшись, он начинает:

— Завтра большой пир.

Неразборчивыми возгласами старейшины выражают одобрение и восторг.

— Завтра поставьте большой шатер... Шатер совета.

Старейшины кивают головами и прижимают руку к сердцу.

— Завтра все воины собираются с винтовками в долину, ибо придут высокие гости. А спокойствие и жизнь гостей надо охранять как себя самого.

Старейшины вполне согласны со своим вождем Мухаммедом Насыром Мирзой Кашкаи, но они обмениваются испуганными и недоумевающими взглядами, когда он словно невзначай бросает:

— И самый любезный и дорогой гость наш — шейх Музаффар-кухгелуйе посетит наш совет.

Неприлично выражать громко недовольство в присутствии своего вождя. Но в шатре раздаются слова угрозы и мести.

Мирза Кашкаи даже не поднимает век и повторяет:

— Самый дорогой, самый желанный гость наш шейх Музаффар соизволит воссесть с нами за пиршественную суфру на почетное место.

Все недоумевают: шейх Музаффар, кухгелуйе,— исконный враг кашкайцев...

Глава XVI

Человек с сильными руками побороет одного, с сильным умом — тысячу.

Ахлати

Временами Зуфару казалось, что Кузьмич говорит слишком много. Сон подбирался неслышными лапами к Зуфару и только громкий голос Кузьмича пробуждал его. Многие вещи, о которых говорил в ту ночь Кузьмич, скользнули мимо сознания, но кое-что и осталось. Это оставшееся, конечно, представляло интерес, но стоило ли говорить всю ночь до хрипоты. Нет, Кузьмич — определенно философ. Сам Зуфар не любил философии, далек был от философии. Предпочитал действовать.

Но взошло солнце. Грузовик мотался из стороны в сторону, подпрыгивал на камнях. Безмолвная равнина была пустынной. Лучи солнца брызнули в кабину. Кузьмич щурил красные от бессонницы глаза, но выглядел на удивление бодрым и веселым.

Несмотря на ранний час, солнце жгло нестерпимо. Песок и галька слепили своим сиянием. На юге в сизой мути плавали руины башен. Длинная беспокойная тень бежала рядом с грузовиком. Шум мотора заглушался криками неведомых птиц.

— Веселее! — крикнул Кузьмич. — Веселее стало, говорю. Жарища, духотища. К вечеру нам надо поспеть к Мирзе Кашкаи.

Неутомимый Кузьмич. Ночью он встретил Зуфара в Дэшти-Как, вернувшегося с гор от кухгелуйе шейха Музаффара. Шейх уехал на совет южных племен. И это крайне озаботило Кузьмича. Он сразу же принял решение: Зуфару не надо возвращаться в Исфаган. Он посадил его рядом в кабину, и они помчались в степь.

Они переехали глубокий сай, и голос Кузьмича опять пробудил Зуфара:

— Евнухи от политики, — старался Кузьмич перекричать шум мотора. — Англичане — политические евнухи, говорю я.

И твой Болд — евнух. Не желает понять, что девятнадцатый век кончился. «Самое страшное в мире—деятельное невежество»,— говорил старик Гете. Эх, невеждам не понять! Сколько они Восток еще тиранить, терзать будут! А не понимают, что придется им уйти с Востока. Погонят из колоний болдов и им подобных,

Он разошелся. У Зуфара весь сон прошел.

— Вот мы и должны помочь народу. Трудно, но надо.

Он помолчал.

— Наше дело трудное,— снова заговорил он.— Даже обижаться нельзя. Вот посмотри на шейха Музафара. Думаешь, ему легко? Могущественный, богатый, честолюбие тешит, плоть тешит, живет в свое удовольствие. Невежда жил бы себе вроде Мирзы Кашкаи, фашистского лакея. Кашкаи с виду цивилизован, а на самом деле эдакое деятельное невежество. А у Музафара другое. У него идея.

Слова его казались мало понятными.

— Такие Востоку нужны,— продолжал Кузьмич.— В широком смысле. Я о народе говорю. В обстановке начала двадцатого века. Тут такой узел в Персии, ого-го! Напрямки не пойдешь. Если ты хочешь чего, делай вид, что не хочешь. Если ты в силах, говори, что сил не хватает. Если пользуешься чем, делай вид, что тебе на все плевать. Когда ты достигаешь предела мечты, делай кислую физиономию. А когда кисло на душе, улыбайся да повеселее.

И он сразу же перескочил на Зуфара.

— А ты, братец, не того, не можешь. У тебя все сразу наружу. Бац, трах...

— У нас в степи... в Хорезме.

— Знаю, кто лжет, того палкой по башке. Вот потому-то тут и нельзя тебе. Вот потому-то я и говорю про господина шейха. Ты на него не косись. Он мастер здешних дел, очень запутанных дел, очень опасных дел. Сколько смирения напускает, а враги пыжятся. Думают, что сильны, и потому шейх уклоняется от схватки. А он мелкими уколами возбуждает в них ярость. Изматывает им силы.

По убеждению Кузьмича, шейх Музаффар смог благоденствовать полвека со своими кухгелуйе благодаря своей мудрой ловкости. Он не ждет, когда на него нападут,— сам нападает и именно тогда, когда враг не готов. Грохот копыт кухгелуйе у стен правительственных казарм оглушает часовых всегда неожиданно. Шейх Музаффар захватывает трудные перевалы еще зимой, когда шахиншахские солдаты пьют вино и шляются по значным местам. Шейх Музаффар и в войне и в мирных делах знает, что надо всегда суметь овладеть тем, до чего не дотянулась еще рука врага, идти по тем путям, о которых никто не помышляет, и нанести удары там, где их не ждут. Британцев он всегда изводил.

— Сэр Болд, старый лис, терпеть шейха не может,— сказал под конец Кузьмич.— А я могу,— неожиданно добавил он.— И тебе советую терпеть и уважать.

— Я понимаю... Он много сделал для меня. Но он феодал. Гарем держит, деспот... Он не лучше других.

— Одним словом, надо исключать из партии. Полное бытовое разложение. Верблюжатника спросили про красавца коня: «Хорош?» Тот в ответ: «Ему хотя бы один горб». Нельзя, брат, с одинаковой меркой ко всему подходить, а ты с шейхом... и, кстати говоря, шейх помог тебе очень в Турции.

— В Турции?

— Когда ты плутал по улицам Анкары. За тобой гнались. Шейх послал к тебе своих кухгелуй. Они сумели отвлечь от тебя полицейских, но не сумели увести с собой. Тебя перехватил этот... как его, ренегат.

— Тюлеген?

— Да, он самый. Но вот тебе мой совет: во всех случаях надо шейха поддержать. А особенно сейчас. Боюсь, как бы он не попал в беду. Это безумие — поехать на совет племен...

И прибавил:

— А говорю я много за рулем, чтобы не заснуть.

Глава XVII

Пестрота зверя снаружи, людское коварство внутри.

Тенгиз Бурт

И у каждого есть свой день храбрости. И есть столько же видов храбрости, сколько разных видов опасности.

Фирдоуси

Глаза шейха Музаффара смотрели холодно. Губы сложились в брезгливую гримасу, когда Мухаммед Насыр Мирза Кашкаи кивнул головой в сторону входа. Там на пороге шатра стояли увешанные оружием кашкайские воины.

Смерть лизала лицо шейха чаще, чем сука лижет щенят. Уголки плотно сжатого рта, всегда опущенные вниз, опустились еще ниже.

Все смотрели на него. Всем любопытно посмотреть на человека, которому смерть тыкается мордой в лицо. Лизнуть хочет. Мирза Кашкаи лениво шурился, не скрывая торжества. Седобородый хитрец с черным сердцем. Муса бен Риза ар Раззак Кербелаи прищмокивал губами от удовольствия. Блуждающий взор красных глазок, трясущаяся беспомощная борода, приот-

крытый рот делали его похожим на ничего не понимающего придурка. Но он отлично понимал, что смерть-сука не только лизнет сейчас шейха, но, попросту говоря, перервет ему горло. Нервно пощипывал стрелки своих усов капитан Зал Зиаэдин. Всем известно, что проклятым кухгелуйе свойственны неверность и вероломство. Капитан мог ждать от шейха Музаффара совершенно неожиданных поступков и жаждал лишь, чтобы его поскорее схватили и увели. Немцы с нескрываемым любопытством смотрели сцену племенного судилища. На лицах вождей южных племен и старейшин читалась задумчивость. Кто его знает? Весь мир — путь через перевал. Вверх — вниз, вниз — вверх! Кто знает, что ждет тебя завтра?

Все старались казаться спокойными. Но какое спокойствие, когда у тебя на глазах убивают, собираются убить.

Просыпается пакостное чувство. Имя чувству — любопытство. А как себя поведет приговоренный?

Интересно! Очень интересно. До сердечных спазм.

И злорадство просыпалось. По крайней мере у некоторых. У тех, кто всегда завидовал.

Надменный шейх Музаффар всегда был соколом, а все перед ним — воробьями. Он был барс, а перед ним степь, полная коз. Шейх Музаффар рано, совсем молодым вступил на путь почестей и власти. Сорок почти лет перед шейхом заискивали шахи, короли, ханы. Перед шейхом трепетали. С шейхом терпеливо вели дипломатические переговоры, а порой и воевали гордые британцы.

И вот шейха низринули в прах. Сейчас шейха поведут в степь. Шейху всадят в затылок кусочек свинца. Все величие, вся надменность вождя кухгелуйе сейчас падут в пыль и грязь.

Сейчас он захнычет, застонет, заохает. Кому нравится умирать...

Все следили за шейхом.

Но лицо его оставалось непроницаемым, с обычной своей тусклой бледностью.

Все сидели на своих местах, как и тогда, когда были произнесены слова приговора. Вооруженные кашкайцы толпились у входа в чадыр. Они не решались, хотя Мирза Кашкаи отдал приказ:

— Взять!

Взять льва не просто, даже если он в тенетах. Или воины жалели льва?

Когда зверю, хищному зверю, приходит смертный час, он бежит прямо на ловца. Но кашкайцы были прирожденными охотниками. А какому охотнику приятно убивать беспомощного зверя. Кашкайцы столько лет боялись шейха Музаффара. А закон пустыни: кого бояться, того уважают.

Они не двинулись с места.

Шейх Музаффар устремил на них задумчивый взгляд и заговорил:

— Нельзя не сожалеть, что местность эта населена такими беспокойными и мстительными людьми. Разве вы, кашкайцы, люди? Вы животные, пасущиеся на лугу буйства и мятежа. Но ситесь по полю грабительства... Увы, никогда кашкайцы не поймут, как надо любить родину. Никогда кашкайцы не узнают, кто друг, кто враг...

Он встал, и все вздрогнули.

Но шейх Музаффар был безоружен, и дрожать было нечего. Перед тем как переступить порог шатра совета, по взаимной договоренности, все вожди сложили свое оружие у входа. Шейх Музаффар стоял перед своими врагами безоружный.

Но все трепетали. Одним своим видом он внушал страх. Его гигантский рост казался еще большим, так как на голове его был девишеский кулях. С широченных плеч ниспадала хирка— дервишеское рубище — пышными складками.

Один вид хирки, столетия передававшейся из рода в род кабадианскими шейхами и покрывшейся за сотни лет сотнями заплат, вызывал трепет ужаса и почтения. Шейх Музаффар явился на совет вождей в одеянии дервиша. Или он думал, что хирка станет кольчугой, которая защитит его от стрел ненависти врагов? Или он хотел устрашить своим священным одеянием воображение людей, но такого прожженного, такого европеизированного, как Мирза Кашкаи, трудно найти во всем Иранском государстве. Наверное, Мирза Кашкаи не верил ни в бога, ни в закон.

Но его кашкайцы верили в бога. И потом, каждый кашкаец имел детей, отца, мать. Каждый кашкаец видел на тропинках своих гор человеческую кровь. Каждый кашкаец знал, что такое месть за кровь близких, пролитую в междоусобной борьбе феодалов.

Слова о животных, пасущихся на лугу буйства и мятежа, кольнули сердца кашкайцев, стоявших у входа в чадыр. Ремесло кашкайцев — война. Но и ремесло надоедает ремесленнику. От своего ремесла ремесленник устает. И нравы в последние десятилетия среди племен смягчились. Кашкайцы уже не играли в своих горах «чавган» головами своих врагов. За последние десять лет чувства гуманности проникли в горы, в среду кочевников.

Дервишеская хирка, старая, покрытая сотнями заплат, вызвала неведомые чувства боли и горечи.

Шейх шел к двери. Шейх не обернулся на возглас Мирзы Кашкаи:

— Ты просчитался, шейх! Клянусь, сегодня в час восхода луны шакалы будут лизать твою кровь.

Еще несколько шагов ко входу в шатер. Сейчас кашкайцы схватят шейха Музаффара. Великому баламуту кочевников конец. Шейх безоружен. Даже интересно, если он начнет спро-

тивляться. Он страшен и силен, но у кашкайцев железные лапы.

Немцы жалели, что в шатре темно. Фотографические снимки не получаются.

Все головы повернулись к входу.

— Ну!— не удержался капитан Зал Зиаэтдин.

Кашкайцы расступились, чтобы легче было схватить шейха.

Шейх Музаффар переступил порог шатра и ушел в темноту. Кашкайцы не посмели притронуться к священной хирке.

— Стреляйте!— закричал Зал Зиаэтдин. Он машинально схватился за кобуру. Проклятие! Оружие перед началом совета вождей он сдал, как и все.

Мирза Кашкаи даже не попытался встать. Его аристократизм, его разнеженность, его расслабленность помешали ему шевельнуться. Он даже не закричал сам. Он повернул голову к сидевшему за его спиной келифдару и взглядом распорядился.

— Взять!— закричал келифдар, повинуясь взгляду Мирзы Кашкаи. Кубарем скатившись с возвышения, он выбежал в ночь, лупя кулаками и толкая в спины окаменевших кашкайцев.

Немцы с пистолетами в руках бежали по скатерти и тарелкам. Немцы обманули всех и не сдали оружия.

В шум голосов ветра ворвался снаружи пулеметный треск.

Все вжали головы в плечи. Немцы присели, так и не добежав до выхода. Всем показалось, что рой пуль промчался над головами.

За матерчатой стенкой шатра кричали.

Вернулся Зал Зиаэтдин.

— Проклятый русский!— выкрикнул он.— Где свет? Какого черта, кто потушил лампы? Только теперь стало ясно: никакой пулемет не стрелял. Стук автомобильного мотора спутали со стрельбой.

В шатре было почти темно. Во время паники кто-то прикрутил фитили в больших керосиновых лампах, и они чадили и дымили. В одной лишь теплилось красное пламя.

— Бежал,— с нервным смешком сказал Зал Зиаэтдин.— Чего тянули? Пристрелили бы здесь — и все. А теперь...

— Какой русский?— испуганно прошепелявил Кербелаи.— Где русские?

— Советский. Приехал на грузовике за шерстью. Ваши болваны пропустили... Он кивнул головой в сторону Мирзы Кашкаи.— Ваши болваны. Поставили их у отобранного оружия, ну и прозевали. Дипломаты! Переговоры... Церемонии.

Вернулись немцы. Они оживленно говорили между собой по-немецки. Их понимал только Мирза Кашкаи. Он сказал:

— Они не понимают,— показал он глазами на присутствующих.— Я понимаю... Кашкайцы не любят, если о них говорят плохо...

Немцы переглянулись и сели.

— Почему не организовать преследование?— спросил один из них.

— Лошадей угнали на кормежку... на луга,— сказал Мирза Кашкаи.— Надо думать о другом. У шейха тридцать тысяч всадников. На рассвете они пойдут сюда.

И прибавил неторопливо:

— Надо уезжать.

Шейх Музаффар действовал наверняка. Можно было подумать, что он все предвидел. Он сознательно оставил одного кухмелю у оружия, которое сложили на специально посланный ковер у входа в шатер. У сложенных на земле десятков новеньких, богато инкрустированных золотом и серебром винтовок, сабель с драгоценными эфесами, пистолетов всех систем по негласной договоренности, по старинному обычаю, остались приближенные, самые доверенные лица участников совещания. Они сидели на корточках на краю ковра и не спускали глаз ни с оружия, ни друг с друга. Они не доверяли никому, и сами крепко сжимали приклады заряженных на полные обоймы карабинов.

Шейх Музаффар, вопреки доводам рассудка, явился в стан кашкайцев один, как и подобает дервишу, в сопровождении лишь своего, как он иронически называл, премьер-министра — жены Гульсун. Сам шейх имел лишь маузер да дервишеский посох. Гульсун он дал новенький скорострельный автомат.

Среди кочевников такие вещи не редкость. Женщины ездят верхом, стреляют, воюют.

Приезд шейха Музаффара вполне мог бы пройти незамеченным, если бы его не ждали с нетерпением. Шейх приехал на обшарпанном, подарапанном грузовике — эмовской полутоннке. Белой вороной выглядела выдавшая виды машина Кузьмича среди автомобильного великолепия. Здесь в долине рядами выстроились легковые автомобили, привезшие вождей, помещиков, духовных вельмож всего Южного Ирана. Грузовик стоял рядом с черным блестящим «роллройсом», на котором прибыл Кербелаи. Великолепный автомобиль с золотыми украшениями подарили духовному главе Шираза англичане, и подарок этот затмил своим великолепием даже автомобиль «шевроле» самого Мирзы Кашкаи. Тут же рядом с ним стояли новенькие дорогие автомобили ханов и вождей, предпочитавших в обычное время седло коня мягким автомобильным подушкам. Но здесь, в сердце кашкайских пастбищ, собрался цвет кочевых феодалов. Все надели на себя самые лучшие свои одежды, нацепили на себя самое дорогое оружие, уселись в самые дорогие автомашины. Шофера, гордо задрав носы, околачивались тут же в пестрых, расшитых золотом, серебром, цветными шелками шоферских ливреях.

Лишь один шейх прибыл в грузовой машине.

Мало кто обратил внимание на шофера. Судя по ноге в американском, торчащем из окна кабины толстоподошвенном ботинке, он спал. Около него на сидении дремал одетый луром Зуфар. Но кое-кто все-таки обратил. Грузовик советской марки «амо» и его водитель давно примелькались в Южном Иране. Все знали, что русский интендант Кузьмич сам возит из яйлагов закупленное у кочевников сырье для Советской Армии на железную дорогу.

С полудня все толпились в ожидании. Но все понимали, что пока «шавандагоны» — обладатели власти, не наговорятся, придется томиться и ждать. Никому не подадут поесть, не принесут даже из кочевья чашечки кофе.

День клонился к концу. Странный белесоватый туман клубился над вершинами круглых холмов. Забытая богом песчаная, плоская, покрытая черным гравием долина уходила вниз. Кое-где разбросанные пучки ароматической полыни делали местность неправдоподобно пестрой. Вдали, на склоне холма, лепились черно-коричневые нищие мазанки с плоскими кровлями. Слепые стены лагуч, лишенных окон, чуть розовели в лучах угасающего солнца. Брели по серым тропинкам замкнутые в черное фигуры кочевников. Ничто не заставляло их жить в этой каменистой, хрящеватой пустыне, кроме жалких овечьих отар. Ничто не заставляло их интересоваться тем, что творилось в кашкайских чадырах у подножья холмов. Ни один житель селения «Рай» не спустился посмотреть на парад блестящих автомобилей. Даже мальчишки не прибежали.

Солнце заходило среди пустыни. Как всегда, черная мантия расплзлась с далеких черных гор по долине и поглотила лагучи селения, черные шатры кашкайцев и автомобильное великолепие. Отдельные искры золота еще долго сыпались в сумраке.

Уже много часов вожди совещались. Из гигантского шатра много часов доносились монотонные голоса произносивших речи.

Великий совет затянулся. Созывая совет южных племен, вождь кашкайцев Мухаммед Насыр Мирза Кашкаи приказал все подготовить пышно и великолепно. Дикое и бесплодное ущелье Бивенда, прибежище шакалов и стервятников, превратили в отделение рая. На скалистой площадке воздвигли сказочный шатер — «чадыр», в каком и Гарун аль Рашид не постеснялся бы проводить досуг. Шелковые стенки, ширазские ковры, литого золота курильницы, позолоченные шесты-опоры по своей стоимости «равнялись налогу со всего Индостана», как говорится в старинной легенде. В серебряном бассейне посреди шатра плескались золотые рыбки. Драгоценные камни на старинных каляях сияли. Шербет подавался гостям в хрустальных чашах.

За одну ночь на плоском безжизненном дне ущелья Бивенд,

у селения «Рай», возник матерчатый дворец, каким не мог похвастаться и сам шахиншах. Нищие кашкайские пастухи могли сколько угодно ахать и поражаться богатству своего могучего вождя. Для них коврик в полтора локтя являлся мечтой. Они жили в дырявых чадырах, продуваемых ветрами Загроса. Зимой спасались за наскоро сложенными из дикого камня стенками.

Холодно в горах посреди зимы. Снегу наваливает столько, что даже шахские войска бессильны пробиться в кашкайские ущелья. А летом беспощадная жара выгоняет людей из шатров и заставляет искать прохлады под навесами, кровли которых приходится поливать днем водой, чтобы не задохнуться.

Богат пышный шатер Мирзы Кашкаи. Всеми красками радуги он пылает посреди серых скал и хрящеватых песков ущелья Бивенд. Лучше его обойти стороной. Как бы не придрались воины, оцепившие всю местность. Как бы не подумали они, что взгляд твой косой, а губы не так поджаты.

Но Мирзе Кашкаи не до жалких бивендских пастухов. Народом своим Кашкаи интересуется в двух случаях: когда ему нужны здоровые, крепкие молодцы для того, чтобы вложить в их руки винтовку и послать сражаться за его интересы, и когда расцветает среди камней на колючке ароматная роза, достойная украсить гарем вождя.

Мирза Кашкаи встречал с пышностью властителя все утро гостей и ни разу не поднял свои тяжелые веки, ни разу не глянул на жалкое селение «Рай», лепившееся на склоне горы, на отдельные разбросанные там и сям ветхие чадыры верных, храбрых кашкайцев. Он подозревал своего вертлявого келифдара и, устало опустив веки, пробормотал бессильно:

— Источник... Чтобы чисто...

И тотчас же два стража встали около источника, который питал водой селение «Рай». Никто не имел права зачерпнуть целый день из источника и пиалу воды. Ильхан был чистюля. Он учился на Западе и знал, что вода разносит заразу.

Приезд шейха Музаффера был обставлен очень торжественно. За грузовиком скакали десятки кашкайских всадников. Когда грузовик затормозил на полном ходу перед входом в шатер, раздался залп сотен ружей.

Но и он не смог заглушить скрежет тормозов, от которого ильхан болезненно поморщился. Ильхан отлично знал, что у шейха Музаффера есть великолепный легковой автомобиль. Что ж, приходится мириться с чудачествами такого могущественного человека. Но гладкое, розовое лицо Мирзы Кашкаи исказилось совсем уж кислой гримасой, когда шейх Музаффар переступил порог парадного чадыра в своей залатанной столетней хирке и высоченном куляхе. Ильхан невольно подумал о драгоценных коврах в шатре, о шелковых тюфячках, разостланных для гостей.

На остальных гостей — могущественных ханов, духовных наставников, правительственных чиновников — дервишеская хирка шейха Музаффара произвела тягостное, подавляющее впечатление. Все они по случаю торжества в ущелье Бивенд прибыли в лучших своих автомобилях, нарядились в лучшие свои одежды. Они ехали на пир. Но дервишеское одеяние шейха их перепугало. Они поняли, что пировать не придется.

Гости сидели понурившись, уткнув носы в грудь и с трепетом прислушивались к высокопарным разглагольствованиям маленького, липучего человека с длинным красным лицом, лопухого, с толстыми негритянскими губами. Все знали его и боялись. Слюнявые губы при каждом слове громко шлепали, брызги слюны летели и приставали к волосам маленькой седенькой бородки, окаймлявшей бахромкой подбородок. Липучий человек мог вызвать только презрение и жалость. Но все слушали каждое его слово почти со священным трепетом. Да как его не слушать, если это — сам Муса бен Риза ар Разак Кербелаи, духовный глава всех правоверных Южных провинций Ирана.

Господин Кербелаи ничего вроде не говорил по поводу того, что сегодня собрались решать вожди кочевых племен Ирана. Этот полинялый на вид, ничтожный человечик в помятых белых нитяных брючишках, в белой потертой курточке покачивал головой и плел нудную чепуху по поводу запретного и незапретного, чистого и нечистого.

Он разглагольствовал:

— Прикосновение к урине, калу, сперме опоганивает руку правоверного. Погано также общение с неверным. Ибо что такое кяфир? Собака. В священном писании сказано: собака и свинья нечисты, особенно их слюна. Трупы животных тоже нечисты, но труп кяфира приятен взору, а кровь неверной собаки опьяняющая, хотя и запретна... Нечистота их не признана, однако вероятна...

Долго не понимали, к чему шепелявит галиматью господин Кербелаи. Но у всех усилилось чувство тревоги. Кербелаи давно присвоил себе звание «абдала» — благочестивого. А так на Востоке в мусульманском мире именуют потомков самого пророка Мухаммеда.

К чему клонит Кербелаи, стало ясно, когда он принялся поносить неких дервишей:

— Хамр — перебродивший виноградный сок, есть мерзость в высшей степени. Бродяги-дервиши пьют хамр... Мерзость! Мерзость! Сам видел!

Он зловеще захихикал.

Все взоры обратились к шейху Музаффару. Вернее все с испугом глядели на его дервишеский кулях и священную хирку. Господин Кербелаи замахивался на святая святых.

Упоминание о кяфирах беспокоило двух сидевших рядом с ильханом Кашкаи немцев. Они начали тревожно шептаться.

По рядам гостей прошла волна. Все зашевелились, завертели головами.

Один шейх Музаффар задумчиво запустил пальцы в свою живописную бороду и о чем-то размышлял.

Вдруг Кербелаи сник, забормотал. Слов его никто не мог разобрать. Изо рта летело еще больше брызг. Лоб заблестел, и казалось, что он покрылся слизью. Испитое лицо скорчилось в болезненную гримасу.

— Пьющий вино,— вдруг выдавил он из себя,— не вождь правоверных. Пьющий вино оскорбил аллаха.

— Тараторка ты,— сказал шейх Музаффар,— тараторишь как шлюха с базара.

— Как?— удивился господин Кербелаи.

Всем стало стыдно за своего духовного главу. Ему не следовало удивляться. Ему подобало возмутиться, обрушиться на шейха Музаффара с испепеляющими проклятиями.

— Уж не с тобой ли я пил коньяк сегодня?!— воскликнул шейх Музаффар.— Ты пропах коньяком и кяфирскими сигаретами. Ты заключил меня сегодня в иудино объятие — да избавит меня аллах от твоего запаха,— я задохнулся.

Он переждал ропот присутствующих и воскликнул:

— Поистине, разрешены мусульманину «базин» — прокипяченный виноградный сок! Поистине, разрешен «сикер» — настойка на финиках! Поистине, разрешена «нуку зибаб» — настойка из винограда! А ты, сосуд из-под кислого молока, наливаешься запретным коньяком и виски и еще поучаешь всех! Замолчи!

Но шейх Музаффар уже знал, что ему приготовлена ловушка. Никогда господин Кербелаи не посмел бы поднять голос на него — могущественного вождя кухгелуйе. Никогда не вздумал бы духовный глава позорить вождя одного из самых сильных племен Южного Ирана. Старый сутяга не посмел бы ссориться с ним.

Все подстроено. Слунтяй Кербелаи чувствует полную безнаказанность. Он знает, что его не дадут в обиду. У него здесь верные защитники. Он действует наверняка.

Значит, они приняли решение. Какое? Очевидно, они начинают действовать. И первый удар решили нанести по нему, Музаффару. Он им мешает.

Хорошо, что слунтяй и болтун Кербелаи заговорил первым. Хорошо, что он разболтался.

Теперь ясно, что турчанка с ними — с немцами. Он ошибся. Так ошибиться в женщине. Она окрутила, она заморозила его. Права, оказывается, мать его детей Гульсун. Она предупредила его, чтобы он не допускал турчанку к себе, чтобы он не возил ее в свой горный дворец. Вообразить только, как Гуль-

сун посмеется над ним, разнежившимся, распустившим слюни вроде этого Кербелаи. И Кузьмич и Зуфар предупреждали его, нагнав у входа в ущелье Бивенд. И он, несмотря на предупреждение, решил ехать сюда, в ущелье Бивенд. Поехал безрассудно. Без людей, без охраны. Что могут сделать нежные глаза женщины! Турчанка все устроила. Турчанка убедила, что Мирза Кашкаи одумался и готов выдать немцев. Ну, берегись, Сефие! С тобой поступят как с предательницей! Кто поступит? Навряд ли его выпустят отсюда. Живым он отсюда не уйдет. А если бы и вырвался... Не станет же она ждать, когда он вернется и сдерет с нее, живой, кожу, такую нежную, шелковистую кожу... Его передернуло при одном воспоминании. Нет, он не сможет поступить с турчанкой жестоко...

Шейх Музаффар поехал в Бивенд. Он никого не послушал! Хорошо, что он еще согласился поехать в грузовике Кузьмича, направлявшегося в кочевья за шерстью и кожами. Шейх сказал им: «Законы гостеприимства выше законов корана. Я зван в гости к Кашкаи, и он побоится сделать мне плохое. Он знает, что заклеят себя вечным позором!»

Он поехал, и вот его, гостя, оскорбляют, грозят ему!

До слуха шейха дошли слова:

«Всякий мусульманин свободный, пользующийся правами, здоровый да примет участие в джихаде!»

Кто это назойливо твердит слова из корана?

Слунтяй Кербелаи поучает вождей, подогревает, распаляет страсти.

«Мусульманин может сражаться против мусульман, если жизнь и имущество его подвергаются опасности».

— Жизнь и имущество добрых мусульман,— гнусавит господин Кербелаи,— подвергает опасности нечистый шейх по имени Музаффар.

Да, он, шейх, недооценил силы и хитроумия слунтяя Кербелаи. Он очень опасен, этот святоша.

Бывает же такое. Путаник, мелкий развратник, точно из глины, из грязных комочков слепленный, сумел стать господином душ целой провинции. Откуда такая сила? Как он сумел прилипнуть смолой к народу?

В его распоряжении целая орда сподвижников и единомышленников. Тут и муштейды — муллы, получившие образование в Неджефе и Кербеле, священных центрах шиитизма. Они толкуют закон. Их только в Исфагане шесть или семь. Здесь и настоятели бесчисленных мечетей. Они держат школы. Они нотариусы, без их печати ни одна расписка, ни один документ недействительны. А десятки ваэзов-ораторов, выступающих перед народом на религиозные и политические темы. Страшную силу над поступками и страстями людскими имеют раузехоны, чтецы легенд о мученических страданиях пророка Хусейна. И за ними

бегут и тянутся тысячи тысяч безумных ахундов, сеидов, служек, слушателей медресе, чтецов корана, дервишей... И все они пресмыкаются, целуют подол халата абдала, слюняты Кербелай, ждуть знака, взгляда его, чтобы кинуться на богохульника, содрать с него, живого, кожу. И все потому, что он абдал — потомок пророка или выдает себя за потомка.

Слюняты Кербелай. И он забыл, что шейх Музаффар мог его убить, но не убил. Проявил великодушие.

Старая, давнишняя история. Фанатики побили камнями в Ширазе молодую прекрасную Шагарет, жену шейха Музаффара. Вопреки всем законам, Шагарет училась во французском колледже. Она смело ходила по улицам города с открытым лицом. Говорили, что на молодую женщину науськал фанатиков бывший тогда лишь раузехоном Кербелай. И именем аллаха он первый бросил в прекрасную Шагарет камень. Шейх схватил Кербелай. Увез в горы. Судил. Кухгелуйе подвергли фанатика унижительному наказанию, но не убили. Музаффара оставило чувство жалости и презрения. Он не хотел запятнать руки кровью духовного лица и отдал Кербелай государственному чиновникам. Кербелай не понес никакого наказания.

Великодушие редко вызывает благодарность, чаще обиду, затаенную ненависть. Нередко начинают ненавидеть того, кто простил вину. А шейх Музаффар простил змею. Змее удалось уползти. Теперь спустя десятилетия змею не растопчешь. Змея превратилась в дракона...

Сегодня Кербелай мог держаться драконом. Музаффар попал в его руки. Музаффар прибыл сюда, надеясь горячим словом повернуть умы, направить поступки вождей, остановить их от безумного шага. Музаффар приехал сюда призвать племена к миру и спокойствию, уничтожить фашистов. Он не желал, чтобы война ворвалась танками, бомбардировщиками, немецкими сапогами в горы Загроса ради одержимого пророка Гейдара. Музаффар давно предупреждал племена. Сегодня он хотел встретиться с вождями лично.

Но немцы оказались хитрее. Немцы успели купить вождей. Немцы не жалели золота. Вожди слышали о победах фашистов в Европе. Горцы всегда ненавидели англичан. И боялись. Ненависть осталась, но боязнь ушла с вестью из Северной Африки. Роммель стоял у врат Египта. Ждали, что вот-вот фашистские танки загрохочут по священной мостовой Каира. Пришел час выбора. А немцы в Иране проявили щедрость. Парашютисты спускались с небес, имея с собой ящики с новенькими автоматами, с мешками, полными золотых монет и чеков на швейцарские банки.

Хорошо, видно, фашисты заплатили слюняту Кербелай. Не вздумал бы он изощряться в красноречии, барски клеймя растленное иранское правительство Тегерана, продавшееся со-

юзникам. Кербелан возмущается и проливает слезы от стыда, что отступник шах целует руки ференгам и ласкает отвратительных псов, принадлежащих английским леди. «Номашру!» Тысячу раз «номашру» — Недозволено!

И это говорит господин слюнтяй Кербелаи, который принимает в своем ширазском дворце, прячет на женской половине настоящих ференгов — немцев, бежавших из Тегерана. Да что там! Всего пять дней назад близ Бивенда слышали гул самолетов. Видели в небе десятки куполов парашютов. А кто водил по ширазским мечетям каких-то рыжих молодчиков с фотографическими аппаратами? Разве не господин Кербелаи?

Когда шейх Музаффар отправился на племенную джиргу, он знал меру своей силы, своего влияния, но он не знал, что Мирза Кашкаи выволочет из змеиной норы господина Кербелаи. Шейх Музаффар своей столетней хиркой потрясал воображение верующих. Хирка, принадлежавшая святому кабадианцу, окружала ореолом святости того, кто ее надевал. «В бытии ваших живших нет больше блага, а благо в наших мертвецах». В изодранной, покрытой сотней заплат хирке шейх Музаффар становился буквой веры. Имя давно умершего святого владельца хирки давало безграничное могущество. Но живой дьявол сильнее покойного пророка.

Живой дьявол, хилый слюнтяй Кербелаи, оказался сильнее святого мертвеца кабадианца. Брызгая слюной, провозгласил он приговор нечестивцу шейху Музаффару. Он прошлепал губами:

— Джихад — война с неверными, главная обязанность мусульманина. За отказ от джихада мусульманину смерть! Шейх отказался от джихада — убейте его!

Маленькая длиннолая головка Кербелаи совсем ушла в ворот белой курточки. Рачьи красные глаза испуганно таращились на свет ламп. Пальцы зашелкали костяшками четок.

От шейха Музаффара не требовали объяснений. Ему не задавали вопросов. Участь его давно решили.

Мирза Кашкаи пошевелил губами и обвел взглядом своих выпуклых глаз присутствующих. Все молча, почти испуганно закивали головами.

Все сконфузились. Они боялись шейха Музаффара и ждали... Чего? Сами не знали.

Шейха Музаффара вожди знали четыре десятилетия. Имя шейха Музаффара вызывало трепет. Они не верили в душе, что шейх сдался, и понимали, что безоружный, окруженный врагами, без друзей он бессилен, но... лев страшен и в путах.

Они разочаровались, когда шейх Музаффар словно в раздумье произнес:

— У меня, как и у тебя, Мухаммед Насыр Мирза Кашкаи, нет свидетельства на вечную жизнь. Что ж, если судьба не лас-

кова с тобой, будь ласков с ней. Почему же ты молчишь, Мирза Кашкаи? Ты хозяин шатра. Я гость. Решай!

Ну и дьявол этот шейх. Такого удара Мирза Кашкаи не ждал. Законы гостеприимства в пустыне нарушают лишь ублюдки. Никто не знал отца Мирзы Кашкаи. Он пришел к власти темными путями. Говорили, что его сделал вождем кашкайцев низложенный шах, слабостью которого были луноликие мальчики...

Мирза Кашкаи покраснел. Кербелай запищал:

— Еще не решили, какую выбрать смерть богохульнику и идолопоклоннику. Отрубить голову, задушить такого мало. Изжарить его на камнях! Повесить за ноги! Закопать живым!

Он вскочил с места и вприпрыжку подбежал к шейху, кривляясь и хихикая:

— А мы полюбуемся... А мы насладимся зрелищем! Сейчас тебе, поганая собака, смерть будет лизать лицо! Хи-хи-хи!

Кербелай тут же отскочил. Ничто не мешало шейху пришить господина Кербелай. Слюняй перепугался и бежал на свое место.

Вот тогда-то ильхан негромко приказал:

— Взять!

И все в чадыре поглядели со страхом на вооруженных до зубов свирепых нукеров и подумали: теперь шейху конец, безусловно, конец.

Гости закрыли глаза, чтобы не видеть священной хирки на плечах шейха Музаффара. Они уже в большинстве своем не верили ни в бога ни в дьявола. И что им до заплатанного одеяния какого-то мертвого святого?

А шейх Музаффар смело прошел сквозь толпу вооруженных, точно нож сквозь масло, глядя сурово и прямо в их бледные, потные физиономии, полные трепета и растерянности. Шейх знал простых, бесхитростных кочевников. Он знал, что кочевники, даже самые корыстные и жадные, даже подкупленные и продажные, любят свой чадыр, свою жену, своих детей, свое кочевье, свои долины. К ним, этим диким кочевникам, он обращал горькие, как полынь их степей, слова о «животных, пасущихся на лугу буйства и мятежа».

И хоть он был для них другого роду-племени, но горечь его слов тронула сердца. Глаза пророка испепеляли бесхитростные, суеверные сердца. Заплаты священной столетней хирки слепили взоры, вносили в души смятение.

Тишина вечера взорвалась треском мотора, криками.

Гигант в высоченной остроконечной шапке зашагал сквозь толпу телохранителей, слуг, шоферов к грузовику.

За гигантом с автоматом наготове бежала Гульсун.

Из грузовика выскочил Зуфар и заслонил Музаффара и его жену.

Никто не успел двинуться. Вернее всего, никто ничего и не сообразил. Шейх решительно, по-молодому вскочил на подножку машины и одной рукой втянул жену. Зуфар оказался мгновенно в кузове.

Из шатра доносились крики. Оттуда выбегали кашкайцы.

С грохотом уже работал мотор. Кое-кто говорил, что мотор водитель завел еще до того, как шейх появился на пороге шатра, или во всяком случае, как только шейх вышел. Очевидно, водитель был наготове.

Грузовик взял с места и, подняв облако дыма и пыли, исчез в ночи.

Когда из шатра, выталкивая кашкайцев, выскочил Зал Зиаэтдин и побежал по скрипучему гравию с визгом «Взять! Взять!», грузовика на месте не оказалось. Далеко внизу темноту наступившей ночи прорезали полосы света. Стук мотора затих.

Великое судилище закончилось.

Случай, когда шейх Музаффар так легко вырвался из самого гнезда южных феодалов, сделался легендой. Шейха Музаффара окружали сотни вооруженных до зубов ненавистников, а он ушел. Над Мирзой Кашкай с тех пор смеялись. Песня «Об ублюдке» звучала у костра в шатре даже самого нищего кашкайца. И Мирза Кашкай, проезжая по долинам, не посмел остановить свой автомобиль и приказать: «Замолчи!» Ильхану Кашкай было стыдно. Овцу вешают за ее же ногу. Ильхан Кашкай сам виноват, что про него сочинили песню, жалкую песню. Ему предстояло висеть на своей ноге теперь до самой смерти.

Глава XVIII

Когда женщина потянет, двенадцать пар волос не удержат.

Иль Кутлуг, дочь Догуза

Громко стуча коваными сапогами, шейх Музаффар бежал через комнаты. Звон подковок громко отдавался эхом под высокими потолками дворца. Испуганно метнулись в освещенных луной оконных проемах летучие мыши.

В старом дворце ханов кухгелуйе на всем лежала печать запустения. Каменные плиты местами осели, полы сделались неровными, резные двери рассохлись и отпирались со скрипом.

Шейх бежал по темной амфиладе покоев и сдавленным голосом сыпал проклятия. Всю жизнь он прожил в чадырах и сюда заглядывал очень редко.

Но проклинал он не дворец, не тех, кто довел его до запустения.

С возгласом подавленной ярости он соскочил с коня и вбежал по мрамору гигантских ступеней. Мстительная ярость душила его.

Сефиет не знает его. Она вздумала строить козни. Предательница. Она спокойно спит в далекой башне дворца, надежно укрытая от взглядов посторонних, и не подозревает, что ее предательство не удалось, что ее предательство раскрыто. Он сейчас разбудит ее. Он даст ей возможность заглянуть в лицо смерти. Ему говорили, что турчанка изощренна в способах убирать людей. Она обольстительна, нежна. Она хладнокровна и безжалостна. Ничего! Криков ее не услышат. Стены дворца неимоверно толсты. Дворец строили лурские ильханы десятилетия назад как крепость. В здании, словно в скале, пробиты ходы, переходы, залы, комнаты. Громада дворца вмещает сотни помещений. Легко здесь спрятаться. Но не легко убежать отсюда. Даже если красавица Сефиет знает что-либо и попыталась скрыться, ей не уйти.

Через обширный, окруженный темными башнями двор шейх поспешил к крыльцу погруженной во мрак женской половины дворца. Желтый свет маленького фонаря озарял причудливые беседки и резьбу террас.

По крутой лестнице шейх легко побежал вверх. Тяжелая дверь. Когда-то здесь племенные вожди прятали свою главную драгоценность — своих красавиц. За дверью — площадка, еще дверь. Еще. И если сюда прорывались торжествовавшие победу враги, их могла бы перебить немногочисленная стража.

С треском распахнулась последняя дверь. Шейха встретила тишина. В большой увешанной гранатовыми коврами комнате не оказалось никого. Горела на столике керосиновая лампа. Спала на нераскрытой кровати белая кошечка. Ее так ласкала Сефиет, приехавшая два дня назад из душного жаркого Исфагана подышать горным воздухом.

Не стоило проклинать и ругаться. Красавица просто расчетлива. Да он и знал, что она расчетлива и суха, он сам делал ее в своем воображении неземной пери. Совсем как в стихах поэта: «Опутала меня сетью милливидности и ранила стрелою изящества». Затуманила голову. Это она посоветовала поехать на племенную джиргу. Подтолкнула в западню. Музаффар подумал невесть что. А она даже и не поощряла его, зазывно улыбалась и занимала приятными разговорами. Он медленно спустился во двор. У фонаря стояла женская фигура. Шейх вскрикнул и двинулся к ней.

Но женщина повернулась, и он увидел, что это не Сефиет.

— А, это ты, Гульсун,— сказал он удивленно.

— А кому еще здесь быть, кроме меня!— закричала Гульсун.— Я совершила «фэль»— гадание на раскрытом коране,—

и вышло, что от турчанки грозит тебе опасность. Я рассыпала волшебные камешки, и снова турчанка грозит тебе.

Он бессильно присел на глиняный порог беседки. Порывистый ветер обдавал лицо пылью, неприятно остужал пот на лбу. Шейх устал. Впервые в жизни он почувствовал, что устал.

— Я видела,— сказала Гульсун злорадно,— как доверчивых, вроде тебя, мой господин и повелитель, поджаривали и съедали вместо шашлыка, а потом отплевывались. Ты жестковат, и показался турчанке безвкусным.

— Где она?

Повязанная красной шалью, Гульсун казалась вызывающе красивой и дерзкой. В огромных черных глазах ее прыгали огоньки от фонаря. Она смеялась над ним, но он не возражал ей.

— Я храбрая,— продолжала Гульсун.— Турчанка не посмела связываться со мной. Никто не смеет связываться с матерью твоих сыновей, шейх. Две жены в одной норе.

— Что ты сделала с ней?— устало спросил шейх.

— Что ты нашел в ней? Лучше бы ты взял к себе на ложе обезьяну. Обезьяна не предала, не отдала бы тебя в руки врагов.

— Ты знаешь, что она сговорилась с Кашкай?

— А ты думал, что я, жена хана, отдам тебя первой встречной, которая поманила тебя? Я дочь пустыни. Это городские женщины, воспитанные на коврах да шелковых подушках, попав в беду, льют ручьями слезы. А для нас, женщин с соленых озер, такая беда — лягушачье кваканье.

Она действительно не проявляла ни малейшего беспокойства.

— Идем, мой супруг, ужин готов. Но если ты не повернешься к змее турчанке спиной, не быть тебе больше в моей постели.

Он покорно пошел за ней.

Пока они шли по переходам и залам дворца, Гульсун злорадствовала:

— Она поскакала теперь в Шираз покупать себе «искабэ». Долго ей нельзя показываться с открытым лицом. Лучше ей было по граблям лицом проехаться, чем узнать остроту моих ноготков.

— Ты знала, кто она, и ты отпустила ее?— удивился шейх Музаффар.

С искренним сожалением тогда Гульсун воскликнула:

— О, я побоялась, что ты обидишься на меня, если я нарушу обычай гостеприимства. Жаль! Конечно, я бы зарезала ее.

Задумчиво она прибавила:

— Жаль,— и розовый ее ротик сжался в прелестную и вполне простодушную гримаску,— автомобиль ее увез давно. Сейчас

ее не догонишь. Но успокойся. Царапины на щеках такой женщине страшнее смерти.

Она подумала и еще добавила:

— А я наточила так хорошо нож.

Гульсун не ревновала. Ревновать к шейху, у которого по закону сколько угодно жен,— глупость. Гульсун разделалась по-своему с Сефиет только потому, что та принесла ему вред. Змея меняет кожу, но не меняет нрава. Гульсун сразу разгадала в турчанке змею.

Гульсун пренебрегла гневом мужа. Она явилась во дворец, в котором не жила и которого не любила. Во дворце она задыхалась. Всюду здесь красота и удобства принесены были в жертву военным соображениям. Предки шейха Музаффара строили дворец—крепость от шахских пушек, и стены дворца с честью выдерживали ядра, а глубоченные рвы являлись неодолимым препятствием для ленивой и неповоротливой персидской пехоты. От толщины стен и низких потолков рождались мрак, сырость, крысы.

Оставив шейха Музаффара в кочевье кухгелуйе собирать воинов, Гульсун спросила Кузьмича отвезти ее в горный дворец. Она ворвалась в него, в эту крысиную нору, поймала самую большую крысу и, после самого свирепого сражения, какое когда-либо происходило между амазонками, изгнала ее в пустыню. Утонченная, интеллигентная Сефиет не выдержала нападения степнячки. Сефиет не привыкла воевать в открытую. Ей пришлось бежать, понеся изрядный урон в одежде и красоте. Единственно, в чем воинственная Гульсун снизошла к поверженной, разрешила сесть в ее автомобиль, который и доставил турчанку в Исфаган. Своему снисхождению Гульсун дала тут же презрительное объяснение. На прощание она сказала Сефиет: «Не воображай! Убивая вшей, надо выкидывать их подальше, чтобы не смердели!» И захлопнула дверку автомобиля. Вдогонку крикнула шоферу: «Вези! Выкинешь эту падаль на свалке!»

Одного Гульсун не могла постигнуть своим простодушным умом. Она знала мужа своего Музаффара человеком суровых обычаев. Шло у него это от какой-то озлобленности. О людях, которых мало знал, он предпочитал думать самое плохое. «Будь ненавистен и холоден,— всегда поучал Музаффар близких,— не проявляй предупредительности: подумают, что ты угодлив. Не принимай опрометчиво благосклонность и проявление дружбы—вообразят, что слабодушен». Шейх забыл все, увидев Сефиет. Пыталась Гульсун предостеречь шейха. Но что давать советы безумцу — ведь гвоздь в камень не вобьешь. Четыре жидкости есть в теле каждого человека: кровь, желчь, черная желчь, мокрота. Три первых жидкости взбесились в теле шейха от одной улыбки турецкой потаскушки. Едва повертела она

своими бедрами, сделала два-три «габриле» из танца живота, как флегма испарилась и шейх размяк. Но драчливая женщина и без собаки свой чадыр охраняет. Гульсун не отличалась миролюбием. Сначала она решила, что турчанка позарилась на деньги и дворец, но бронзоволосая Хуршид просветила ее. Рассказала о заговоре кашкайских вождей. Тогда пришел черед думать о ноже. Случайность спасла Сефиет. Даже в ярости Гульсун не теряла голову. Она перед каждым делом гадала. В «фэль» она верила слепо. Отправляясь в горный дворец, Гульсун погадала. Таинственные силы заступились за турчанку. Осталось выкинуть ее из дворца. Змея ускользнула.

«Жаль, что ты ее не убила. Ее надо было убить». Слова шейха прозвучали странно. Гульсун ждала гнева. Мужчина остается мужчиной. Никакой благодарности! Восторгался женщиной, преклонялся, готов был забыть все ради нее, а теперь... убить.

Гульсун принялась кормить ужином своего повелителя. Гульсун отлично готовила. Сегодня она положила побольше перца и пряностей.

Женщины кочевий — отнюдь не рабыни. У них открытый характер. Они послушны, но непокорны. Весьма внимательны к мужу, до надоедливости, но незлопамятны. Они полны смеха и песен.

Свою сигэ шейх Музаффар называл порой кипятком. Он побаивался ее. Но Гульсун крепко вцепилась в него. Достался он ей нелегко, и она знала, что еще труднее ей удержать его. Гульсун происходила не из Загроса. В ее жилах текла теймурийская кровь. К лурам она не имела никакого отношения. Чужеземке да еще сигэ заслужить любовь кухгелуйе почти невозможно. Шейх Музаффар не потрудился свершить брак с Гульсуни по закону. Вот уже десять лет они жили как муж и жена. Гульсун родила шейху двух сыновей, но оставалась временной женой. Это не мешало ей править мужем, семьей, племенем. Когда она в бою скакала во главе кавалькады, перевязав грудь красной шалью, никто не посмел бы назвать ее сигэ, рабыней и служанкой властелина мужа.

Пылкая, привязчивая, она захватила когда-то шейха Музаффара как нечто уготованное ей судьбой. Гульсун любила своего шейха. Она повелевала своим счастьем.

Что думала сигэ? Что думал шейх Музаффар? Гульсун увидалась около него. Он мрачно ужинал. От пищи человек делается снисходительным.

Гульсун сказала:

— Ум женщины в ее локонах. Дай мне твой язык, я его поцелую. Сердце мое по тебе истомилось...

— Отстань! — сказал шейх Музаффар. — Опять ты за свое.

Но Гульсун не испугалась:

— Опять война. Смерть не различает старых и молодых. Печальна наша участь. В десять лет люди бывают детьми, в тридцать лет муж не любит жену, в шестьдесят жена не любит мужа. А там и холод могилы. А я вам родила сыновей. Когда из сигэ я стану законной женой?

— Отстань! Разве время сейчас думать о брачном ложе? Война. А тут женская болтовня. Пустой хум поет — полный молчит.

Шейх Музаффар вскочил. Он зашагал по коврам своего дворца с обнаженной саблей в руке. В случае войны сабля кухгелуйе должна быть всегда обнажена. И днем и ночью! За Музаффаром ходила по пятам сигэ его Гульсун. В нежной, мягкой ее руке тоже была зажата рукоятка сабли.

Они ходили по длинному коридору, освещенному масляными чирагами, и тени их метались по стенам. Высоченная, широкая тень вождя. Стройная тень красавицы Гульсун.

Стены коридора, увешанные старинными клинками, огромной величины ружьями с раструбами на конце дула, щитами с потемневшей бронзой украшений в неровном, колеблющемся свете устрашали и вызывали трепет.

Кто не знает силы врага, тот погиб. Самый страшный враг Музаффара и кухгелуйе — Мухаммед Насыр Мирза Кашкаи. Именно он совместно со своим братом — Малекман Мансуром по прозвищу «Немец» — продали идеи освободительной борьбы, предательски порвав братскую клятву. Малекман Мансур получил прозвище «Немец» неспроста. Он учился в Германии и стал фашистом. И шейх Музаффар с вершин своих гор особенно пристально приглядывался к делам в стане кашкайцев. Даже завидев муравья, который полз из долины, пригвождал его стрелой. Ни одна змея не проползла мимо, незамеченной шейхом.

Знал шейх и о приезде многих немцев в кочевья кашкайцев. Знал и то, что многим тегеранским сановникам, генералам, помещикам вдруг наскучила столичная жизнь и они поспешили перебраться на юг. Тайное общество «Меллиуне Иран» устраивало в Исфагане сборища чуть ли не ежедневно...

— Больше всех изумится смерть, прежде чем изумление коснется кого-либо! — Темный смысл слов носящего хирку изумил воинов, стоявших в коридоре, заставил их крепче сжать приклады винтовок.

Широким шагом шейх вышел на высокое крыльцо. Светало. Ключья тумана ползли по зеленым склонам гор Загрота.

Окруженный полуразвалившейся оградой, двор едва вмещал мужчин кухгелуйе. Дула винтовок задевали, упирались в бока.

Толпа рокотала. Но едва только вышел из чадыра шейх Музаффар, сделалось тихо.

Надменно закинутая голова, презрительная улыбка на губах, суровый взгляд — все в нем внушало мужество. Он — лев, и нет ему равных. «Взгляд его разрушает гранит», — думали все. Трудно сказать, за что его уважали больше: за то, что он носил хирку степени высшего сейидского достоинства, или за то, что он был «политиком с длинными зубами».

За Музаффаром только-только не установилась слава творца чудес. Он сам отрицал чудеса. Но сочетание ума и величия относило его к потомкам князей пророка, хотя он презирал князей. Знаток наук внешнего и внутреннего значения, Музаффар срывал покрывало тайны и пользовался славой шейха времен, был господином гор, проявлением вечной мудрости.

Но бедным кухгелуйе простительно приравнивать своего вождя к пророкам. Горцы были поголовно неграмотными, и в устных песнях о борьбе с Тегераном хватало места для воспевания подвигов шейха Музаффара, вот уже почти пятьдесят лет метко стрелявшего, круто рубившегося саблей ради счастья и благоденствия детей кухгелуйе.

«Мы — волнующееся море, и песням нашим нет конца. Хватит их на две «Шахнаме», а подвигов шейха Музаффара — на двух Рустамов». Равнодушные к исламу кухгелуйе приносили скромные жертвы рощам, столетним деревьям, необыкновенной формы скалам во здравие своему вождю, тигру среди мужей шейху Музаффару.

— Пока можно договориться о мире — не стучись в двери войны, — сказал он мужчинам гор. — Война требует крови. У каждого из вас свой ум, свой кров, но все вы кухгелуйе. Собери коней в одно место — масти одной они не станут, но нрав они будут иметь один. И у меня и у вас — один нрав. У нас, кухгелуйе, тысяча приемов, чтобы убить врага.

Шейх искоса глянул на свою сигэ Гульсун. Она стояла рядом, держа в руках его винтовку. Гульсун была всегда рядом с вождем. Она восприняла нравы кухгелуйе. Сегодня во дворе среди мужчин можно было разглядеть и задорные глаза женщин и девушек. Они тоже держали на коленях карабины, и через плечи их висели патронташи, полные патронов. Женщины кухгелуйе умели воевать издревле. Посреди кочевья кухгелуйе стояло высокое надгробье. Очень старую надпись на нем читали вслух грамотеи, и девушки утирали слезы. На камне были высечены древние письмена:

«Лами Бари — дочь Яхьи, жертва острия пики, всадница неистовая, разящая мечом тысячи врагов, молодая, видная, смелый богатырь на двадцать четвертом году. На могиле твоей, роза белая наша, мы сажаем цветы. Умерла! Увы, увы, увы!»

За честь, чтобы сажали розы на их могилах, подобно легендарной Лами Бари, сражались многие девушки и молодые женщины кухгелуйе. Гульсун тоже сражалась, но не спешила стать жертвой острия пики. Она очень зорко и осмоторительно следила за врагами в бою и не давала им приблизиться к своему мужу и повелителю.

Гульсун стояла, опершись на винтовку, рядом с Музаффаром и слушала его как бога.

Он говорил:

— Отними у человека пастбище — завтра он придет и отнимет пастбище у тебя. Мало, что ли, пастбищ у кашкайцев? Тянут они руки к нашим, безумцы. Они стреляют. Полилась кровь кухгелуйе. Кровь зовет к мести. Предатель Мирза Кашкаи и его брат Немец спутались с фашистами. Нам от немцев столько же пользы, сколько от англичан, исконных наших врагов. Сколько ни меняй врагов, врагами они и останутся. Ко мне приезжали немцы. Я назову вам их проклятые имена, чтобы вы запомнили их. Вот они: Франц Майер, Роман Гаммота, Юлиус Шульц, Шмидт. Что они делали? Они дарили вам винтовки, мужчинам дарили. Они дарили женщинам отрезы шелка. Они кормили детей конфетами. Они предлагали мне и старейшинам кухгелуйе золото, много золота. Зачем?

Что делают немцы в наших горах? Почему их солдаты маршируют по нашим долинам? Зачем их железные птицы кружат в небе над нашими головами? Для чего разравнивают землю немцы? Для посева пшеницы? Или розы хотят сажать? Нет, они явились сюда сеять семена смерти и сажать деревья войны.

В сумраке поблескивала сталь оружия. Вождь продолжал:

— Немцы Майер, Гаммота, Шульц, Шмидт сказали: «Пусть кухгелуйе сражаются против исконных врагов—англичан. Тогда получают много выгоды». Я сказал немцам: «Что англичане, что вы — одно. Вы, немцы, подобны верблюдам, у которых через нос не продета веревка. Вы мчитесь взбешенные, куда вам за благорассудится. Вас трудно накормить, ибо у вас брюхо больше, чем у слона. А вы, фашисты, стадо взбесившихся слонов. Не приходите больше к нам, иначе придется отправить на подносе ваши головы в Тегеран».

Все молчали и слушали.

— Душа свободного мужа презирает насилие и питает отвращение к воде из мутного источника интриг. Но ржавчина съела ум Мирзы Кашкаи, и он поднял на нас руку. Нам, кухгелуйе, не нравится ремесло войны, но мы этим ремеслом пользуемся, потому что оно нам необходимо. Мудрость — цветков. Он раскрывается, когда мы на него смотрим. И мудрость повелевает нам: «Точите ваши мечи».

У них извращенная жажда уничтожать, ибо люди эти сами живут под постоянной угрозой уничтожения.

Хуришак

Ночью на вилле «Букет роз» началось движение. Стучала калитка. За оградой то и дело слышались выстрелы выхлопных труб автомобилей. В кабинете сэра Болда горел свет.

Приехал неожиданно барон и сразу же прошел в патио. Тревожный голос почти прокричал:

— Восстание!

Зуфару удалось разобрать названия племен: дершури, кашкумбурзург, бакуки, фарсимадан-ильамм. Он уже достаточно разбирался в местных исфаганских делах. Он подумал: «Почти все кашкайцы». Весь географический треугольник Исфаган — Шираз — Дизфуль поднялся.

Начинается.

Для беспокойства имелись все основания. Он сам читал в газете «Навбахт» крикливую заметку, что Англия и Соединенные Штаты заключили с Гитлером мир и теперь Сталинград доживает последние минуты, а Германия будет вести войну до победного конца.

Военно-феодалная организация кашкайцев насчитывает восемьдесят тысяч винтовок. Восстание, поднятое, конечно, дорогим гостем и другом сэра Болда Мирзой Кашкаи, несомненно, поставит в тяжелое положение Трансперсидскую дорогу и поставку грузов Советскому Союзу через Иран. Германские фашисты знают, что делают. Восставшие на своем знамени написали: «Вон союзников из Южного Ирана». Союзники — это в первую очередь англичане, а ингризов здесь не переносят. Крепкую пощечину влепили сэру Болду немцы.

Тегеран тоже не слишком взволнован. Ему тоже надоела опека союзников. Раскаты артиллерийских залпов на Волге заставляют шахиншахское правительство оглядываться. Вору на базаре хочется суматохи.

Народу достанется. Народу придется туго. Вооруженные банды будут скакать по полям, жечь селения, убивать, насиловать. Администрация и мелкие вожди замечутся. Опутанные щедрыми подачками понимают, что очередь скоро за ними, и тыкаются слепыми мордами в политику. «Высокомерием их возведена меж ними и народами стена».

Стихи Бедиля упорно вертелись в голове Зуфара, когда он разговаривал с привратником, желая выпытать новости. Он даже вслух продекламировал двустишие. Но привратник не понял Зуфара и посоветовал ему идти спать.

В патио больше всех шумел и волновался преподобный Даллас. Первый раз Зуфар услышал, что сэр Болд сказал ему резко:

— А вы, американцы, хотите сделать яичницу, не разбивая яиц.— И вульгарно выругался. Запертый в загоне американец метался из угла в угол, зло выкатывая глаза.

«Английские интересы ни в коем случае не затронуты восстанием. Сэру Болду все фокусы его друга Кашкаи лишь на руку».

Мнение барона Тенти не удивило Зуфара, но он успел узнать Мирзу Кашкаи и понял, что он вообще, по-видимому, и не собирается обижать своих британских друзей.

Впрочем, предусмотрительно хан перестал появляться на вилле «Букет роз» на ленчах и файвоклоках.

Вести поступали все тревожнее. По слухам, конники племен фарсимаданов и кашкумбузургов двинулись в долины Загроса и там произошли кровопролитные схватки. Хотя восстали кашкайцы против правительства, но почему-то их вооруженные отряды в окрестностях Шираза взяли под охрану фабрики и мастерские частных владельцев.

«Неверные плетут сети, но никому из них не сравняться с аллахом»,— провозгласил Мирза Кашкаи,—но ни один английский солдат не был обстрелян повстанцами.

Первый же поход кашкайцев в Загрос потерпел неудачу. Ни один кашкаец не дошел до кочевий кухгелуйе. Одержимый, таким прозвищем награждали шейха Музаффара во время войн и смутений, сам на коне, во главе отборных всадников появлялся в предместьях городов. Не осталось ни одного имения хана кашкайского, где бы не был разгромлен дворец. Шейх Музаффар мстил за джиргу, где его предательски судили.

Скоро стало ясно, что Мирза Кашкаи избегает встреч с Одержимым, что он, изнеженный, расслабленный вельможа, слишком европеец, чтобы, подобно древнему воину, вступать в единоборство с врагом. Он предпочитал давать интервью в газетах, где объявлял шейха и его кухгелуйе предателями дела ислама. На что Одержимый объявил: «Когда нет собаки, лает и свинья, а свинья неба не видит». И предложил: «Если он не свинья, а мусульманин, пусть честно сразится. Потешим сталь наших мечей».

Но и такое оскорбление Кашкаи проглотил молча. Он и забыл, когда вынимал из ножен меч своих предков.

Очевидно, правильное всех оценил обстановку Кузьмич:

— Верный британский пес этот господин хан, с молодых лет. Такие очень опасны. Долго и умело маскируются, вроде дрофы красотки «джека», по-туркменски «токдоры». Бежит по степи — за две версты видно, а ляжет на землю — и нет. Мгновенно исчезла. Так и Мирза Кашкаи — почуял, что британцам туга,

и решил сменить хозяев. По повадкам он степная випера, пока не наступишь на нее — не видна. Злобная, смертельно опасная, кусачая гадина.

Как всегда, Кузьмич приехал в Исфаган неожиданно. Через индуса дворецкого он вызвал Зуфара.

— Поехали. Ты любишь охоту. Я не я, если завтра не возьмем на мушку несколько штучек токдоры... Ты со своими сэрами не прощайся. Уехал — и все тут... По-английски...

V ЗОЛОТОЙ КУПОЛ



Есть переходы трудные, есть переходы легкие, а жизнь между ними — лишь временная остановка в караван-сараяе.

Самарканди

В этой норе нет муравья, на котором не было бы клейма насилия.

Фаридун

Учитель лишь мельком глянул на Зуфара и Кузьмича. Левая щека учителя прыгала в тике, что делало его правильное, даже красивое лицо уродливым. Он не хотел разговаривать и упрямо занимался своим делом: смазывал спину кетхуды — старосты — не то маслом, не то самодельной мазью.

— Что у него со спиной? — спросил Кузьмич учителя.

— Вас интересует? Я не встречал европейца, который интересовался шкурой перса, хотя бы старосты.

Говорил он резко, со злостью.

— Видно, вы любите европейцев? — сказал Кузьмич. — Вы не Бовенд? Мы должны встретить здесь учителя Бовенда.

Учитель сам задал вопрос:

— Из вас есть разбирающиеся в медицине? Я не врач. Да, я учитель, но приходится штопать спины после европейских, цивилизованных мероприятий.

Кузьмич принес в мазанку из грузовика санитарную сумку. С учителем они долго промывали рваные раны на спине кетхуды. Со стонами и вздохами несчастный рассказал:

— Крестьяне деревни давно тягались с Кербелаи из-за воды. Муса бен Риза ар Раззак Кербелаи — наш помещик. Ему понадобилось построить себе фонтан. Рыть колодезь он пожалел денег и заставил прокопать для отвода воды водоотводную галерею от кяриза деревни до своего нового парка. Селение осталось без воды. Крестьяне разрушили галерею. Посланных на усмирение жандармов прогнали камнями. Тогда Кербелаи обратился к ингризам. Донес, будто крестьяне помогают немцам, скрывающимся в горах. Английские солдаты пришли и открыли стрельбу. Были раненые и убитые. Мне, кетхуде, за мятежные мысли и попустительство дали пять палок... В прогрессивном нашем государстве закон, конечно, не позволяет бить людей палками. Господин Кербелаи щедр на отеческие внушения. Чего там подавать жалобы в суд, когда он сам судья...

Учитель поиронизировал:

— Несомненно, наш кетхуда — деятель мировых масштабов. Смотрите, он, сидя в своей захудалой деревушке, заставляет задумываться государственных деятелей мира. Немцы якобы втянули нашего кетхуду в диверсию на Трансперсидской дороге. Англичане стреляли в женщин и детей его селения. А спину кетхуды мы лечим американскими медикаментами.

Застонав, кетхуда повернул к собеседникам голову. Выглядел он жалким, морщинистым. Седенькая круглая борода кетхуды обрамляла беззубый рот под расшлепанным пористым носом. Черные глаза его шныряли между красных воспаленных век. Он сказал:

— Достопочтенный муаллим, закончили ли вы исправлять повреждения моей спины, причиненные мне драконовскими палками уважаемого нашего помещика, священной опоры ислама, господина Кербелай? А то мне надо идти.

— Куда вы? — удивился Зуфар. — Вам надо лежать, поправляться.

Но кетхуда довольно резко поднялся на ноги. Настороженно разглядывая собравшихся, он особенно долго изучал Кузьмича и проговорил туманно:

— Что ингризы, что алманы, что американцы, что русские — одно. Осел тот же, сколько седел ни меняй.

— Да, иностранцы для Ирана — бич божий, — заговорил учитель. — Всегда были и есть. Мы сейчас проезжали через развалины. Видели? Камни и битый кирпич — следы города, сметенного завоевателем — чагатайским хищником Тимуром...

Учитель пожал плечами и добавил:

— А за русских его извините. Он знает только русских времен царя Николая. Когда-то ходил на заработки амбалом в Асхабад и Красноводск. О революции говорить у нас опасно.

— Ты русский? — удивился кетхуда, придвигая к лицу Кузьмича свое морщинистое, загорелое до черноты лицо. — Сделали вы, русские, свою революцию, царя и помещиков прикончили. А в нашем государстве истина на стороне врагов, и мы делаемся добычей крокодила смерти. Мы не можем никак переправиться через кроважадную реку мятежей и пристать к берегу счастья.

Он попытался выпрямиться. Поохал, постонал, кое-как терпелся и, опираясь на посох, выбрался наружу.

— Жизнь наша — караван-сарай с двумя воротами, — кричал он, — в одни людишки входят, а в другие выходят. Каждый день здесь новый народ. Кто вас знает, зачем вас принесло!

Он не говорил, а жевал слова, словно хотел распробовать их вкус.

— Речь — зеркало говорящего, — усмехнулся учитель. — Имейте в виду, старик совсем не революционер. И если бы его не поколотили, еще неизвестно, согласился бы он помогать нам.

Он философ. Знает краткость человеческого бытия, и все его упования — серебряные краны, не дающие ему помереть с голоду.

Когда они шли по улочке среди глиняных мазанок, учитель не мог скрыть раздражения:

— Голодный забывает веру и политику. Вот я занимаюсь с вами. Говорю о высоких идеалах. А вы знаете, что важнее, во стократ важнее? Мне надо повести сегодня моих учеников на травку в горы. На какую травку? На обыкновенную зеленую! Да-да, попасться, как пасутся козы и овцы, чтобы набить их маленькие желудки хоть зеленой травой. В ней витамины есть. Европа воюет — мы не воюем. А из-за войны у нас голод. Поди докажи, что из-за Гитлера.

Они шли по пыльной занавоженной улочке. Из хижин, похожих на кучи сухой глины, выглядывали безобразные тощие женщины в коротких узких сорочках, в ниспадающих с головы до поясницы рваных покрывалах из мешковины, в узких, в обтяжку, штанах.

Навстречу торопливо семенил по пыли старик в рубахе из дерюги. Учитель почтительно поклонился ему.

— Мой отец, — представил он.

Старик завел их в покосившуюся хижину, мало отличавшуюся от жилища кетхуды. Спугнув черных плохо одетых женщин, отец учителя суетился изо всех сил, пытаясь, выказать гостеприимство. Но он совсем не обрадовался, увидев советских людей, в особенности узнав, зачем сын и кетхуда их привели к нему в дом.

Любимое, по-видимому, выражение «ахримани» — дьявольщина — ежеминутно срывалось с его уст.

— О ахримани! О чаша, отражающая мир. О лев бога Али! Ветви душевного настроения нашего ломаются от вихря презрения людей сильных мира этого и их нахальства. Ярмо любви нашей к свободе, увы, оказывается слишком тяжелым для нашей шеи.

— Не браните отца, — шепнул учитель, когда старик на минуту вышел из комнаты. — Он сидел много лет в тюрьме за вольные мысли. Иной раз он принимается клясть себя за привычку ввязываться в политику. А так он очень хороший, очень верный старик. И его придется попросить, чтобы он проводил вашего друга через пустыню.

— Но зачем его мучить? Он слаб, и ему тяжело, — запротестовал Зуфар.

— Лучше его нет, — со стоном пробормотал кетхуда, — я не могу.

По землистой бледности, каплям выступившего пота на лбу и щеках, по страдальческому лицу видно было и так, что надежд на кетхуду возлагать нельзя.

— О ахримани!— в комнату вошел отец учителя.— Чаша, показывающая мир, говорит мне, что моим старым костям придется поскрипеть сегодня ночью.

Он отчаянно замахал на учителя руками:

— О ахримани! Не говори, сынок, не объясняй. Мне ничего не надо знать. Правда — величайшая драгоценность, надо ее экономить. Держите при себе, кто вы и куда вы идете. Я вас доведу. О лев бога Али!

— Нам надо, чтобы вот он,— Кузьмич кивнул в сторону Зуфара,— и с ним еще кое-кто прошли скрытно к югу от Нейрабада. Очень опасно...

Отец учителя перебил Кузьмича и быстро сказал:

— Еще в двадцать девятом я был замешан в забастовке на английских нефтяных промыслах. Там не попался. И все же, о ахримани, попался на текстильной фабрике «Ватан» во время первомайской демонстрации. Не пугай дождем утку, дорогой мой. Скрип дверей тюрем Исфагана, Шираза, Абадана, Мешхеда и, о ахримани, скольких других, мои уши знают лучше, чем стон дверей этого домишка. Неужели вы думаете, что мое сердце равнодушно к моему народу, который, в рубище, голодный, неграмотный, ковыряет землю деревянной, как у вас называется в России, сохой?.. Наша Персия — не волшебная сказка из «Тысячи и одной ночи», как думаете вы, европейцы. Наша Персия — пятнадцать миллионов нищенствующих крестьян, миллионы, сколько их, никто не знает, кочевников в лохмотьях, три миллиона нищих ремесленников. И на шее их сидит кучка генералов, помещиков, чиновников. Наше правительство разбазаривает наши богатства. Разбился кувшин, пролилось молоко, а миром правят и вертят так и эдак блюдолизы. О лев бога Али! Из блюдолизов состоит меджлис и правительство.

Едва зашла речь о меджлисе, кетхуда совсем занемог и стал проситься домой:

— Эх ты, трус и прихлебатель!— закричал на него отец учителя.— Сам из крестьян, а дрожишь от одних разговоров. Выколодили тебе из спины пыль, и ты уже кончен. Помни, водолаз, думающий о зубах крокодила, не найдет и одной жемчужины. Душа восточного человека, разбуженная громом из России, проникнута самоотверженностью и горит огнем ненависти и злобы к угнетателям!

Старик совсем разошелся и не желал слушать увещаний учителя и кетхуды. С видом оратора на трибуне он возглашал точно на митинге:

— Вернопопданный меджлис, о ахримани, не утвердил за все время своей жизни ни одного правильного закона. Все законы — ложь и вред простому народу. И ты, мой сын, не останавливай меня.

Он подал гостям ячменный кофе и ячменный лаваш. В доме

не было мебели, и гости сидели на стареньком, растрепанном паласе у глиняного углубления с чадящими углями.

— Кусок хлеба и чашка воды — пища деятеля просвещения — учителя. Английский генерал объявляет народу: «Я пришел к вам ради мира и народного благополучия». Американец ноет о свободе и благоденствии. Пророк Гейдар засылает парашютистов, раздающих персидским детям конфетки. А люди подыхают с голоду. А мы что, просим европейцев соваться к нам? Пусть они держат у себя свой мир и свое благополучие. Персия была славна своей культурой во времена, когда британцы жили в своих болотах и мазали физиономии зеленой краской, немцы одевались в шкуры и ели сырую кабанятину, а Америка и вообще не была еще открыта...

Глава II

Если не хочешь обмануться, не считай несделанное дело сделанным.

Кейкаус

Надежду Зуфар потерял. Он уже не верил в успех. С треском под ногами ломалась соляная корка. Над головой нависло серое тяжелое небо. Впереди плелись белые ослы отца учителя, белые, очень рослые ослы хамаданской породы. Из хурджунов торчали нелепые шесты, цепляясь за небо. Ослы казались многоухими чудовищами. Шесты и уши шевелились в слепящей ма-ри прижавшегося к земле неба.

От зноя, духоты и соли в глазах рябило. А надежда пропала. Их обманули. Невыносимо думать в подобную жару, что тебя обманули. Каждый шаг отдавался тупо в голове.

Сбоку жарко подуло. Небо погустело, почернело, брюхом легло в соль, поползло и сразу проглотило уши, палки, ослов и шагавших впереди гордого, высокого кухгелуйе и тощего, хилого отца учителя.

Потом ветер навалился, почти задушил песком, пылью, солью. Зажмурив глаза, шаря перед собой руками, Зуфар слепо тыкался во тьме. Заторопился. Не хватало еще потеряться в пустыне, провалиться в соляное болото. Отец учителя дорогу знает.

Песчинки били в лицо. Ветер крепчал, делался горячее. Зуфар держался за колючий хурджун.

Разве выйдет что-нибудь? В такую погоду самолеты не полетят. Ветер, туман, марь. Никакой видимости. Зуфар хотел сказать шагавшему впереди кухгелуйе, что надежды нет, даже крикнул куда-то во тьму, в марь, но едва не задохся от пыли, песка, соли.

Туча давила к земле. Зуфар шагал, держась за осла рукой, ничего не видя, ничего не соображая.

Неожиданно подувший хамсин все спутал.

Где теперь Кузьмич со своим грузовиком? Где воины кухгелуйе? Где пастухи? Где сузмени? До них километра три. Они с востока объехали красные камни, притаились. Но их не видно. А может быть, до них не три километра, а тридцать три.

А где шейх со своими всадниками? Тоже заблудился в куче песка. Разве прочеешь пустыню?

Под ногами соляная корка. Пучки трав. Хочется пить. Голова кружится. Под ногой хрустит белая кость. Чья? Верблюжья, человечья, обглоданная шакалами? Кто ее знает.

Еще темнее... Еще больше песка. Глаза нельзя открыть.

Вдруг гул самолета и вспышка красного света...

Зуфар их ощутил одновременно и сразу размотал тряпки, высвободил новенький карабин. Он зарядил его, когда занавес туч разорвался над самой его головой.

В красной щели неба, в разрыве тучи висел самолет. Он, конечно, не стоял на месте. Он летел и очень быстро в небе, красно-багровом от лучей солнца, просвечивавшего сквозь тучу.

Но Зуфару было не до красок. Со стороны самолета вниз спускались купола парашютов. Оглушенный переходом от полного разочарования к радости успеха, он громко считал:

— Раз, два... четыре, пять...

— Правильно!— закричал он...— Молодец Хуршид! Точно — их пять! Все знает Хуршид! Правильно она сообщила и время, и количество, и место высадки. Не напрасно Хуршид была в республиканской армии в Испании.

Кухгелуйе смотрел, раскрыв рот, на парашютистов. Кухгелуйе не видел ничего подобного. Старик бормотал: «О лев бога Али!» Люди падали с неба... При всех условиях могла помочь только молитва... к заступнику всех людей — пророку шиитов халифу Али.

И сразу туча закрыла все: и кусочек пламенеющего неба, и черный силуэт железной птицы, и светлые колпачки парашютов. Во тьме вверху тускнел помидор солнца и почти потух...

— Там!— закричал Зуфар и, сжимая карабин, прицелился в хаос песка и соли.

— Там!— завопил кухгелуйе и побежал за Зуфаром.

— О лев бога Али,— пробормотал отец учителя, остановив своих хамаданских белых ослов. Он сел на соляную корку и приготовился ждать. Накрыв полой чухи голову, старик дремал, не смотря на песчаную бурю, на соль, на жару, на жажду. Он привык ждать...

Старик вздрогнул от выстрела...

— О лев бога Али!

Стреляли близко. Но отец учителя не вскочил, не забеспокоился. Прижавшись к ногам осла и закутав покрепче голову, он еще раз воскликнул: «О лев бога Али!»

Старик вздрогнул, когда выстрел повторился. Стреляют, зна-

чит, надо стрелять. Он даже не попытался посмотреть. Впрочем, смотреть не стоило: туча песка неслась со свистом между солью и небом. И в туче стреляли. Выстрелы порой сливались в сплошной оглушительный треск: тра-та-та!

Отец учителя пробормотал:

— Сколько патронов тратит! Уму его необходим довесок. Нам этих патронов хватило бы на три года.

Всю жизнь старик был мятежником. Он знал цену выстрелу. Буря бесновалась. Теперь стреляли реже. Время шло. Отец учителя дремал.

Вдруг он выпрастал голову и посмотрел. Что-то круглое катилось из тучи на него. Старик вскочил.

— Тьфу!— воскликнул он.— Настоящий буран, настоящий «бад и кесиф»... Плохо!..

Мимо катились шары из колючки.

Такие шары по соленому высохшему озеру мчатся только в сильный ураган — «бад и кесиф». А «бад и кесиф» страшен даже такому опытному проводнику, как отец учителя. Надо побыстрее убираться отсюда, из царства соли и песка.

Старик повел носом, послушал...

Выстрелы прекратились.

Почти сейчас же из непроницаемой тучи песка донесся резкий хруст соляной корки под тяжелыми шагами... Судорожно дыша, рядом с ослиами возникла огромная фигура кухгелуйе. Он сгибался под тяжелой ношей, а одной рукой волочил что-то по соли.

Отец учителя даже не смог воскликнуть свое любимое «О лев бога Али!» и недоуменно молчал. К ногам белых хамаданских ослов кухгелуйе небрежно свалил злого джина — страшного черного, в серых очках-консервах, в черном шлеме, в черной, похожей на старинные латы, кожаной одежде и в тяжелых зашнурованных сапогах. И тут же грубо подтащил второго такого же джина, который сопротивлялся отчаянно, но бесполезно, потому что был связан по рукам и ногам.

— Вот,— хрипло проговорил кухгелуйе.— Настоящие джины... Кто другой может свалиться с неба? Выскочить из железных птиц да еще когда дует такой «бад и кесиф»?

— О лев бога Али!— воскликнул старик, но поразился не тем, что на соляную корку озера свалились с неба два парашютиста, а силе и мощи кухгелуйе, сумевшего управиться с двумя такими страшными джинами.

Пнув одного из парашютистов ногой, отец учителя воскликнул:

— Вставай, не притворяйся, господин джин!.. Сколько из-за тебя мы приняли мучений...

А кухгелуйе, самодовольно усмехаясь, стащил с плеч через голову две винтовки — нет, это были совсем не винтовки, такого оружия старик не видел еще и не знал.

— Эй, отец! — сказал кухгелуйе. — Нет ли там напиться?

Он сказал это так, как будто не было только что стрельбы, как будто не дул свирепый, сшибающий с ног «бад и кесиф», как будто он, кухгелуйе, сидел у себя, развальясь, в шатре, на кошме.

Поспешно отец учителя вытащил из переметной сумы бурдючок с водой, и кухгелуйе бережно, боясь потерять хоть каплю, глотнул.

Косясь на связанных черных джинов, отец учителя забормотал:

— Дует «бад и кесиф»... «Бад и кесиф» плохой, очень плохой. Скоро ночь... Ночью придет ветер «насим». Очень плохо.

— Узбек не приходил? — спросил кухгелуйе.

— О лев бога Али! Узбек не приходил. Когда так стреляют, разве придешь?..

Толстые губы кухгелуйе покривились. Он вскочил:

— Где же он?! Где брат мой?

Кухгелуйе снова пнул одного из парашютистов ногой:

— Клятву даю, если что случилось с братом моим узбеком... Я на лезвии добра и зла... Мы клялись в братстве и дружбе, стоя одной ногой в луже крови и держась за руки.

Но тут из сгущающейся тьмы совсем рядом грохнул выстрел.

И тотчас слабый голос позвал:

— Эй, эй, где вы?.. Эй, старик!..

Мгновенно кухгелуйе поднял карабин и выстрелил раз, другой, третий... Пленники зашевелились. Голос из тучи пыли уже ближе прозвучал: — Слышу, слышу! — И, сгибаясь под тяжестью груза, шагнул Зуфар. Отдышавшись, он грохнул человека, закованного в кожу, на корку соли так, что она разбежалась трещинами.

— Три? — спросил он. — Еще два?

— Оттуда? — кухгелуйе показал рукой вверх, где пряталось за мчащейся тучей вечернее небо. — У меня два, у тебя один. Там, в степи, проглотили пули двоих... Итого, — он завернул пальцы, — пятеро!

— Ты видел?

— Да!

— Здорово!

— Я воин. Я разбил клетку их тел, и птицы их душ вылетели в сад роз.

— Крепкий у тебя характер, кухгелуйе, — сказал отец учителя, обходя лежащих на соли немцев и разглядывая их.

— Лур ходит по лезвию добра и зла, — самодовольно сказал кухгелуйе.

— Берегитесь, — забормотал старик, — идет ночь, идет «бад и кесиф». Соляная пустыня — алчный взяточник. Надо идти.

— Надо идти,— вторил ему Зуфар.— Они не могут идти,— показал он глазами на двух лежащих немцев.

Кухгелуйе вытащил кинжал и провел толстыми губами по лезвию.

— Приступать?

Один из немцев сел.

— Уберите нож!— крикнул он, с трудом подбирая персидские слова.— Вы не смеете убивать нас. Мы есть государственные люди...— Он чуть не задохнулся. Ветер бросал в лицо пригоршни соли и песка.

Зуфар покачал головой. Подхватив немца под мышки, он перекинул его через осла.

— Привязывайте!

Двух других немцев тоже навьючили на ослов.

Кухгелуйе не возражал против такого решения. Он засунул кинжал за пояс. Помогая привязывать к седлам пленных немцев, кухгелуйе пощупал блестящую кожу комбинезонов, в раздумье покачал своей большой грязной чалмой.

Кухгелуйе отлучился во тьму и вихрь и вскоре вернулся к ослам, медленно перебиравшим точеными ножками по тропинке, пробитой в соли. На плечах своих он тащил кожаные комбинезоны убитых парашютистов.

Шум ветра «бад и кесифа» перешел в оглушающий рев. Кухгелуйе прокричал Зуфару на ухо:

— Даровое вино и казий выпьет!

Они шли сквозь туман и тьму. Старик вел их по одному ему ведомым приметам. Одного старик не понимал. Зачем потратили столько патронов, чтоб подстрелить двоих и взять в плен троих. Хватило бы двух патронов.

И потом... Недалеко Нейрабад. А в нем шахские жандармы...

Никто да не встретится с гневом падишаха...

Он старательно вел маленький караван кружным путем. Буря усиливалась.

Глава III

Родственники даже если грызут друг друга, чужому и голую кость не кинут.

Ша-Мансур

Зрелище могло поразить кого угодно. Среди иранской пустыни происходило нечто неправдоподобное. Два грузных пожилых человека в штатском чеканным, гусиным шагом шли по солончаку точно на военном плацу.

На положенном по уставу расстоянии Леверкюн и плотный с гитлеровскими усами генерал выбросили руку жестом римского центуриона и выкрикнули: «Хайль Гитлер!»

Чеканя шаг ногами, обутыми в белые от соли сапоги, Крейзе нехотя чуть приподнял руку, не выше уровня войлочной кашкайской шапочки, и нехотя бросил «хайль!»

Они остановились и пожали друг другу руки. Генерал и Леверкюн страдали от жары. По пунцовым набрякшим лицам из-под авиационных шлемов струился пот. Так и казалось, что тяжелая толстая кожа комбинезонов их испускает пар. Буря стихла так же неожиданно, как и пришла. Лишь на севере громоздились тучи.

Белизна соли резала глаза, даже защищенные дымчатыми стеклами очков-консервов. На краю солончака топтались разморенные непривычной жарой парашютисты в тяжелых кожаных комбинезонах. Правее толпились спешившиеся кашкайцы, держа под уздцы коней, гривы которых трепал сухой горячий ветер пустыни.

На земле сидел со связанными руками Зуфар.

Леверкюн плохо переносил климат Иранского плоскогорья. Он изнывал от жары, но держался изо всех сил. Он не позволит себе распускаться. Вытянувшись, Леверкюн сказал:

— Господин полковник!

Он подчеркнул слово «полковник». Его восклицание могло означать что угодно. Замечание за то, что Крейзе не назвал в своем приветствии фюрера. Выговор за то, что Крейзе заставил ждать, за то, что Крейзе опоздал со своими кашкайскими всадниками, и он, Леверкюн, испытал все волнения и неудобства кратковременного плена. Наконец оказалось желание подчеркнуть, что Крейзе всего лишь полковник, а Леверкюн достиг высшего генеральского чина.

— Дорогой Пауль,— сказал сдержанно Крейзе,— здесь пустыня. Мы все здесь жители пустыни, обыкновенные кочевники. Здесь нет чинов и званий.

— Здесь мы служим нашему фюреру и остаемся прежде всего офицерами рейха!..— воскликнул усатый.

— Да, да! Именно,— подхватил Леверкюн. Он говорил напряженным хриплым голосом. Он давился от жажды. Он был полон высокомерия и спеси.

— Ближе к делу, Пауль,— небрежно сказал Крейзе генералу.— От жары мы растаем. Прошу следовать за мной.

Крейзе повернулся и пошел, ломая хрусткую соляную корку, к кашкайцам. Он даже не посмотрел, что делает Леверкюн.

Когда Крейзе встретился впервые очень давно, в годы первой империалистической войны, в лагере военнопленных под Самаркандом с Леверкюном, того звали Мейде, Пауль Мейде. Бегство из лагеря, тяготы дороги через пустыню объединили их

узами дружбы. Но в середине тридцатых годов пути разошлись. Леверкюн сделал головокружительную карьеру в Берлине. Крейзе остался на Востоке.

Молодого лейтенанта Пауля Леверкюна еще за школьной партией осенила мысль: «Залогом прочного союза Германии с Турцией служит сходство характеров немцев и турок».

Леверкюн не был невеждой. Он понимал, что между немцами и турками больше различий, нежели общих черт. Но путь на Восток лежал через Турцию. Без Турции план четыре «Б» — Берлин — Басра — Багдад — Бизантиум — обойтись не мог. «Открытие» Леверкюна пришлось очень кстати.

Владея публицистическим стилем, молодой Леверкюн свои исторические экскурсы писал грамотно. Он рисковал находить общие корни происхождения турок и готов, кочевавших в начале нашей эры бок о бок в степях Азии и Европы.

Дальше—больше. Германия издавна покровительствует мусульманам. Турки — мусульмане. Глава всех мусульман — турецкий халиф. Значит, Германия — друг и доброжелатель всех мусульман. От пантюркизма «теория» Леверкюна перебрасывала мостик к панисламизму.

Туманная, но полезная фантазия Леверкюна понравилась в генеральном штабе. И Леверкюн оказался в составе миссии барона Нидермайера и фон Хентинга, посланной к афганскому эмиру Хабибулле. Конечно, афганцы не турки — тут никакие леверкюновские теории как будто не подходили, — но жители Афганистана — последователи ислама. И все же склонить влестителя Афганистана выступить на стороне Германии против Антанты не удалось. Германской миссии пришлось вернуться восвояси.

Леверкюн с небольшой группой немецких офицеров остался в Кабуле. Их задачей было причинять как можно больше неприятностей России в Туркестане. Леверкюн проник в Бухару и Самарканд, но попался русской полиции. Ему удалось выдать себя за пленного немецкого офицера Мейде. Тогда-то Крейзе и помог бежать ему в Афганистан.

Отличное образование, истинный немецкий дух, знание Востока, быстрое усвоение некоторых методов, собственных азиатским феодалам, позволили молодому способному, лишенному предрассудков офицеру быстро выдвинуться.

В черные годы поражения и упадка германской военщины Леверкюн-Мейде частным лицом странствует по Востоку, долго живет в Соединенных Штатах.

Имя Леверкюна всплывает в Берлине в тридцатых годах. Его «теория» о сходстве немцев и турок привела в восторг Гитлера. От личной встречи с Леверкюном он получил полное удовлетворение: «Всякий либерализм считает тухлятиной. Смекалка поразительная. Выдержка! Жестокость. То, что нужно». И Ле-

веркюна назначают начальником секретной школы в Ладенбурге и одновременно руководителем курсов контрразведчиков в Гамбурге, где выдуплялись диковинные птенчики, которые, быстро оперившись, улетали стаями в страны Среднего Востока. Учителя и танцовщицы; гувернантки и коммивояжеры; библиотекари и христианские миссионеры; портнихи и техники; метрдотели международных гостиниц и агенты авиационной компании «Юнкерс»; машинистки и коммерсанты, военные инструкторы и просто очаровательные блондинки — все они предназначались для насаждения немецкой культуры и фашистского духа в Иране, Египте, Турции, Афганистане. Воспитанницы Ладенбурга и Гамбурга с чехословацкими, венгерскими, швейцарскими и австрийскими паспортами устраивались гувернантками в дома влиятельных турок, персов, арабов. Выученики Ладенбурга и Гамбурга возглавили учебные кафедры в университетах и военных лицеях Стамбула, Каира, Тегерана, Багдада. Во многих вновь открытых библиотеках, читальнях висели портреты Гитлера. В государственном аппарате Турции, Ирана звучала немецкая речь. Оказалось, что без немецких специалистов не могут обойтись многие министерства и учреждения. Немецкие артиллеристы обучали стрелять местные кадры из семи с половиной миллиметровых зенитных орудий, которые поставлялись в большом количестве заводами Круппа. Сотни тысяч снарядов поступали на склады, обслуживаемые немецким персоналом.

«Теория» о сходстве душ и характеров германцев и турок с легкой руки Леверкюна вползает на страницы газет и журналов, в проповеди имамов с высоты минбаров мечетей, в лекции профессоров, в произведениях писателей. Через «Дейтче нахрихтенбюро» и его руководителя Леверкюн, знавший турецкий и персидский языки, устанавливает дружеские и творческие связи с редакциями восточных газет и журналов. Он не гонится за известностью. Едва ли он помнит все свои псевдонимы под статьями и фелетонами, в которых под личиной пантюркизма и панисламизма он прославляет германскую политику на Среднем Востоке.

Леверкюн вспоминает и об Афганистане, не слишком гостеприимно встретившем его в прошлом, и создает «Германо-Афганское общество для разведки и эксплуатации недр». В Кабул направляются специалисты-геологоразведчики. Директором кабульского реального училища назначается офицер Штрук. За ним появляются спортивные инструкторы, научные работники, туристы. Оборудуется воздушная линия Берлин — Тегеран — Кабул. Приезжают сотни коммерсантов. У Афганского правительства вызывает озабоченность, что в соседние северо-западные провинции Индии начинает поступать оружие именно через афганскую территорию. Лично Леверкюн приезжает в Кабул

только раз, да и то затем, чтобы присутствовать при открытии местной группы фашистской партии, в которую вошли проживающие в Афганистане немцы.

«Войну выиграет сторона, которая поставит у себя лучше информацию». Генерал Верлимонт отправляет Леверкюна на Средний Восток. Леверкюн едет с самыми невинными целями. Речь идет об установлении культурных и торговых связей с родственным по духу народом.

— Надеюсь, вы запомните слова Рудольфа Гесса, главного организатора и руководителя «Штаба связи» нашей партии, личного друга фюрера: «Каждый может быть шпионом. Каждый должен быть шпионом. Нет тайны, которой нельзя было бы узнать».

Леверкюн неосторожно морщится. Он не любит слова «шпион». Он предпочитает культурный термин «разведчик».

Леверкюн брезглив. Слишком много ему приходится иметь дела с моральной голью, человеческими отбросами.

Леверкюна заставляют работать с полной отдачей сил. Но его третируют. Долго ему приходится сидеть в пустом неотапливаемом громадном здании бывшего германского посольства в Стамбуле. Ему не дали даже машинистки, и он сам одним пальцем отстукивает списки агентуры. Ему помогло то, что он обнаружил богатейшие досье, подготовленные за многие годы его другом Гельмутом фон Крейзе, который широко привлекал эмигрантов австрийцев, политических турецких деятелей, шейхов мусульманских сект, дервишей, людей, ненавидящих англичан.

Сеть агентуры была составлена удачно, и Леверкюн производится в первый генеральский чин.

Тем не менее ему была уготована в Тегеране довольно второстепенная роль советника при докторе Максе фон Оппенгейме, известном археологе, знатоке Афганистана. Леверкюн болезненно переживал свое положение. Кто не знал, что нацист Оппенгейм еврей. Это заставило Леверкюна попроситься в Кабул к германскому резиденту фон Гроббе руководить агентурой от Туркестана до Персидского залива.

Но и здесь Леверкюну не повезло. Германская разведка действовала прямолинейно. Возможно, сказывалось соперничество между различными ведомствами, занимавшимися тотальным шпионажем. Трудно работать, имея чуть ли не десяток хозяев. А ведь свою агентуру имели и военное министерство, и «Организация немцев, живущих за границей», и иностранный отдел гестапо, и внешнеполитический отдел фашистской партии, и спецслужба Министерства иностранных дел, и иностранный отдел Министерства пропаганды, и иностранный отдел Министерства народного хозяйства и, наконец, имперское Колониальное управление. Разведывательная агентура путалась, мешала друг

другу. Не спасло положения золото, которое разбрасывали пригоршнями Оппенгейм, Гроббе и другие. На Востоке даже с деньгами трудно купить жизнь и смерть. Провалы следовали один за другим.

В полуторастах километрах от Кабула афганцы задержали агентов Эриндорфа и Брандта с пулеметами и деньгами. Эриндорф погиб при странных обстоятельствах. Брандт был смертельно ранен. Разразился скандал, и Германскую дипломатическую миссию во главе с фон Гроббе выслали из Афганистана. В то самое время английская разведка арестовала в Египте триста шпионов, в Иране — двести, в Сирии — полтораста. Произошел полный разгром.

Как это ни удивительно, Леверкюн уцелел. Никто не смог доказать его причастность к смерти Эриндорфа и Брандта. А если бы и доказали? В дипломатии ценят разумную жестокость, а Леверкюн обладал талантом дипломата. Он отлично ползал по извилинам чужой мысли, особенно мысли вышестоящих.

Снова вспомнили о приверженности Леверкюна к турецкому. Нашли его доклады и сводки по Среднему Востоку. Восхитились агентурной сетью, созданной им в предвоенные годы. Предусмотрительно Леверкюн затушевывал огромную роль Крейзе во всем этом деле.

Получив новый чин и высокий орден, Леверкюн отбыл в Анкару. Ему поручили готовить Кавказско-Туркестанский вопрос, выполнить задание Гитлера: во-первых, сначала овладеть, во-вторых, управлять, в-третьих, эксплуатировать. Кавказ не вызывал особых хлопот. Гитлер объявил Кавказ имперской областью. Все местное население было решено убрать, а на его место поселить немецких колонистов. Бакинская область, то есть советский Азербайджан, превращался в немецкую концессию с военными немецкими колониями. Азербайджанцам предстоял удел рабов и батраков.

Сложнее обстояло с Туркестаном. Леверкюн опирался лишь на пантюркистские и панисламистские элементы, нашедшие после революции прибежище в Турции и тянувшиеся к фашизму. Их кредо: мобилизация арсенала лжи и клеветы, поход против марксистско-ленинского мировоззрения, отрицание классовой борьбы у тюркских народов, отрицание диктатуры пролетариата, отрицание роли рабочего класса.

Леверкюна это устраивало. Немцы, наводнявшие в то время Турцию, открыто объединялись в фашистские «ферейны», имели собственные клубы, школы. Выходила своя газета «Тюркише пост» на немецком языке, провозглашавшая принадлежность ту-рок и тюрок к арийской расе. Газета «Джумхуриет» превратилась в рупор фашизма. Леверкюн вербовал агентуру среди министров, банкиров, коммерсантов, владельцев меняльных контор. Он держал армию так называемых «пожетонников». Их по-

сылали устраивать панику на бирже, сбивать цены на экспортные фрукты, избивать демократов и интеллигентов. После выполнения «задания» они предъявляли жетон и получали плату. Среди пожетонников немало было обнищавших на чужбине туркестанских эмигрантов. Леверкюн подкармливал их и готовил, по его выражению, к великим делам.

Но больше всего он опекал тех, кого называл, конечно не во всеуслышание, «гиенами». «У них,— говорил он,— сердце в шерсти, мозги в шерсти. Они из средневековья. Их взгляды баснословны своей дремучестью. Но они подходят!»

Леверкюн предоставил либералам, интеллигентам типа Чокая мямлить и сочинять разные многословные декларации о великой Туркестанской республике под эгидой Гитлера-Гейдара, защитника и покровителя мусульманских народов.

В основном Леверкюн действовал с помощью людей практического ума. Решительная, опытная, несмотря на молодость, не брезгующая никакими средствами Сефиеет оказалась незаменимым помощником. «Наши цели, наши задачи не позволяют нам быть принципиальными,— говорил он на тайных сборищах, о которых не знал даже глава Трабезонского правительства Чокай.— Мораль, идеи мы отложим. Первым пунктом нашей программы явится кровопускание. Да-да, обильное кровопускание. Как это у вас в коране пророк Мухаммед призывал: «Когда встретите неверных — убивайте их. Совершите большую резню!» К «неверным» Леверкюн относил всех коммунистов, советских работников, профсоюзных деятелей, комсомольцев, учителей, преподавателей высших учебных заведений, сельских активистов, руководителей колхозов, деятельниц женского движения. Он не скрывал, что речь идет о сотнях тысяч, может быть, миллионе жизней. Он посмеивался, разговаривая с Сефиеет: «Ваш бухарский эмир был прав, когда говорил: «У меня подданных много. Сотней тысяч больше, сотней тысяч меньше,— не беда». На Востоке высшее достоинство мужчины — жестокость, женщины — плодovitость. Узбекки много рожают. Быстро пополняют нехватку». Вся секретная программа деятельности новых правителей Туркестана была преподана турчанке в том же духе: «Кровопускание, террор; ликвидация ростков демократических свобод; истребление евреев; уничтожение всех нетюрок; фашистская диктатура, никаких парламентов; ислам — обязательная религия, священная война против всех христиан, кроме немцев и их союзников; частная собственность и инициатива; раздел колхозных и совхозных земель между помещиками, промышленные предприятия — частным компаниям; медь, вольфрам, никель, уран и прочие ископаемые — в собственность германским концессиям».

Во главе Туркестана встанет рейхскомиссар, назначенный самим Гитлером из крупных деятелей фашистского рейха. С лег-

кой улыбочкой Леверкюн добавлял: «Я понимаю: вопросы престижа, честолюбия. Министерские портфели — заманчивая вещь. Но при рейхскомиссаре понадобятся знающие советники. Почему бы им не дать старинные тюркские названия, вроде удайчи — адъютанта, например, или шикавула — секретаря, мухрдора — хранителя печати, миргазаба — начальника гнева, то есть охраны, тугдора — знаменосца. И громко, и звучно, и по-турецки».

Спорить с Леверкюном Сефиет и не собиралась. Она знала, что ненависть ослепила трабезонских министров. Они на все соглашались: лишь бы дорваться до пирога, который им готовил Гитлер. Мысль о сладкой жизни обуздывала недовольных. Да их никто и не спрашивал: жили они, разбросанные в городах Хорасана, бездельничали, проживали деньги, полученные в Трабезоне.

Да и сам Чокай не создавал никаких иллюзий. Еще в «Пансионе Сьюисс» в минуту откровенности он говорил: «Вопросы престижа? Сейчас не до них. Луна очень высоко. Много изменится, когда она спустится. А кровь? Мне кровопролитие претит. Но, увы, мы азиаты. Те, кто отравлен отвратительным марксизмом, неизлечимы. А больной член надо отсечь, чтобы он не заразил все тело».

Чокай сам не приехал ни в Исфаган, ни в Мешхед. Он предоставил действовать Сефиет.

Словом, Леверкюн обуздал всех. Даже особенно недовольных. Его жесткую руку оценили в Берлине по достоинству. Трабезонское правительство одобрили. Разъяснили в секретном письме на имя фон Папена: «Операцию под условным шифром «Трабезон» утвердить. Приступить к осуществлению. Руководство возложить на...»

Дальше следовала фамилия, под которой надлежало действовать Леверкюну. Отныне он снова исчезал с официальной арены. Надолго? Он сам не знал. Действовал Леверкюн умело. Достаточно сказать, что во время пребывания в Трабезоне его никто ни разу не видел в «Пансионе Сьюисс».

Новое назначение весьма льстило его самолюбию. В перспективе он видел себя правителем Туркестана — огромной провинции германского рейха. Его воображению рисовались экзотические картины восточного рая. Он мог быть удовлетворен: фантастическая теория об общности германской и турецкой раса дала свои плоды.

Самолюбие Леверкюна получило полное удовлетворение. Операция «Трабезон» была щелчком по носу адмиралу Канарису и генералу Велимонту, считавшим его бесплодным мечтателем. Они возились с туркестанским националистом Вели Каюмханом, объявили его главой несуществующего Туркестанского правительства, собирались определить в обоз гитлеровских ар-

мий, вторгающихся в Сибирь и Среднюю Азию, и вести за собой, как водят верблюда за веревку, продетую в нос.

Нет, не подневольным, жалким верблюдом явится в Ташкент правительство «Трабезон». С зеленым знаменем пророка, огнем и мечом явится оно на землю своих предков. А поведет завоевателей на белом коне глава Туркестана генерал германского рейха Леверкюн.

А Крейзе? Леверкюн забыл о полковнике Крейзе. О том самом своем друге и учителе, который создал его, Леверкюна; о том Крейзе, который воздвиг на Среднем Востоке здание могущественной империи политических интриг, разведки, шпионажа, экономических интересов, военных заговоров, путчей; о том самом Крейзе, без огромного опыта и знаний которого Леверкюн не смог бы создать и сотой части своей агентуры, а тем более подготовить операцию «Трабезон». И вспомнил о нем лишь сегодня, когда Крейзе с кашкайскими всадниками отбил Леверкюна и его спутников у Зуфара. Леверкюн сразу узнал Крейзе, несмотря на его кашкайское одеяние.

Какую же роль отвести старому желчному полковнику?

Полковник Крейзе сам виноват. Он дал себя затереть, не поняв, что германский рейх — суетный мир, что у фашистов нет идеалов, что игра в патриотизм, фатерлянд, рыцарское самопожертвование ради родины — ничего не стоит. Где ослу знать цену сладостей... Мысли, воспоминания увели Леверкюна в сторону. Он забыл, где он и что должен делать. Он машинально смотрел, как тяжело шагает впереди по ломкой соляной корке полковник Крейзе, как сутулится его спина, как тяжело взбирается он на лошадь...

Они долго и нудно ехали на конях по пустыне. Солнце палило. Дышать становилось все труднее. Леверкюн думал о Крейзе.

«Ну, а если он все-таки вздумает вмешиваться? У него репутация хлопотного, навязчивого и очень настырного человека. Пусть попробует. Пусть осмелится замахнуться кузнечик лапкой на льва!»

Гельмут фон Крейзе держался строго и молчаливо. Весь долгий путь до Нейрабада он молчал, объявив Леверкюну, что опасность еще не устранена, что в пустыне действуют вражеские племена. А в самом Нейрабаде уже было не до разговоров. Их ждали...

У глиняных хижин стояли большие трехосные автомобили «Рено Сахара». Толпа немцев с винтовками, автоматами приветствовала появление шефов и парашютистов возгласом «хайль!». Связанного Зуфара стащили с осла и бросили около стены. Он с трудом смог сесть и оглядеться, Тело у него болело, но ранен он не был.

Лишь кошки да собаки идут туда,
куда их не зовут.

Курдская пословица

Раскачивается, гнется и выдерживает самую сильную бурю!..

Рахимдад

Скрутили Зуфара так, что он не мог шевельнуться. Полицейские стянули ему руки и ноги сыromятными ремнями и бросили на заднее сидение большого трехосного автомобиля «Рено Сахара». Рядом швырнули темнолицего туркмена. Если бы Зуфар мог удивляться, он бы удивился. В туркмене он узнал того самого высокомерного Имана Кули, которого застал однажды у Кербелаи в Исфаганском подворье и с которым фон Крейзе объяснялся по-немецки. Иман Кули тоже был связан и бился на полу машины, пытаясь безуспешно попасть головой в тут же валявшуюся белую папаху и насунуть ее себе на бритое темя. Он кричал, что так с проводниками не поступают, проводники в пустыне стоят выше шаха. Но, по-видимому, самые живописные проклятия его пропадали зря. Кто понимал здесь по-туркменски? Над бортом машины показалась голова полковника Крейзе в тропическом шлеме.

— Я есть германский офицер, — сказал по-персидски сухо Крейзе. — Вы, персидские собаки, слушайте меня! Вы есть проводники. Вы обязаны показать дорогу от Нейрабада до Гармсира. Доедем хорошо — сделаетесь крезами. Не доедем — получите пулю. Итак, в путь.

Зуфар не шевельнулся, когда его грубо сунули неподвижным кулем в машину. Он и сейчас лежал на сидении неподвижно и мрачно смотрел мимо Крейзе на стену караван-сарая, глинобитную, отполированную ветрами и песчинками до глянца мрамора. Он не злился на немцев. Он был зол на себя. Его, человека пустыни, провела за нос, обманула пустыня. Песчаная буря сбила с пути отца учителя и завела в Нейрабад. А он ведь знал, что в Нейрабаде начальником жандармов Зал Зиаэтдин, известный своими профашистскими взглядами.

Одно успел Зуфар. Узнав Нейрабад издали, он приказал отцу учителя вместе с кухгелуйе уходить в пески, а сам повел ослов с притороченными парашютистами в обход селения. Он плохо представлял, что сделает дальше. У него теплилась надежда найти или грузовик Кузьмича, или конный отряд Музаффара, но не проплутал он среди песчаных барханов и получаса, как его настигли и схватили. Беспомощный, он наблюдал, как выслушивается капитан Зал Зиаэтдин перед немцами, беспокоится об их удобствах. Зуфару же достался глоток соленой воды и корка хлеба. Он мог ждать самого худшего.

На этот раз выручила Зуфара... Сефие. За два дня до высадки парашютистов турчанка вызвала его к себе и предупредила, что он назначается в помощь барону Тенти дю Кастанье, организатору туристской экспедиции на машинах «Рено Сахара». Оказывается, страстный путешественник барон давно вынашивает идею — совершить через Большую соляную пустыню рекордный автомобильный пробег. Предполагалось опробовать в рекламных целях новую марку автомашин. Со слов Зуфара турчанка знала, что он десять лет назад дважды прошел через Дэшт-и-Кевир пешком из конца в конец. С такими проводниками барону Тенти ничего не стоило на мощных трехосных машинах «Рено Сахара» проскочить триста километров по ровной глади пустыни и приехать прямо в Тегеран. Зуфара ждали почести и немалые материальные выгоды... Фон Крейзе был взбешен. Его парашютистов встретили стрельбой из автоматических винтовок. И кто? Тот самый Зуфар, которого Сефие назвала человеком, преданным их делу. Счастье, что в Нейрабаде полиция была подготовлена. Счастье, что барон Тенти был тоже наготове со своими «туристами» и автомобилями «Рено Сахара». Высокопоставленный парашютист генерал Леверкюн отделался легким испугом и неудобствами. Он в какой-то мере удовлетворился объяснениями полковника Крейзе. Ничего не поделать: в Азии все возможно.

Полковник Крейзе заподозрил, что стрельба в пустыне вызвана не недоразумением или случайностью. Он не заблуждался в истинных мотивах, которые руководили поступками Зуфара. Полковник Крейзе знал приключения Зуфара в кашкайских кочевьях.

Немцы могли — так они были уверены — совершить переезд через Дэшт-и-Кевир, пользуясь географической картой, и не брать с собой проводников. Но года три тому назад два немецких путешественника самонадеянно пытались пересечь на автомашине пустыню Дэшт-и-Кевир по тому же почти маршруту. Они не взяли с собой никого из местных жителей и заблудились. Вскоре у них иссякли запасы бензина. Автомобиль исчез. Скелеты путников, обглоданные шакалами и гиенами, нашли пастухи на самом краю пустыни в ста шагах от источника. Последняя запись в найденном при погибших дневнике состояла из слов: «Воды! Найти воды».

Пришлось полковнику Крейзе взять Зуфара. Искать другого проводника не оставалось времени. Леверкюн объявил, что они во что бы то ни стало должны быть в Тегеране в срок. Все другие пути в Тегеран закрыты. Надо ехать через пустыню и быстро ехать.

Очень неохотно согласился на эту поездку Крейзе. Если бы не приказ берлинских хозяев, переданный по радио! Но приказ требовал, и пришлось подчиниться. Имана Кули нашел сам

Крейзе. Он не стал пускаться в объяснения, где он нашел туркмена эмигранта.

По-видимому, Крейзе не верил не только Зуфару, но и Иману Кули. Почему бы ему понадобилось спеленать их точно мумии?

— Вот что, друзья,— сказал он,— все восточные люди лгуны и мошенники. К тому же лентяи. Завтра мы должны быть в Гармсире. В ваших интересах, чтобы мы завтра прибыли в Гармсир. В Гармсире я распоряжусь снять с вас ремни, а сейчас прикажу затянуть их потуже. Чертовски неприятно, когда ремни врезаются в тело. Чего хнычет туземец?

Вопрос относился к Иману Кули, который от натуги весь побагровел. Из рта его вместе с проклятиями вылетали клочья пены.

— Он просит надеть ему на голову его белую папаху. Иман Кули из белой кости. Без белой папахи ему позор. Без белой папахи он не поведет вас через пустыню.

— Что? Он сам может сказать. Он же говорит по-немецки.

— Он поклялся, что не произнесет ни одного слова по-немецки.

— Эй, шофер Шульд, натяните шапку на голову азиата. И поехали.

Автомобили, сопровождаемые лаем собак и визгом сотен ребятишек, вылетели из узких улочек Нейрабада. Многие дворы селения лежали в развалинах. Через глинобитные осевшие, растрескавшиеся дувалы местами перехлестнулись языки песка. Жилища, слепленные из глины, тонули в свеженаметанных барханах. Едва высовывались над морем песка их полушаровидные крыши. Два жандарма шахиншахского правительства сделали под козырек и исчезли. Минут десять старался не отстать от автомобилей скакавший во весь опор капитан Зал Зиаэтдин в полной парадной форме, в суконном мундире с аскельбантами.

Ни жандармов, ни офицера ничуть не беспокоило, что группа вооруженных гитлеровцев свободно разъезжает по Ирану. Ничуть их не удивило, что немцы грубо связали Зуфара и Имана Гельды на их глазах и бросили в автомобиль.

Когда офицер отстал и скрылся в туче пыли, Зуфар сказал мрачно:

— Вы думаете, что мы видим отсюда дорогу?

— Лежать!— прикрикнул Дорман.— Свинячие собаки!

— Вы болван, Дорман,— сказал насколько мог равнодушно Зуфар.— Мусульмане — а мы мусульмане — не переносят, когда их обзывают свиньей. Мы вам не покажем дорогу.

— Мы выколотим из вас ровное шоссе, а не паршивую тропу, именуемую дорогой!— заорал Дорман.

Но Крейзе осадил его:

— Прекрати, Дорман. Ты не в своем Пфальце. Ты в коварной безводной пустыне Дэшт-и-Кевир, через которую еще не проезжал ни один автомобиль.

Но Крейзе не приказал посадить проводников поудобнее. Видимо, эта часть дороги у него не вызвала сомнений. Он вел автомобиль по карте.

Ужасно неприятно, когда ты, беспомощный, испытывающий невыносимые мучения от врезавшихся в тело ремней, мотаешься на ухабах, стучаешься головой о крышу, наползаешь на бешено мечущегося на сидении соседа. Но Зуфар сразу же подумал, что самонадеянность дорого обойдется Крейзе. Во всяком случае он, Зуфар, найдет способ использовать эту ошибку немца.

Невероятным усилием Иман Кули, судорожно извиваясь, вполз на сидение и зашел: «Строим ханскую крепость из черепов, гложем от причитаний сирот и вдов».

— Что с ним?!— заорал Дорман.— Молчать!

Высвободив рот из кожаной подушки, куда толчок на ухабе втиснул его лицо, Зуфар проворчал:

— Он ждет, когда вы ему развяжете руки. Он намерен надеть из ваших черепов, из фашистских черепов, крепостей и насладиться воплями и стонами ваших баб. Плохо ваше дело!

— Почему плохо?

— Потому что еще никто не проехал по пустыне Дэшт-и-Кевир на подобной тарахтелке.

Но машины мчались и мчались. Шофера жали на педали вовсю. Машины везли больших господ. Шофера выполняли приказ. Они были солдатами гитлеровского вермахта, а там присяга коротка и ясна: «Клянусь беспрекословно выполнять приказы фюрера и начальников, назначенных фюрером».

Полковник Крейзе ехал на первом автомобиле, показывая путь по карте. Карта составлена была по материалам аэро съемки, утверждена в Германском генеральном штабе и не подлежала сомнению. Вперед по карте!

На втором сидении молча сидели два человека в штатском, но с автоматами. Глаза их были скрыты темными стеклами очков, пробковые шлемы надвинуты низко. Один с толстыми щеками, усами щеточкой, с сочными воспаленными от ветра и соли губами. Даже Крейзе почтителен с ним. Обращается к нему не иначе, как титулуя эксцеленц. Всесильный полковник Крейзе! Значит, немец в шлеме и темных очках не маленький человек. Второй — генерал Леверкюн. Он командует, но почтителен с эксцеленцем. Невзирая на ухабы и рытвины, Крейзе спешит. Значит, надо спешить. Приказ фюрера. Шульд выживает все из прекрасного, приспособленного для пустыни автомобиля «Рено Сахара». От Нейрабада до оазиса Гармсира всего триста километров. Скорость сто километров в час. Корка

глины с солью тверда, почти цемент. Через три-четыре часа они будут у цели.

Заговорил эксцеленц в шлеме и в темных очках. Его Зуфар вез на осле. Щеточка усов зашевелилась, и голос вырвался из горла:

— Прекрасная скорость! Машины не отстают?

Он даже не потрудился повернуть шею и посмотреть назад. «Большой начальник»,— подумал Зуфар, у которого от боли ярость слепила глаза.

Крейзе быстро сказал:

— Идут прекрасно. Держат дистанцию.

Снова загудел усатый:

— Поразительно! Как могли заблудиться те двое?

— Вы говорите о двух географах, трагически погибших?— уточнил Крейзе.

— Я имею в виду тех двух простофиль, которые умудрились потеряться и сделали глупость помереть от жажды. Они у вас служили, полковник?

— Да, эксцеленц. Они выполняли приказ.

— Плохо выполняли,— подхватил Леверкюн.— Погибли без пользы.

Крейзе пробормотал что-то неразборчивое.

Машина мчалась по ровной соляной пустыне. Шофер точно держал курс по указаниям сидевшего рядом с ним Крейзе. Но маленькие препятствия, невысокие соляные бугорки, впадинки с черной грязью под коркой кристаллической соли, песчаные наплывы заставляли шофера понемногу уклоняться от заданного направления. Солнце поднялось к зениту и превратилось в желтый раскаленный шар. Дымка, серая, мрачная, наплывала на соляные просторы и сглотнула далекие красноватые холмы, служившие ориентиром.

Колеса бешено вертелись. Корочка соли громко хрустела. Мелькали кустики солянки, еще реже древовидные галоксилонь, пучки иссохших трав.

— Надеюсь, полковник, мы проехали половину пути?— сказал хрипло усатый.

— Никак нет, эксцеленц,— отрезал Крейзе. Он уткнулся в карту, и Зуфар видел его красные оттопыренные уши и шею, покрытую перекрещивающимися морщинами и большими веснушками.

Наконец Зуфару удалось выбраться со дна автомобиля и пристроиться на сидении. Он видел не только уши и шею Крейзе. Он видел обливающиеся потом багровые, двойные затылки генерала и его спутника. Он видел и совсем сникшего, разваренного, с багровым лицом и выпученными глазами Дормана. Дорман непрерывно прикладывался к бидону с пивом и, видимо, чувствовал себя неплохо.

Но Зуфар видел и еще кое-что: в лице туркмена — дикую радость. Подмигнув Зуфари, Иман Кули захохотал.

Автомашина все уклонялась из-за маленьких препятствий влево и влево. Шоферу Шульцу в нос били запахи раскаленного лака и бензина. Шульц изнывал от жажды и зависти к Дорману, который перекачивал из бидона себе в глотку литры холодного пива. У шофера двоилось в глазах от пламени в орту, в груди, в голове, но он не смел попросить глотка пива. В автомобиле сидели высшие офицеры. Им надлежит знать, когда шоферу следует промочить горло. И шофер безвольно, чтобы ухабы не вытряхивали ему душу, объезжал и объезжал маленькие препятствия. Шофер верил, что вот через сто метров он опять выправит курс и поведет машину в точном соответствии с указаниями господина полковника.

Теперь, когда Зуфар полулежал, прислонившись к горячей, пышущей жаром дверке автомобиля, он мог осмотреться. Караван «Рено Сахар» ехал не на северо-восток, как надлежало, а на север и даже северо-запад. Объезды незначительных препятствий, духота и злость шофера на Дормана сказались. Караван сбился с пути. «Рено Сахары» мчались еще на полной скорости, но в очень неприятное место. И Зуфар знал это. Ясно, что хитрый гордый Иман Кули тоже знал, но молчал.

— Смотрите!— вдруг оживился усатый.

В облаке пыли почти наперерез мчался не то осел, не то конь.

— Кулан!— оторвался от карты Крейзе.— Дикий осел!

— Шульц, поворачивайте!— приказал Леверкюн.

Автомашина ринулась за куланом. Усатый открыл огонь. Он приказал затормозить, прыгнул на соль и с колена посыпал пулю за пулей. Потом началась гонка по пустыне. Но кулан ушел, а на смену появилось стадо джейранов. Но и джейраны не попадались на мушку, и Леверкюн приказал гнаться за ними во что бы то ни стало. Леверкюн, очевидно, хотел сделать приятное усатому эксцеленцу.

Погода исподтишка менялась. Желтоватая дымка, стоявшая в зените, спустилась, легла на соль, и автомашина словно окунулась в желтую вату.

Пришлось оставить диких ослов и джейранов в покое. Снова Крейзе уткнулся в карту. Теперь пришлось вести караван по компасу.

Отдуваясь, усатый говорил:

— Духота, трудно стрелять. Сколько дичи! Закончим дела, обязательно приеду пострелять. Какие трофеи! Рейхсмаршал позавидует.

— Угу-м!— проворчал Леверкюн.— Ужасно пить хочется. Жаль, пиво кончилось.

— А вот и вода! Что я говорил!

Что говорил господин усатый, неизвестно, но «Рено Сахара» с визгом тормозов застопорила на камнях, окаймляющих большое озеро темной, но чистой воды.

— Шульц,— распорядился Леверкюн,— потрудитесь взять мою кружечку. Будьте любезны, зачерпните мне воды, симпатичной холодной воды. Да сполосните кружку.

Все сидели не шевелясь, пока генералу несли воду. Огромный кадык шофера жалобно и угрожающе ходил взад и вперед. Крейзе мрачно изучал карту.

Ругательство, выкрикнутое усатым, показало, что вода не симпатичная и не холодная. От воды несло тухлыми яйцами. На вкус она была горько-соленой.

— Полковник,— сказал усатый,— вы знали, что вода непригодна для питья, и не сочли...

— Господин генерал, я не знал, что вода непригодна для питья.

— А ваша карта?

— На карте Германского генерального штаба лужа с горько-соленой водой, имеющей запах сероводорода, не показана.

— То есть?

— На дороге между Нейрабадом и Гармсиром такая лужа не значится.

— Где же она значится?

Тогда заговорил Зуфар. Он охрип, и казалось, что голос его звучит язвительно. На самом деле ему нетерпелось сказать неприятное.

— Здесь, у соленой воды, нашли кости двух немцев. Здесь много шакалов.

— Проклятие!— сказал усатый.— Шакалы не могут пить подобную соленую жижу. Ни одно живое существо не может проглотить и глоток подобной гадости.

— Шакалы не пьют здесь.

— Где же они лакают воду, ваши шакалы?

— Из арыка в Нейрабаде.

— Чепуха,— проскрипел Крейзе.— До Нейрабада полтора километра. Мы проехали половину пути. Значит, мы проехали полтора километра.

Помолчав, Зуфар заметил:

— Мы проехали километров тридцать.

Затылок усатого потемнел и набряк.

— Господин полковник!— прохрипел он.

— Приходится сознаться, что мы кружим по пустыне, господин генерал.

— И когда мы попадем в Гармсир?

Крейзе не ответил. Выйдя из автомобиля, он попробовал радиатор и резко отдернул руку. Радиатор кипел.

Медленно подъехали две других «Рено Сахары». Шоферы

заправляли водой из бидонов радиаторы. Всем разрешили напиться. Зуфару и Иману Гельды дали по глотку теплой противной воды, отдающей маслом.

— Сейчас они будут спрашивать дорогу у нас,— сказал туркмену Зуфар.

Он понимал, что Крейзе нуждался в их помощи.

— Пусть подохнут! Дорогу не покажу.

— Но и ты погибнешь?— сказал Зуфар.

— Пусть!

Он запел про «крепость из черепов».

Но Крейзе попытался вывести «Рено Сахары» на дорогу сам.

Тучи пыли сгущались. Духота делалась невыносимой. У Зуфара руки, ноги одеревенели. В голове гудело. Перед глазами металась тень, перемежающиеся странными вспышками черного огня. Иман Кули замолк. Лишь временами, когда «Рено Сахара» проваливалась сквозь соль в жидкую грязь, он начинал бормотать.

Из горячего тумана возникли невысокие скалы, и дорога стала совсем плохой. «Рена Сахара» ухнула в рытвине и остановилась. Мотор заглох.

— В чем дело?!— закричал усатый.— Я не позволю! Господин полковник, принимайте меры. Вы обязаны доставить нас в Гармсир.

Он что-то выкрикивал, когда к Крейзе подошел шофер Шульц и тусклым голосом доложил:

— Господин полковник, ось полетела.

— Свинья!— заорал усатый.— Десять суток карцера. Дерьмо!

Леверкюн вышел и забегал около машины. Он проклинал «Рено Сахары», проклинал преподобного Далласа, подсунувшего эти автомобили, проклинал простофилю шофера. Вообще Леверкюн любил слово — «простофиля», и можно было ждать, что полковник Крейзе тоже попадет в разряд простофиль. Но полковник Крейзе, проходя мимо, бросил: «Вы действуете мне на нервы, мой генерал»,— и заглянул в «Рено Сахару». Он встретил взгляд Имана Кули, затем посмотрел на Зуфара. Осмотр, видимо, удовлетворил его. Как ни крепились Иман Кули и Зуфар, но взгляд у них был явно страдальческий.

— Вот и прекрасно,— сказал сухо Крейзе.— Сейчас договориться ничего не стоит. Вы знаете, что от нас ждать. Мы знаем, что вы нам дадите.

Узбек и туркмен молчали.

— Сейчас подойдут автомобили. Эту «Рено Сахару» придется оставить. В те две все не усядутся. Кое-кому придется остаться.

Он выдержал паузу. Он ждал вопросов, просьб.

— Кто пойдет, не вернется: достанется шакалам,— сказал Зуфар.

— Вы тоже попробуете шакальих зубов. Вижу по глазам, вам не нравится. Но что поделать? Генералов нам надо доставить. Приказ! Какого черта вы молчите?

Но Зуфар не ответил. Туркмен сквозь зубы затащил «Крепость из черепов».

С гулом, кряхтением на перевал поднялась «Рено Сахара», за ней — другая. Люди высыпали из них. Несколько человек в пробковых шлемах столпились около генерала. Все были изнурены жарой. Пошатываясь, мимо прошел на своих длинных ногах-циркулях барон Тенти дю Кастанье. Голова его трепыхалась на тощей жилистой шее, усы жалобно обвисли. Встретившись глазами с Зуфаром, он недоуменно поднял пожелтевшие от солнца и пыли брови и зашагал дальше. Навстречу ему, придерживая кобуру, шел усатый, за ним Леверкюн и Дорман. Один Крейзе остался на месте с презрительно поджатыми губами.

Барон что-то тихо говорил усатому. Тот равнодушно слушал. Остальные почтительно прикасались кончиками пальцев к краям своих пробковых шлемов.

Кирпично-красный диск солнца медленно спускался к краю зубчатых скал. От камней, от «Рено Сахар» потянулись длинные горячие тени.

— Ночной ветер «насим» подует,— проговорил, словно во сне, туркмен.— Совсем хорошо. Нутро горит.

Мимо зашагали барон с усатым. За ними вприпрыжку бежали остальные немцы. Оказывается, они выбирали площадку для того, чтобы построить весь персонал экспедиции.

Все подтянулись и на приветствие усатого довольно единодушно крикнули: «Хайль Гитлер!» Затем лающим голосом, явно подражая фюреру, заговорил Леверкюн. Он говорил о высоком долге перед фюрером, о необходимости беспрекословно выполнить приказ.

Высокие особы должны быть доставлены завтра в Гармсир. Во что бы то ни стало. От их прибытия в Гармсир зависит судьба любимого фюрера и гитлеровского рейха.

Через каждые два слова Леверкюн выкрикивал «во что бы то ни стало!» и «беспрекословно!»

Диск солнца принял кровавый оттенок и коснулся частокола пиков и скал, через которые предстояло перебраться экспедиции.

Крейзе, не участвовавший в митинге, наклонился к окошку машины и сказал:

— Ночью мы выезжаем. Вы поедете со мной.

Неторопливо он разрезал ремни на ногах и руках Зуфара и туркмена. Затем крикнул:

— Ефрейтор Лемке, ко мне.

От толпы митингующих отделился грузный немец и подбежал к Крейзе.

— Напоить, накормить. В случае попытки... пристрелить,— сказал полковник. Глядя на Зуфара, он добавил:— На войне как на войне, капитан.

Долго шевелил Зуфар ногами и руками, пока возобновилось кровообращение. Нестерпимая боль пронизала его расправляющееся тело, и он не слышал, что там выкрикивал Леверкюн.

Ночь наступила поспешно, по-южному. Ночь длинная, как тень пики, говорят кухгелуйе. Подул и изнуряющий ветер «насим». Спали на брезентах. Спали плохо после тяжелого ужина из кое-как разогретых на костре консервов. Иман Гельды совсем не прикоснулся к «пище врага», выпил лишь воды. Он упрекнул Зуфара: «У свиней свиное мясо. Берегись! Опоганишься». Но Зуфар поел плотно, зная, что нельзя терять силы. Зуфара беспокоили ноги. Боль в щиколотках от ремней не проходила. Вздохи, вскрики во сне мешали спать. Да тут еще пришли шакалы и напугали часовых. Часовые открыли пустую, но оглушительную пальбу и разбудили высокопоставленные лица. В темноте долго слышался вопль: «Простофили! Десять суток!» На рассвете опять всех разбудили выстрелы. Один ефрейтор был пойман с поличным. Не вынеся жгучего дуновения «насима», он всю ночь прикладывался к бидону с водой и вытянул его почти целиком.

По приказу Леверкюна провинившегося расстреляли у черной скалы на краю лагеря. В краткой речи, состоявшей в основном из слова «простофили», Леверкюн предупредил, что он собственноручно будет пристреливать всех нарушителей дисциплины.

Залп послужил сигналом к подъему. Зуфара поразили равнодушные стертые лица. Никто не взглянул даже в сторону скалы, где лежало что-то серое, раскорячившееся. Или ночная духота, или безумная жажда вызвали у всех полное оупение, безразличие.

Но тут все выяснилось. В дальнейший путь предстояло отправиться на двух машинах только господам генералам, старшим офицерам. Ехали господин барон, эксцеленц, Леверкюн. Их сопровождали шесть офицеров с автоматами и пулеметами. Комendanтом экспедиции назначался полковник Крейзе. Проводниками утверждались Зуфар и Иман Гельды. Карта теперь служила только для контроля за действиями проводников. Их предупредили, что малейшая попытка сбить экспедицию с правильного пути повлечет за собой расстрел.

Расстрел! Расстрел. Каждое свое распоряжение Леверкюн завершал словом «расстрел!» Устанавливался строжайший рацион воды для всех, независимо от положения и звания. Так решил Крейзе.

В сумраке приближающегося рассвета остающихся выстроили на краю тропы. Усатый с высоты «Рено Сахары» прокричал «хайль», и автомобили, пытая и стеною, поползли в гору, на перевал. Никто не взглянул на труп, раскинувший ноги и руки на щебенке у подножия черной скалы. Только Зуфар с удивлением узнал в расстрелянном ефрейтора Лемке. Того самого Лемке, которому было приказано стрелять в него и Имана Кули при малейшем подозрении. «Не точи нож на смертного — сам смертен», — расхохотался Иман Кули довольно-таки дико. Оказывается, он тоже смотрел на убитого. «Смотреть на убитых — набираться мужества».

Светало. Длинная беспокойная ночь, длинная, как тень пики, быстро отступала на запад со жгучим ветром «насим». Но прохладнее не сделалось.

Жестокий, решительный полковник фон Крейзе, почерневший за бессонную ночь, со смертной печатью на лице, ежеминутно выскакивал из «Рено Сахары» и командовал: «Все из машин!» Он подпирал плечом, толкал автомобиль на подъемах, подкладывал доски, переворачивал саперной лопаткой горы пышущей жаром щебенки. И все офицеры, обливаясь потом, падая от изнеможения, перекатывали каменные глыбы, поддерживали руками сваливающиеся с откоса машины. Лишь барон и генералы были освобождены от тяжелой работы под палящим солнцем. Караван пробивался сквозь горы и огненную печь. От духоты воздух сделался густым.

Вели караван теперь Зуфар и Иман Гельды. Вели добросовестно. Понятно было, что направление взято правильно, и понятно было уже, что автомобили попали в ловушку. Скалы тянулись нескончаемыми раскаленными цепями. Долины делались все глубже и глубже. Воздух дрожал и струился над щебнистыми пространствами. Вода давно уже кипела в радиаторах. А проехали не больше трех десятков километров.

Останавливались надолго. Давали остыть воде в радиаторах. Забирались под автомобили в клочок тени. Одежда загорячилась, порвалась. Грязные полосы покрывали лбы, щеки. Жажда мучила безумно. Воды оставалось в обрез.

В полдень Крейзе подошел к Зуфару:

— Есть где-нибудь вода? Ведите к воде.

— Есть, — ответил за Зуфара Иман Гельды, вдруг решивший заговорить по-немецки. — Есть река.

— Показывай дорогу!

— Надо ехать туда.

Иман Гельды показал рукой почти на восток, где синели низкие горы.

Крейзе пошел к первой «Рено Сахаре». Там, откинувшись бессильно на спинку, полулежал усатый. Рядом сидел прямой, сухой барон Кастанье. Леверкюн безжизненными глазами смотрел на расстилавшийся хаос черных скал.

— Вода кончается,— сухо сказал Крейзе.

— Расстрелять!— выдал из себя Леверкюн.

— Что вы предлагаете, полковник?— с трудом проговорил барон.

— Конечно, не расстреливать. Проводники — единственная наша надежда,— ответил Крейзе.

— Расстрелять,— повторил Леверкюн,— голова лопается!

— Проводники говорят о реке.

— В пустыне река? Да на карте есть тоже река, но она в стороне от главного направления.

— Мы не сможем сегодня добраться до Гармсира?— спросил устало барон. Он не изменил позы. Он сидел все так же прямо. Он задыхался.

— Нет.

— Приказ не будет выполнен.

— Сейчас приходится думать о жизни,— процедил Крейзе и показал на синие горы.— Километров тридцать — и воды сколько угодно.

— Едем,— заявил вдруг усатый.— А там я собственными руками пристукну этих проклятых туземцев.

Последние слова усатый прокричал и погрозил даже кулаком. Зуфар посмотрел на Имана Гельды. Тот снова запел о «крепости из черепов».

До синих гор добирались весь день. Одна из «Рено Сахар» не брала подъемы. Приходилось тянуть ее на буксире. Синие горы оказались совсем не синими. Обыкновенные бурые вершины теснились над бурой выжженной долиной.

Стон радости вырвался у немцев. Посреди долины текла река. Вода струилась и блестела. Лучи заходящего солнца играли зайчиками на ее поверхности.

Вода! Сколько угодно воды!

Но в долину надо было еще спуститься. Усатый громко объявил, что он успеет расстрелять проводников после спуска.

— Я не жестокий,— сказал он, повеселев.— Пусть утолят жажду.

Спуск отнял больше часа. На спуске они потеряли одну «Рено Сахару». Она перевернулась и свалилась с крутого склона на камни с большой высоты. Погиб шофер. Никто не огорчился. Вода была рядом.

В темноте добрались до реки.

Вода оказалась горько-соленой. В реке тек насыщенный раствор соли. Руки мгновенно покрывались кристаллами соли и оказывались будто бы в перчатках.

Ошеломленный усатый забыл о проводниках, а когда вспомнил, оказалось, что Имана Гельды нет. О нем забыли на спуске, и он ушел.

Барон Кастанье, вероятно, объяснил усатому, что единственный шанс у них всех — Зуфар и что расстреливать его не следует. Крейзе подошел проще к вопросу. Он отобрал у усатого его личное оружие. Леверкюн молчал. Его лицо угрожающе побагровело.

Невеселую ночь провели путники.

Глава V

Ведь даже с гурией рая, если она
лжива, допустим тройной развод.

Самарканди

Упрек завистника считаю за ничто,
все равно как гора — дождевую каплю.

Каани

«Мало было всяких джинов и пери, а тут влетела еще одна пери». Естественно, это персидская поговорка, произнесенная Кербелаи, имела в виду совсем не сэра Болда. Внезапно пожаловавшего в Мешхед англичанина скорее следовало отнести к самым неприятным джинам из «Тысяча и одной ночи».

Вот уж кого не ждали.

Говоря о пери, господин Кербелаи имел в виду очаровательную турчанку. Глазки его, окаймленные красными веками, запылали, когда неожиданная гостья склонилась перед ним в поклоне и попросила, как истая мусульманка, прочитать над ней фатиху.

Ни чрезмерно декольтированное платье, выставлявшее откровенно напоказ молодое тело турчанки, ни то, что она приехала вместе с проклятым кяфиром, с этой христианской собакой Болдом, не смутило святейшего отца.

Злобно раздумывая, чего понадобилось ингризу в Мешхеде, Кербелаи все же поспешил прогнусавить молитву, завладел оголенной ручкой красавицы и принялся осыпать ее отнюдь не благочестивыми поцелуями. Занятие это помешало ему заметить очень выразительные взгляды, которыми Сефие и Болд иронически обменивались. Ясно, что духовный глава крайне растерян и недоумеает. Ясно, что он ждал кого-то, но совсем другого. Ясно, что господин Кербелаи старается выиграть время.

Облизав руку молодой женщины чуть ли не до локтя, господин Кербелай, ничуть не стесняясь многочисленных духовных лиц, присутствовавших в приемной, страстно воскликнул:

— Сделаешься моей сигэ, о самая прекрасная из племени пери!

Усмешечка покривила губы Сефиет:

— Рядом со мной, о раздающий милость, стоит мой супруг. Законнейший из супругов.

Кербелай выразил бездну изумления и возмущения.

— Что-о?!— возопил он.— И ты, правоверная турчанка, вышла замуж за необрезанного. О падение морали! Но поспеши исправить содеянное. В моей власти дать сию минуту тебе развод, прекраснейшая.

— О умножающий наше благочестие,— Сефиет откровенно издевалась,— я довольна своим мужем, дарованным мне аллахом.

— Брак недействителен.

Но всякая горячность в словах Кербелай исчезла. Он гнусавил и шепелявил.

Нет, сэра Болда он никак не ждал и не мог ждать. Кербелай ждал с минуты на минуту барона Тенти. По всем расчетам туристская экспедиция должна была пересечь пустыню Дэшт-и-Кевир и выйти на тегеранскую дорогу. Приезд британского резидента в такой решающий день не сулил ничего приятного.

Не выпуская белую ручку Сефиет, Кербелай заглядывал в глаза. Кербелай ждал знака, сигнала. Он нервничал, брызгался слюной.

На лице сэра Болда не дрогнул ни один мускул. Или он не слушал болтовню Кербелай, или даже не счел нужным заметить, что по бокам его словно из-под земли невзначай появились двое здоровенных «хоучи» с дубинами, и проворчал:

— Высочайший из господ религии, сам пророк изволил сказать: «Даже совокупление с мусульманкой не делает мужчину мусульманином». Потому я прошу ни мне, ни леди Болд фатиху не читать, а свои мудрые нравоучения оставить при себе.

Сэр Болд не постеснялся открыто оскорбить высокое духовное лицо. Он вел себя хозяином и господином в святом подворье. Сэр Болд был уверен в своих силах.

Взглядом Кербелай приказал «хоучи» убраться прочь. Женонеподобный юноша проскользнул к нему и платочком утер слюны на губах и бороде. Кербелай собирался с мыслями.

«Англичанин знает что-то. Немцев ждут с нетерпением. Десятки тысяч ждут. Прибытие каравана «Рено Сахара» — сигнал. На юге феодалы уже поднялись. Очередь за нами. Хорасан готов вспыхнуть костром».

Кербелаи недоумевал. Болд не должен был приезжать. Болд не смел лезть в его мешхедское логово. Сефиет беспечно улыбалась.

Гостей пригласили во внутренние покои. Господин Кербелаи редко бывал в Мешхеде, и комнаты дворца носили следы запустения. Даже паутину по углам забыли снять. Сефиет побрезговала сесть на покрытую пылью дорогую тахту, и ей подали венский стул, на котором она и восседала, словно древнеперсидская принцесса, заставляя своим откровенным платьем и выставленными коленками духовных старцев опускать глаза.

С пренебрежительным любопытством турчанка слушала концерт, которым потчевал гостей Кербелаи. Толстенный детина колотил пальцами по струнам великолепно инкрустированного рыбьим зубом дутара и тянул не очень приятным голосом танцевальную мелодию. В комнату тут же впорхнула нарумяненная, разрисованная танцовщица. Аккомпанируя себе на бубне, она принялась прохаживаться, играя торсом. Только когда балерина поднесла сэру Болду красную ягодку, присутствующие обнаружили, что танцует юноша. Его распутный вид, странные манеры отталкивали.

Кербелаи видел, что гостям нет дела до танцора. Они явно приехали в Мешхед «совать ноги в чужие чуваки».

Сэр Болд отмахнулся от юноши, бросив ему ассигнацию, а сам без церемоний подсел к Кербелаи.

— У нас произошел драматический случай,— сказал сэр Болд.— Он заставил меня с леди Болд предпринять путешествие в далекий Мешхед.

— С очаровательной Сефиет,— запрыгал в своем старом, потрепанном кресле эдаким живчиком Кербелаи.

— Вы сами понимаете, сколь трудно для молодой леди такое изнурительное путешествие.

— О,— взглянув на Сефиет, старик облизнулся,— пусть взойдет луна, и я скажу ей: «Нет, ты не луна, вот она — луна».

— Благодарю за комплимент, но...

— Поистине, госпожа — совершенный инструмент. На ней можно играть как на свирели.

Сэр Болд решительно повернул разговор. Его приезд связан с арестом двух афганцев. На базаре в Исфгане дервиши напали с хулиганскими выкриками на них лишь потому, что они сунниты. Начали швырять камни. Возбуждали толпу. Один из афганцев выхватил саблю и отрубил одному из дервишей голову. Толпа расступилась и позволила афганцам ускользнуть. Но вскоре юношей схватили и бросили в яму. Болду удалось выяснить, что арестовали афганцев люди господина Кербелаи, и поэтому он приехал просить за них.

— Неужели ушки столь очаровательного существа стоит обременять такими скучными делами.— Кербелаи попросил

дорогих гостей пожаловать в сад. Там приготовлен шербет и угощение.

Нет, сэр Болд появился здесь совсем не из-за проклятых афганцев.

Тем временем англичанин решительно оттер святого старца от Сефиет и загнал его в кресло. Он пробормотал что-то насчет «проворства хорька» и заговорил опять об афганцах:

— Один из афганцев — сын знаменитого Саида, того самого Саида Джамала Афгани, идеолога и проповедника, который первым провозгласил идею всемирного исламского государства. Именно от Саида идет великое движение обновления ислама. Саид общался с великими мира сего, и его покровителями были русский император Александр III, турецкий султан Абдул Гамид, а германский император Вильгельм II даже сделался его мюридом. Саид своей проповедью первобытного коммунизма привлек сердца миллионов мусульман и послужил во славу ислама.

— О святой Абулфаиз, о святой пророк! — заерзал Кербелаи. — За каким дьяволом понадобилось сыну столь великой личности рубить голову моему «хоучи». Что, этот парень черту чувяки шьет? И ничего не боится. В нашем благоустроенном государстве за такие дела... За такие зверства... — Он не спускал глаз с круглых коленок Сефиет, видных из-под короткой юбки, — полиция падишаха... м-м...

— Что знают эти ослы, что они могут? — сердито заворчал Болд, и стало ясно, что к числу ослов он относит и достопочтенного хозяина дома. — Вы в свои владения и к воротам не подпускайте шахских чиновников. У себя вы князь: устанавливаете налоги, два миллиона крестьян Фарса работают на вас, вы ведете с соседями войны, казните, наказываете плетью. Станете вы, я полагаю, обращаться к центральному правительству. Дудки!

И он свистнул. Бесцеремонный свист в покоях столь высокопоставленного духовного лица мог вызвать бог его знает какие последствия. Огромные чалмы в зале и на открытом айване негодующе зашевелились. Десятки сеидов, ахундов, просто «хоучи» шагнули к суфе, на которой небрежно развалился сэр Болд.

Махнув рукой на толпу, Кербелаи заставил всех вернуться на свои места и пропищал:

— О Абулфаиз, куда, эй, вы прете? Назад! Когда мы молчим — мы один, когда мы говорим — нас двое. Господин ингриз, подуйте на руки и поднесите их к лицу. А теперь коснитесь меня. Да вознаградит рука Али ту руку, которая коснется светильника моей руки. Берите! Язычники афганцы ваши!

Кербелаи внимательно посмотрел на Болда. Да, нет сомнения. Сэр Болд приехал в Мешхед, явился сюда совсем не из-за афганцев. Что же ему еще надо?

За угощением Кербелаи разглагольствовал:

— Ваш супруг, госпожа Сефие, не мусульманин и не понимает мусульман. Он подверг себя опасности. Пока мои люди не видят ошибок в догматах ислама, они бараны. Они у меня молчат, если даже я беру их дочерей по одной, по две в наложницы. Они думают, что так аллах считает нужным. Они бьют себя в грудь кулаками и цепями и слушаются каждого моего слова.

Он выпил коньяка и совсем раскис.

— Пусть у нас во главе государства сидит вор, разбойник, но, о Абулфаиз, пока он слушается меня, своего духовного наставника, пусть будет повелителем правоверных.

Худой, с невеселым лицом царедворца сеид что-то шепнул господину Кербелаи.

— Отойди,— пискнул святой старец,— сам знаю. У всех вас сумбур в башке. Поделикатничай с вами — на шею взгромоздиться. Да, да! У нас так: пусть разбойник — а шах, раз он слушается меня. А народ? Верующим подобает оставаться голодными и немощными, больными и неграмотными. Такова воля всевышнего!

— Вы изрекаете истины,— сказал сэр Болд.— Вы так могущественны, что от вас зависит покой в Хорасане и благоразумие. И в то же время не находите ли вы, что ведете себя недостойно и неумно.

Они сидели на высокой деревянной тахте в тенистом саду, к берегу чудесного бассейна вела широкая мраморная лестница. По бокам устланного коврами павильона стояли низкие диваны с бархатными подушками. На потолке были вмонтированы из разноцветного дерева звезды, обрамляющие многопудовую хрустальную люстру.

Голос сэра Болда приобрел зловещие, скрежещущие звуки.

Жалкая, плюгавая фигурка Кербелаи потерялась среди райской красоты и крикливого великолепия, хотя он буквально раздувался от спеси и самомнения.

Слова сэра Болда ошеломили и перепугали его. Он постарался уйти от ответа. Кряхтя и пуская слюни, Кербелаи принялся повествовать о страданиях имамов, о мучениках, пребывающих в раю в объятиях гурий, а сам подбирался все ближе и ближе к Сефие и вкрадчиво бормотал:

— В раю, увы, нет такой гурии, как вы. Я говорю луне: «Не взойди! Пусть взойдете вы».

— О луне было,— резко проговорила турчанка.— А вы не так близко! Из рта у вас кровью пахнет. И руки у вас все в крови.

Кербелаи рассмеялся:

— У гурии острый язычок. Что ж? Зачем скрывать. Мужчина на Востоке гордится своей силой, женщина — красотой и плодovitостью. Я делаю все, перед чем другие отступают из-за недостатка храбрости, хитрости, воображения. Я предпочитаю убирать тех с дороги, кто мне мешает или... — он сделал многозначительную паузу, — кто перечит мне, дорогая моя красавица.

— Чем больше дразнишь собаку, тем больше она лает. — Сефиет вскочила и начала спускаться по лестнице к бассейну.

Глаза господина Кербелаи неотрывно следили за турчанкой.

— Клянись, одну айву подарит, десять заберет!

В голову ему вдруг пришла идея:

— Господин Болд, зачем она тебе! Из-за этой мусульманки у тебя еще будут неприятности. Разве ты не видел косых взглядов на улице, угроз в толпе, когда сюда ехал? Мусульмане не терпят, когда кяфиры спят с дочерьми пророка. Раньше за это убивали!

Кербелаи всячески тянул. Больше всего он боялся, что сэр Болд заговорит о деле, и в то же время он готов был полжизни отдать, только бы выяснить: зачем приехал в Мешхед сэр Болд.

— Заяц на гору злился, а гора и не знала, — с полным презрением проворчал Болд. — Мы должны поговорить о делах. Хватит о бабах.

Но господин Кербелаи старался показать, что ему не дает покоя дразнящая походка Сефиет — турчанка в это время прогуливалась возле бассейна.

— На берегах Евфрата люди страдают зудом во всем теле. Говорят, от воды. Клянись, у меня зуд от этой женщины. Эй, ингриз, ты должен дать ей развод. Да станет она тебе тем же, что спина твоей матери!

Или он был пьян. Или он окончательно обнаглел от сознания своей силы и могущества.

Но Болд даже не рассердился:

— Цыц, кобель, на место! Сефиет мне нужна. Тьфу, наконец, на что тебе она? Гнилыми зубами орехи не грызть.

— Поди спроси моих жен и наложниц, какой я гнилой! Я прикажу, — сказал он сэру Болду, — бросить твоего афганского забияку во двор паломников.

Он поманил англичанина к ограде сада. В отверстие Болд увидел обширный двор, сплошь заполненный разношерстным народом. Шевелилось море всевозможных шапок и головных уборов — чалм всевозможных расцветок и размеров, высоких «кулинамади», цветных пехлевиек из сукна, бязи, брезента, барашковых гигантских папах, фетровых серых, зеленых, синих, даже розовых и малиновых шляп, всяких фасонов тюбетеек. В облаках пыли неся шум, голоса, гвалт. Пели дервиши гимны, сыпали проклятиями «хоучи», пытаясь навести порядок, исте-

рично взвизгивали женщины, пищали дети, вопили призывно нищие и мелкие торговцы. И над всем сборищем неся зычный клик: «Лев Бога Али!» Оглушающе заревели барабаны, задули трубы, зазвенели колокольцы и бубенчики. Толпа заревела: «Проклятие Езиду-убийце!» Над морем шапок взметнулись тысячи кулаков. Многие из них судорожно сжимали палки, кинжалы, копья, ружья.

В реве толпы Болд с трудом разбирал слова Кербелаи:

— Твоего афганца к ним прикажу бросить. Растерзают на клочки.

Они вернулись в сад. У бассейна спокойно гуляла Сефиет.

— Видали?— спросил господин Кербелаи.

— И это все? И с этим вы думаете идти против нас?

— Проклятие! Вас, я вижу, не размягчить ни в какой воде.

— Утрите сопли,— сказал Болд,— возьмите себя в руки. Я приехал вас предупредить: «Рено Сахары» не выйдут из пустыни, а если и выйдут, их встретят как надо. Вся эта затея известна. Не поднимайте шума, поберегите силы. Ваши паломники, толпы ваших фанатиков — ничто. Вы ничего не добьетесь. Если вы их поднимете, русские встревожатся и не выведут свои войска из Хорасана.

Господин Кербелаи понял, очевидно, что стоит ногой на дынной корке. Он приказал позвать ахундов и сеидов. Приличия ради поставили ширму, за которой расположилась в удобной качалке Сефиет. Здесь она, отгороженная от нескромных взоров, могла слышать и видеть все. А почтенные столпы религии не подвергались соблазну.

Надо сказать, что господин Кербелаи сразу понял сэра Болда.

Но что делать с фанатиками, с толпой? Он быстро нашелся:

— События в Европе благоприятны восстановлению величия ислама. Европейцы передрались между собой, а мусульманам надо думать о дружбе и единстве в своей четырехсотмиллионной семье. Ирану пора перестать быть колонией. С англичанами можно договориться на выгодных условиях. Американцы богаты и помогут, но пока далеко. Немцы протягивают руку помощи, но они человеконенавистники и всех людей Востока считают неполноценными. Однако немцы сильны, и недалек час, когда расправятся с нашим северным соседом. Мусульманам Советского Союза надо помочь обрести единство. Надо сделать так, чтобы мусульмане Туркестана сплотились, прогнали Советы и к приходу немецких солдат могли сказать: «У нас все в порядке». Тогда Гитлер поймет, что ислам надо уважать. Он не станет посылать в Туркестан и Иран своих губернаторов, свою полицию и администрацию, а возьмет мусульман в союзники, чтобы с их помощью установить порядок во всей Азии. С часу на час надо ждать благоприятных вестей, и

тогда — в поход, в священный поход против большевиков! Теперь же надо молиться и ждать.

Слова об установлении порядка в Азии силами фашистов и мусульман не слишком понравились сэру Болду. Он издал сдавленное рычание, но не счел нужным вмешаться. Он очень внимательно слушал, что говорили присутствовавшие на айване ахунды и сеиды из туркмен и узбеков, приехавшие из аулов, находящихся на границе с СССР.

Глава VI

Время, которое раскручивает все
крепко закрученное, обращает в
пыль все замыслы, разъединяет даже
прочно соединенное.

Аль Джахиз

Если выставить даже полтысячи
скотов против одного настоящего че-
ловека, и то это не будет войско.

Хосров

Чудовищную работу проделали немцы. Зуфар сказал, что надо переправляться на ту сторону реки. Озверевшие люди выламывали плиты сланца и бросали на илистое дно соленой речки, сатанинской речки.

Вода едва доставала до оси «Рено Сахары», но топь на дне засосала бы, автомобиль не прошел бы. Черт побрал этих французишек, разрекламировавших проклятые «Рено Сахары»! Стоило с такими фокусами и кознями покупать их у преподобного Далласа и платить ему в сто раз дороже номинала. Полковник Крейзе скрежетал зубами. Он тоже ворочал и вырубал глыбы. Поблескивающими от пота желваками ходили мускулы на его загорелой до черноты спине в лучах утреннего, но уже раскаленного солнца. Никто не посмел бы сказать, что он стар. Он крепок и закален. Он даст фору еще этим белотелым, рыхлым, обожженным до пузырей офицеришкам из СС, посланным в Иран переворачивать Восток во славу фюрера. Нет, он, Крейзе, служил всегда фатерлянду, и о фюрере думал меньше всего. Он реалистически мыслил. С самого начала Крейзе скептически смотрел на планы Леверкюна. Крейзе знал расстановку сил в Иране, знал, что трудно, почти невозможно привлечь массы на сторону фашизма. Их экспедиция — последняя попытка. Он отдал все силы, чтобы обеспечить успех экспедиции, доставить барона и его свиту в Северный Иран. Но он видел, что «бросок тигра», так назвал их операцию барон, проваливается. Прошли всего сутки, а от каравана осталась лишь треть. Две «Рено Сахары» потеряны. Люди выбились из сил,

чтобы спасти последнюю. Он сам работал с напряжением всех своих сил.

Раскаленное солнце, цементного цвета излучающее жар небо, серо-желтые мертвые горы взирали с насмешкой на копошащихся в соленой жиже людей. Похожие на привидения, они метались, тащили, хрипели. До груди они оделись в ослепительные футляры из соляных кристаллов. Соль хрустела и въедалась с зудом в нагое обожженное тело, саднила, причиняла острую боль. Брызги от камней, брошенных в воду, оплескивали лица, плечи, соль падала в глаза, слепила. Волосы тоже покрылись коркой соли.

Шли минуты, часы. Часы драгоценного времени. В бидонах на самом донышке оставалась тепловатая вода. Люди были вконец изнурены. Один уже свалился и лежит на самом солонце, раскинув руки и ноги. Он обнажен до пояса. Его сжигает солнце. Но никто не догадался прикрыть его гимнастеркой. Высокий аристократического вида офицер пьет из речки воду. Он знает, что с ним будет, но все равно пьет. Он нарушает приказ фон Крейзе — не пить соленой воды. Но ему плевать на самого эксцеленца. И между приступами рвоты он кричит в лицо генералу: «Плевать мне на тебя, свиньячая собака! Плевать мне на собачьего фюрера!»

— Бунт! Предательство! Расстрелять!

Искаженная бело-красная маска прыгает перед Крейзе. Он не слышит воплей генерала. Он даже не оборачивается на ужасный храп за спиной. Кто так храпит неестественно, неправдоподобно? Да, в детстве так храпела, с воем, присвистом, клекотом, его бабушка, умирая на своей высокой постели от головного удара. Пошатываясь, изнемогая под тяжестью глыбы, Крейзе вспоминает не бабушку, нет. Он ощущает в горле холодок пива, которое он тогда потихоньку, воровски, выпил из большой кружки, у изголовья умирающей бабушки.

Что? Генерал умирает? Пустяки. Такие толстокожие болваны-гитлеровцы не помрут так просто.

Но генерал умирал. Его хватил паралич то ли от неслыханного оскорбления, нанесенного любимому фюреру, то ли просто от удара, вызванного полнокровием. Генерал не выдержал. Он лежал рядом с обессиленным офицером. И у обоих позы напоминали того, под черной скалой.

Генерал дергался. Лицо его перекосилось судорогой, глаз вылез. Глаз молил о чем-то, а из груди вырывался громкий храп.

Немцы тащили камни. Краснотелые, в белых полосах и нашлапках соли, они тащили камни. Никто не остановился, не помог генералу. Все молчаливо признали: генералу — буйному, крикливому, самоуверенному — капут. Что с ним возиться? Теперь все поняли, что у них остался один шанс — переправа.

Насыпь, отмеченная камнями, торчащими из ослепительного серебра воды, медленно, но неуклонно приближалась к противо-

положному берегу. Расстояние между камнями и берегом сокращалось. Барон и его спутники не произнесли ни слова. Но они думали об одном.

Тихо барон сказал проходившему мимо Крейзе:

— Пошлите проводника ко мне.

Ошалело Крейзе посмотрел, что-то засипел и ушел. Но Зуфар скоро оказался около машины. Зуфар тоже таскал камни, тоже строил переправу. Соль слепила его. Но природный загар, привычка к зною, скитанию по пустыне сделали его кожу устойчивой к песку и соли. Хорезмийцев недаром в древности называли сыновьями солнца. Южное солнце могло жечь, давить, душить, но только не хорезмийца Зуфара.

Барон Тенти дю Кастанье сидел в машине с безразличным видом. Однако он все видел, все замечал. Он потрогал свои галльские усы и сказал Зуфару:

— Можно подумать, что вам все нипочем: жара, жажда, лишения. Вы — крепкий человек.

Зуфар промолчал.

Криво усмехнувшись — и усмешка эта на болезненно-желтом, покрытом потными подтеками лице выглядела страдальческой, — барон сказал:

— Не правда ли, мы тогда беседовали в более комфортабельной обстановке?

Зуфар невнятно промычал что-то в ответ.

— Не правда ли, мы расстались друзьями? Я уже давно вас заметил и сказал себе: «Вот человек!» Госпожа Сефьет рекомендовала вас.

Зуфар молчал. По его лицу нетрудно было понять, о чем он думает.

— Извините генерала. Он солдафон. — Барон посмотрел в ту сторону, где из-за кучи щебенки в струйках горячего воздуха торчали подергивающиеся сапоги генерала. — В наших условиях его песенка спета. Де мортибус нон диспутантур. — О мертвых не спорят. Да вы знаете латинский!

Зуфар молчал.

— Сейчас они положат последние камни, — нетерпеливо проскрипел барон.

— Да, да, — сказал усатый Зуфару. — Слушайте мой приказ. Вы офицер и понимаете приказ. У нас достаточно бензина до Гармсира. Сейчас вы сядете с нами в машину. На том берегу эта толпа, эти дьяволы, атакуют машину. Озверелая банда эссовцев. Набьются в машину... Нам не хватит воды. Мотор не выдержит. Вы понимаете.

— Нет.

— Отлично понимаете. Вы садитесь в машину. Никого в нее не пускайте.

— Голыми руками?

— Вы получите автоматическую винтовку и сколько угодно патронов.

Барон вдруг поднял голову, вскрикнул:

— Vce! Переправа готова.

Ему вторили вопли торжества. Как немцы ни устали, они бежали по камням через речку и кричали «хайль!»

К «Рено Сахаре» спешили шофер и фон Крейзе. Сбивая с ног соль, утирая лица, они ввалились в автомобиль и победно захрипели:

— Вперед!

«Рено Сахара» запрыгала по камням, вздымая тучи соленых брызг. Временами казалось, что все усилия немцев оказались напрасными. Плотина была неустойчива. Скатывались буксовали, мотор ревел. Однако немцы с хриплым воем вцепились в кузов и вытолкали на своих плечах громоздкий автомобиль, покрытый солью, пышущий зноем, на берег.

«Рено Сахара» остановилась.

— В чем дело, Шульц?— спросил барон.

— Позвольте доложить,— сказал шофер,— там остались генерал и оберштурмфюрер Гофшестер.

— Не ваше дело, Шульц. К сожалению, нам некогда хоронить мертвецов.

— Позвольте возразить: они живые.

Вмешался Крейзе:

— Поехали!

— Нет, я шофер. Я не палач.

— Шульц,— мягко сказал барон,— мне не до агитации. Вы поедете! Если нет, обойдемся без вас.

Около автомашины столпились офицеры. Они, видимо, пытались смыть с лиц соль и грязь, но физиономии их, прижатые к стеклам, напоминали угрожающе отталкивающие маски. Эсэсовцы не понимали причин задержки.

— Трогай!— сказал барон.— Трогай, Шульц!

— Они нас разорвут в клочья,— возразил Крейзе. Он понял барона и, открыв дверку, крикнул:— Господа офицеры, внимание!

Но господа офицеры с криками, похожими на вой взбешенных животных, ворвались в «Рено Сахару», набились в нее, затискали в угол барона и Крейзе. Барон задыхался. Крейзе, отчаянно расталкивая навалившихся на него людей, наконец протиснулся наружу. Он расставил широко ноги и полуприказным, полупросящим тоном заговорил:

— Господа, мы не звери, мы люди. Мы офицеры. Мы — элита германской нации.

— К дьяволу элиту!— закричали из машины.— Поехали!

— Господа офицеры, совершенно верно, мы сейчас поедem. Быстро, хорошо поедem.

— Поехали!— орали эсэсовцы.

— Да, да. Но прежде всего надо забрать из аварийной «Рено Сахары» бидоны с водой и бензином. Воды у нас мало. Надо беречь каждую каплю.

Вопли стихли. Слово «вода» всех образумило. Крейзе сразу же воспользовался переломом. Вытянувшись, командовал:

— Вон из авто!

Все послушно выбрались на землю.

— Смирно!— командовал Крейзе.— Слушать внимательно! Отправиться на тот берег. Взять господина генерала и оберштурмфюрера. Уложить с удобствами в аварийную «Рено Сахару». Забрать бидоны с водой, контейнеры с бензином, оружие! Быстро доставить сюда!

И поразительно. Измученные, еле стоящие на ногах люди подняли руки и довольно стройно крикнули: «Хайль!»

Потом все побрели к переправе.

— Господин большевик, марш!— вдруг заметил Крейзе сидящего на заднем сидении Зуфара.

— Он останется, господин полковник,— совсем бесцветно пробормотал барон. Пустыми глазами барон смотрел, как брели, спотыкаясь и скользя по покрывшимся соляной белизной камням, люди. Он следил за ними, когда они подняли безжизненные тела генерала и оберштурмфюрера и понесли их к торчащей почти вертикально в огромной каменной щели «Рено Сахаре».

— Майн готт, их надо взять с собой! Неблагодарно,— пробормотал Крейзе.

— Офицерская честь и прочее,— сказал барон.— Но у нас нет выхода. Что за сантименты!

— Что же мы стоим?— вдруг заговорил усатый.— Господин полковник, ваши предложения?

Крейзе поморщился.

— Значит, вы предлагаете и этих...

— У вас приказ, господин полковник, доставить нас во что бы то ни стало.— Он повторил «во что бы то ни стало».— Из Гармсира вы вернетесь и заберете их.

— До Гармсира три дня пути. Эти не протянут и двух дней.

Почему он заговорил, Зуфар и сам не знал. Житель пустыни не оставляет даже врага без воды. Тысячелетия существует закон пустыни: умирающему от жажды дай воды. Это не закон ислама, это не религиозное милосердие, это милосердие пустыни. Барон сказал: падающего толкни. Закон сверхчеловека, закон цивилизованного немца, подобранный фашистами из помойной ямы нищезанятия.

И сам Леверкюн, и барон, и особенно Крейзе называли Зуфара дикарем. Пусть он, житель степей и пустынь, дикарь.

Но дикарь даст перед смертью самому заклятому врагу напиться. Таков обычай.

— Позор! Спасаете свою шкуру, топчя людей!

Зуфар больше ничего не сказал. На его слова не обратили внимания. Барон приказал:

— Едем!

«Рено Сахара» со скрипом рванулась вперед. Шум мотора заглушил крики оставшихся на том берегу реки. Но выстрелы были слышны. Стреляли дрожащие, слабые руки. Ни одна пуля не попала в кузов «Рено Сахары».

Еще прошли часы. Солнце медленно перевалило зенит. Крыша автомобиля накалилась, и дышать стало нечем. Каменистый грунт кончился. Начался сплошной песок, раскаленный песок.

Он набивался в кузов, лез за шиворот, забирался во все складки кожи.

Во рту, в горле был песок, на зубах, в ушах. Он причинял нечеловеческие мучения. Барон задыхался.

Часа через два Шульц сказал:

— Выключаю. Непорядок.

Он долго копался в моторе. Стоять на жаре в ложине между двумя барханами скоро сделалось невозможным. Крейзе пошел помогать Шульцу. Они возились долго.

Первым вернулся Крейзе. Выругавшись грубо, по-солдатски, он сказал:

— Пуля все-таки задела... Очевидно, поврежден радиатор.

— Что же делать?— совсем тихо проскрипел барон.

— Вы будете отвечать!— неожиданно взвизгнул усатый.— Отвечать перед фюрером.

Холодный, выдержанно вежливый, эксцеленц до сих пор не позволял себе раздражаться. Он, по-видимому, считал унижительным раздражаться при подчиненных. Полковник Крейзе был для него, влиятельнейшего чиновника третьего рейха, чем-то вроде рядового солдата. Раздражаться при солдатах — дурной тон. Дело фельдфебеля — возиться с солдатами.

Гримаса Крейзе очень не понравилась усатому. Лицо полковника буквально перекосилось. И он сказал тихо:

— Я пятьдесят лет служу фатерлянду и... А теперь хватит болтовни. Шульц, сюда!

Шульц подбежал:

— Доложи эксцеленцу!— приказал Крейзе.

— Позвольте доложить, пуля повредила радиатор, самую малость повредила. С булавочную головку дырочка. Но вода вытекла, почти вытекла. Хороший мотор. Сигнализировал. Иначе капут.

— Короче!— истерически вскрикнул усатый.

— Я заклепал, но надо воды. Залить в радиатор.

— Залейте.

— Разрешите доложить, у нас в бидоне только питьевая вода. Без мастерской нельзя совсем заделать дырку. Вода будет просачиваться. Необходим запас.

Все молчали.

Крейзе ушел уверенной походкой и так же уверенно поднялся на бархан. Скоро он вернулся и сказал:

— У нас полтора бидона воды. Полбидона зальем в радиатор. Вернемся к реке...

— Нас разорвут!— закричал усатый.

— Мы отъехали километров двадцать. Теперь дорога проторена. Наступает вечер. По прохладе мы обернемся часа за два. Шульц наберет в пустые бидоны из реки воды.

— Ближе есть вода?— спросил у Зуфара барон.

— Есть.

— Поедем туда.

— Дорога плохая. Барханы. Потом пойдет соляная топь. Автомобиль не пройдет.

Решили вернуться.

— Хорошо,— сказал Крейзе,— я еще раз погляжу. Тогда не взял бинокль.

Они видели, как Крейзе поднялся на бархан, исчез за гребнем. Потом фигура его вырисовалась на светлом фоне неба и снова скрылась. Они ждали Крейзе полчаса. Он не возвращался. Прошел еще час.

Шульц и Зуфар поднялись на бархан. Море песка расстилось вокруг. Низкое солнце превратило барханы в золотистые волны. Казалось, вот-вот они двинутся вперед, запенятся, зашумят.

Крейзе не было.

Они стреляли в воздух. Им не ответили.

Когда они вернулись, усатый приказал:

— Поехали. Искать некогда. На обратном пути заберем. Увидит свет фар— и даст о себе знать.

Солнце оранжевым апельсином сползло сквозь песчаную тучу и провалилось под горизонт.

Возвращались к реке осторожно. Быстро темнело. Барон высказал опасение, что эсэсовцы поднимут стрельбу без предупреждения. Хотели выехать к реке где-нибудь в другом месте. Долго плутали по степи. Наконец замерцала среди темных громад зеркальная лента. Шульц погнал машину быстрее. Его очень беспокоил радиатор.

Почти у самой воды он затормозил.

— Что случилось?— сорвался Леверкюн.

— Позвольте доложить. Опять же «Рено Сахара».

В сумерках на другом берегу темнел кузов. В воздухе стояла тишина. Серебристым звоном в камнях, набросанных людьми, журчала соленая мертвая вода.

— Приготовить оружие,— приказал усатый.

Камни, скалы, горы молчали.

— Спят они, что ли?— недоумевал барон.

— Позвольте доложить,— трапоровал Шульц,— пахнет горелым.

Все давно уже чувствовали запах гари и горелого мяса. Все заторопились. Шульц и Зуфар набрали в бидоны и канистры воды. Опасливо поглядывали они на странно темнеющий остов «Рено Сахары». Странно, куда девались люди? Почему такой неприятный запах?

Когда набрали воды, Зуфар вызвался сходить посмотреть, что случилось. Одного его не пустили. Послали с ним Шульца.

Они вернулись молчаливые.

— В чем дело?— спросил Леверкюн.

Уже запустив мотор, Шульц даже без своего неизменного «разрешите доложить» сообщил:

— «Рено Сахара» сгорела. В кузове обгорелые тела. Сколько, не видно.

Он погнал автомобиль вовсю. Свет фар вырывал из тьмы колеи, проложенные «Рено Сахарой» днем.

Уже когда они отъехали довольно далеко, Зуфар громко сказал:

— Иман Кули!

— Что такое?— воскликнул Леверкюн.

— Я говорил: нельзя туркмена называть «свинячая собака». За свинячую собаку мстят до могилы.

— При чем тут Иман Кули?

— На земле около машины кровь, много крови. Много пустых гильз. Все трупы в кузове сгорели. Живые и мертвые сгорели.

— Черт, дьявол! Что же случилось? Друг друга перестреляли, что ли, бешеные собаки?

После долгого молчания Зуфар добавил медленно, словно думая вслух:

— И еще следы верблюдов. Племя Имана Кули нашло Имана Кули. Племя мстит. Куда ушли на верблюдах туркмены? Туркмены стреляют метко. Туркмены скачут на верблюдах быстрее ветра пустыни «бад-и-кесиф».

«Рено Сахара» стояла, тяжело дрожа, словно изнемогающий слон. Песок барханов дышал раскаленной печью. Сама «Рено Сахара» была похожа на печь. Солнце давно скрылось в летучей подушке из песка и пыли на западе, а металл дверок и кровли все еще излучал жар. Люди, разморенные жарой, не могли шевельнуться. Леверкюн стонал.

Автомобиль стоял, зарывшись колесами по ось в песок. Шульц включил и выключил фары. Он хотел разглядеть, есть следы впереди или нет.

— Попить бы,— сказал он хрипло. Видно было, как руки его прыгают от нервной дрожи на баранке. Дрожь мотора передавалась водителю.

Никто не ответил. Все хотели пить. Все могли бы выпить море воды.

Зуфар вылез из автомобиля и прошел вперед. Да, следы шин кончались. Хотя «бад-и-кесиф» дул все время довольно сильно, но ясно виднелись вмятины в песке в том месте, где они повернули назад.

На юге темнеет очень быстро. Темное, тяжелое небо зацвело вспышками звезд. Наступила ночь.

— Покричите полковника. Он где-то здесь,— тихо проскрипел барон.

Неожиданно и фантастично завыл клаксон. «Рено Сахары» оборудованы очень громкими сигналами, чем-то вроде противо-воздушных сирен. Отчаянный вой неся над пустыней.

— Да замолчите!— заорал усатый.— Всех дьяволов пустыни созовете.

Клаксон замолчал. Пустыня молчала. Молчала ночь.

«Рено Сахара» дрожала. Никак не мог успокоиться мотор. Ветер шуршал в кустах солянки.

— Проверьте радиатор,— проговорил усатый. И голос его чудовищно громко прозвучал во впадине между барханами.

Шульц долго, даже слишком долго возился с мотором.

— В чем дело?— спросил Леверкюн.

— Разрешите доложить, полковника-то нет.

— Мотор в порядке?

— Да.

— Радиатор?

— Да.

— Садитесь.

Шульц долго закрывал капот, брэнчал железками, собирал инструмент, долго шел от мотора, долго открывал дверцу. Долго укладывал инструмент под сиденье. Протирал стекло ветшью. Наконец уселся на свое место.

Все вздрогнули. Снова пустыня огласилась ревом клаксона. Барханы отозвались эхом. Проснулись древние чудовища пустыни и отвечали ревом гигантских глоток.

Приподнявшись на месте, усатый ударил Шульца по шее.

— Молчать.

Рев оборвался. Замолчали чудовища. Они лишь тихо ворочались в песке. В свете звезд шевелились громадные спины барханов.

— Ну-с!— приказал Леверкюн.

— Полковник не пришел.— В голосе Шульца прозвучало рыдание.

— Поехали!— приказал усатый. Он совал в плечо Шульца дуло пистолета.

— Я поднимусь на бархан,— сказал, открывая дверцу, Зуфар,— нельзя бросать человека.

В то же мгновение вспышка ослепила Зуфара. Ударил выстрел. Стрелял усатый, но промахнулся.

— Садись! Молчать! Застрелю!— хрипел он.— Молчать! К черту Крейзе! К черту! Всех к черту! Большевик, вон из машины! К стенке! Руки вверх!

Он выскочил из «Рено Сахары» и палил в небо из пистолета, выкрикивая ругательства. Он был в таком возбуждении, что пришлось отобрать у него пистолет и затолкать на заднее сидение.

— Он перестреляет нас. Он застрелит себя,— скрипел барон, пока возились с эксцеленцем.

Снова в пустыне стало тихо. Зуфар ушел и долго пропадал. Шульц вдруг заплакал.

— Он ушел... Он один знает дорогу... Он ушел...

Вернулся, неслышно и легко шагая, Зуфар.

— Нет вашего полковника,— сказал он,— следы видны... Еще не засыпаны. Дошел до «кака» — такая глиняная площадка твердая. Следов не остается. Полковник пошел по «каку».

— Зачем?— удивился барон.

— Не знаю. Ушел на восток. Ночью не найдешь.

Усатый завертелся, заорал. Речь его сделалась совсем бесвязной. Побурлив, он затих.

— На востоке есть колодец. Очень далеко,— думал вслух Зуфар,— называется Ширин Аб. Очень далеко. День пути. Вода сладкая, потому такое название.

— Поехали на колодец,— сказал Шульц.— Полковник ушел туда...

Барон молчал.

— Автомобиль не пройдет. После «кака» пойдет солонец. Сверху соль, как лед. Толстый. Подо льдом грязь. Черная грязь. Верблюды утонет, горба не увидите. Человек пройдет, автомобиль не пройдет. Кругом надо ехать. Через Нейрабад.

Барон молчал. Снова завозился сзади усатый, закричал:

— Хайль! Расстрелять! Долой! К черту!

Они поехали. Путь пошел среди барханов.

Полковник Крейзе остался в пустыне.

Ни одна из трех проданных барону Тенти дю Кастанье «Рено Сахар» не прибыла из туристского пробега через пустыню Дэшт-и-Кевир в Гармсир. Ни в Гармсир, ни в какое другое из селений, что расположены по краю песков и солончаков на огромном протяжении между Исфаганом на западе и афганской границей на востоке.

Бельгийский барон Тенти дю Кастанье, путешественник, коллекционер, аристократ душой, очевидно, переоценил свои возможности и силы. Он слишком понадеялся на отличное знание Азии и азиатских пустынь. Он выбрал для сенсационного пробега наиболее подходящее время — осень. Он снабдил пробег всем необходимым. Предусмотрел буквально все. Рассчитал маршрут во всех деталях. И участок пустыни наметили совсем не такой уж широкий — каких-нибудь три сотни километров. И местные жители хранили предания, что тут пролегал древний караванный путь.

Жили еще якобы старики, водившие верблюдов через барханы, горькие речки, черные скалы, соленые топи. Когда персидские власти всполошились и отправились на поиски каравана «Рено Сахар», старики водили их на юг и показывали дорогу и шаткие, сложенные из древних камней, мосты. Но мосты кончались в двадцати-тридцати километрах к югу от Гармсира, а потом начиналось что-то невообразимое из оврагов, крутых гор, пухлых солончаков и коварных болот черной грязи.

Персы чиновники так и решили: видно, туристская группа барона Тенти заблудилась. Посылали даже самолеты. Попросили у английского командования. Самолеты полетели. Летчики сослались на плохую видимость. Да и не до туристов было.

Больше всего удивляло, что не оправдали себя «Рено Сахары». Барон Тенти отдал за них немалые деньги американцам.

Преподобный Даллас не особенно расстраивался. В накладе он не остался.

Он, правда, как-то сник и совершенно перестал предсказывать. До туристской поездки барона Тенти он много раз говорил о предстоящих переменах в Иране. Он частенько говаривал сэру Болду за кофе с ликером:

— Один человек в мире умен — и это добрый христианин, вице-президент США Трумен. «Если мы увидим, что выиграет Германия, то нам следует помогать России, а если выигрывает будет Россия, то мы поможем Германии. И пусть они убивают друг друга как можно больше». Меня во сне просветили ангелы господни, что большевики слишком бьют фашистов.

— А Сталинград? — мрачно сопел трубкой Болд. — Фашисты застряли там.

— Бабушка надвое сказала, кто возьмет верх. Пустяковый эпизод. Решают события в Северной Африке.

— Это тоже ангелы говорят?

— Дело в госпoде бoге и в молитвах. И я молю, чтобы в Тегеране произошли перемены и чтобы на престол пришло новое правительство, ненавидящее северного соседа, и чтобы большевикам пришлось в Азии туго, и чтобы проклятый Баку сгорел

в геенне огненной. Видят ангелы господни, что сие свершится.

Преподобный Даллас так же молился во всеуслышание об успехе туристского пробега «Рено Сахар», организованного путешественником и коллекционером, знатоком иранских пустынь бельгийским бароном Тенти дю Кастанье.

Преподобный Даллас лично ездил в своем роскошном «ролл-ройсе» на границу в район Нейрабада неприветливой пустыни Дэшт-и-Кевир благословить смелых туристов на трудный путь. И он ничуть не обиделся, когда туристы, особенно сидевшие в третьей «Рено Сахаре», отпускали довольно циничные шуточки в адрес чересчур декольтированной его спутницы. Се-фиет не отказала себе в удовольствии совершить далекую прогулку и присутствовать на таком торжестве, как открытие туристского пробега через пустыню.

Но после пробега, вернее исчезновения, каравана «Рено Сахар» Даллас Рокфор перестал предсказывать. Ангелы господни перестали просвещать его насчет будущих перемен в Тегеране. Хлопотна и неблагодарна ныне профессия пророка на земле, особенно на угощениях — зиафетах — иранских вельмож, когда десятки пар глаз вопросительно взирают на тебя — представителя заокеанской демократии.

Когда у пророка чешется язык, а пророчествовать рискованно, можно после сытного и утонченного зиафета, сидя среди «бузургон» — вельмож — за чашечкой кофе с ликером, бросить невзначай:

— На фашизм я возлагаю божественную миссию — спасти Европу от вздорных, либеральных идей века.

Из-под бесцветных кошмяных бровей смотрели бесцветные глаза. Но при всей своей бесцветности они были очень выразительны.

Шли переломные месяцы войны. Немецкие, итальянские, русские дивизии штурмовали Сталинград. Смутные сомнения копошились в головах властителей Ирана. Но ведь никто не знал, как повернутся события. Перед кем становиться на задние лапки?

Конечно, Америка далека. Но Америка — сила. И даже на ветер брошенные слова американского пастора заставляли всех задуматься.

Один лишь сэр Гэмфри Болд начинал скалить желтые свои клыки и со свистом и хлюпаньем дымить своей трубкой.

Сэр Болд не был в восторге от правительства Тегерана. Он считал его «дуздох» — воровским вертепом. Но он был очень доволен, что преподобный Даллас и вместе с ним американцы получили моральную затрещину.

Он не мешал Далласу. Возможно, что усложнение обста-

новки в Иране устраивало и сэра Болда и «Интеллидженс сервис». В случае смены правительства русским наверняка пришлось бы убраться из Ирана. Возможно, Москва согласилась бы на ввод английских соединений в Баку. А Баку — по мнению Болда — пуп Среднего Востока.

Но сэр Гемфри Болд оказался в стороне. Его не спросили. Прислали в Иран выскочку Ашки-эффенди.

Сэр Болд довольно скалил свои клыки. Он почти не занимался делами. Он предоставил всю канцелярию, письменный стол, фамильное болдовское кресло Ашки-эффенди и всецело отдавался семейной жизни. Он буквально смаковал прелести семейной жизни.

Все были, мягко выражаясь, ошеломлены. Леди Летиция так и не вернулась в Исфаган.

В «Таймсе», в великосветской хронике сообщалось о состоявшемся разводе сэра Гемфри Болда, баронета, и леди Летиции Болд, урожденной герцогини. В том же номере газеты читатели уведомлялись, что в Исфагане состоялось бракосочетание сэра Гемфри Болда с мадам Сефием, знатной турчанкой.

Шофер грузовика Кузьмич узнал о неожиданном замужестве Сефията значительно раньше, через несколько дней после исчезновения туристского каравана бельгийского путешественника барона Тенти.

Кузьмич сидел за рулем в своем грузовике. Рядом с ним сидела персиянка, «левая» пассажирка, закутанная с головы до пят в черное дорогое сари. Из-под него на лбу выбивалась непокорная бронзовая грива, не скрывавшая лукавых глаз. Петро свистнул и сказал:

— Всякий орех круглый, но не все круглое — орех. Смена ориентации? Нет. Понадобилось ей, видите ли, сделать миледи. Личное прикрытие? Что-то она задумала?

Глава VII

Козла обходи сзади, лошадь — спереди, а имама — со всех сторон.

Самарканди

Если выбить пыль из верблюда, наберется не один выюк.

Казым Казыми

В Иране принято присваивать себе громкие титулы. Скромный секретарь городской управы именует себя «Властелином дел государства», сапожник — «Художником дамских ножек».

Господин Кербелаи имел по своему высокому положению достаточно громких титулов и званий, но требовал, чтобы его называли Сарсипурдэ, то есть Метущий Головой. Подразуме-

валось, что он ничтожен перед лицом всевышнего и достоин лишь своим лысым черепом вытирать порог врат Златокупольного Мавзолея Имама Резы в Мешхеде.

Крестьяне хорасанских селений, принадлежавших господину Метушья Голова, предпочитали, конечно, за глаза называть господина Кербелай «Кость поперек горла», «Печать дьявола негде ставить», «Волк раскается, когда подохнет», «Зло от зла злых», «Коротконогий детоубийца».

Никто не видел, чтобы господин Кербелай и взаправду касался лысиной священного порога мавзолея, но молился он усердно и в полном соответствии с исламским ритуалом: на утренней заре, в час, когда солнце стояло в зените, в три часа пополудни, на закате солнца, перед отходом ко сну.

Привычка молиться сохранилась у Кербелай со времен, когда он, молодой персидский раб Муса, на рассвете бил в нагару в эмирском арке в Бухаре. Пропустить рассвет было нельзя. Аккуратность во дворце вколачивалась палками в известное место. Волей-неволей приходилось молиться пять раз в день. Кроме того, приходилось отбивать сигнал на нагаре по случаю приезда и отъезда эмира.

Так и остался бы Муса ничтожным персидским рабом, если бы не получил «повышения». В его обязанность входило призывать под дворцовой террасой приговоренных к смерти неверных жен и бить палками педерастов в Тахтагуле. Делал он это ловко, умело и заслужил благосклонность самого властителя Бухары Сеида Алимхана, обычно присутствовавшего на казнях.

Бухарская революция освободила перса Мусу из рабства и от обязанности палача. Но клеймо прошлого — очевидно, его и имели в виду крестьяне, говоря о печати дьявола, — осталось неизгладимым и теперь, когда он сделался почтенным Мусой бен Реза ар Раззаком Кербелай. Любимым развлечением господина Кербелай было присутствовать при наказании провинившихся селян. Случалось, что он вырывал плеть у неопытного доморощенного палача и зверски принимался наносить удары сам. Несмотря на тщедушное телосложение, он бил так, что человек делался инвалидом. Поговаривали, что Кербелай учинял зверские расправы в своем эндаруне над своенравными наложницами.

В просвещенном Иранском государстве великодушный шахиншах запретил самоуправство и телесные наказания. Но руки иранской юстиции не могли дотянуться до могущественного и богатейшего феодала. Неважно, что состояние Кербелай приобрел темными путями и, в частности, торговлей живым товаром. Здесь пригодился ему свой собственный опыт — тридцать лет без малого он был сам невольником, и рабство вытравило в нем человеческие чувства. Он остался рабом в душе. И теперь еще он держал всю работоторговлю на побережье Персидского за-

лива в своих руках. Фазлутдин Отчаянный был лишь его приказчиком.

Торговля живым товаром прибыльна. В гаремах арабских шейхов стоимость хорошо сложенной блондинки доходит до пятнадцати — двадцати тысяч фунтов стерлингов. Неудивительно, что из-за леди Летиции разгорелись такие страсти. По законам благоустроенного и просвещенного Иранского государства работорговля воспрещена и карается очень строго. Впрочем, высокое положение в духовной иерархии и в этом случае ограждало Метушего Головой от назойливого вмешательства юристов.

Юристов господин Кербелай не любил.

— Собирище ослов, это еще даже не одна лошадь, — говорил он. — У каждого своя тропинка, свой закон.

Кербелай управлял своими имениями одним законом — страхом, а страх — брат смерти. Голод — тоже хороший закон.

Селения голодали. В горных селениях в хижинах умирали с голоду дети. Люди забыли, как мычат коровы и блеют овцы. Поступавшие из иностранных источников в фонд голодающих партии сахара, продовольствия, мануфактуры Кербелай забирал в свои амбары. Жители селения Ардель в бесплодной степи на самом краю соляной пустыни Дэшт-и-Кевир осмелились выразить недовольство. Кербелай отобрал у них весь урожай до последнего просяного зернышка.

Недовольные скоро пожалели, что осмелились проявить недовольство.

Кербелай пришел пешком на рассвете к подножию холма в одежде нищего. Песок и вши сыпались с его лохмотьев. Воспаленными глазами смотрел он на виселицы, стоявшие на вершине холма, и смиренно молился, когда вешали мятежников ардельцев. И не пропускал ни одной подробности, ни одной су-дороги.

Все шарахались от него. Все узнавали в нем своего хозяина и владыку — Метушего Головой.

Духовный владыка держал свои вооруженные силы. Тысячная толпа крестьян стояла под дулами винтовок и пулеметов. Стеной вокруг смиренного нищего — господина Метушего Головой — теснились мускулистые, высоченные дяди мрачного вида. Их прозывали в народе хоучи — скандалисты. Его преподобие, святой, не гнушался платными услугами хоучей. Каждого, кто приближался к Кербелай, ждали страшные ругательства, зловещие угрозы. Более настойчивых сшибали с ног здоровенными кулаками.

Тяжело вздыхая, неторопливым шагом Метуший Головой поднялся на вершину холма и постоял в раздумье, пока хоучи и стражники подталкивали прикладами и кулаками крестьян поближе. Кербелай готовил крестьянам особо поучительное зрелище. Из-за него он спешил в такую даль из Мешхеда.

В окружении хоучей стоял связанный оборванный человек. Лицо его было покрыто коростой грязи. Он шатался от слабости. Горячий ветер нес на вершину холма песок и соль. В зените тяжело повисло желтое знойное солнце. Тоскливо скрипели веревки, натянутые телами повешенных крестьян. С высоты доносилось карканье воронов, почуявших поживу.

Человек в путах оказался настоящей поживой для господина Кербелаи. Ради этого несчастного, изможденного голодом, жаждой, лишениями явился Кербелаи сюда, в нищее мятежное селение Ардель. Этот человек заслужил жестокой казни. Господину Кербелаи сообщили в Мешхед, что на краю пустыни схвачен коммунист, якобы мутивший крестьян, поднимавший сельский нищий люд против помещиков. Господин Кербелаи не мог оставить дело так. На то он и Метуший Головой, чтобы выметать с иранской земли всякую крамолу.

Схваченному в пустыне коммунисту приготовили казнь пострашнее виселицы. Для него в огромной яме накалялись в огне большие камни. Господин Метуший Головой решил в назидание недовольным и свободомыслящим поджарить коммуниста живьем. Кербелаи предвкушал приятное зрелище.

Когда людей подогнали поближе, он произнес проповедь: — Собак в стадо не сгоняют, а вас, ардельцы, пришлось. Вы, проклятые, пустили на ветер честь вашего отца и благодетеля. К вам пробрался из пустыни Дэшт-и-Кевир смутьян и большевик. Вы позволили ему перебулгачить, перемутить мирных мусульман. Поберегитесь! Поднимите ваши головы. Полюбуйтесь вашими братьями. Они хорошо подвешены. Их поганные, болтливые языки высунуты и закусены в предсмертной улыбке зубами. Клянусь, если вы не смиритесь, я произведу в вашем селении такое избиение, что ваша гнусная кровь дойдет до стремени моего коня. Стоимость жизни старца и однодневного младенца станет равна одному грошу. Пророк сказал: «Если мы умираем, и дело с концом. Наши имена вычеркиваются из Книги».

Кербелаи искося посмотрел на связанного коммуниста. Вглядываясь в его лицо, он искал следов страха и отчаяния. Ему явно не нравилось, что этот изможденный человек не стонет, не вопит, не ползает у него в ногах, вымаливая пощады. Кербелаи иронически усмехнулся:

— А сейчас полюбуйтесь, что произойдет с коммунистическим смутьяном! Сейчас мы из него сделаем кебаб. Живой кебаб. И, клянусь, я заживо изжарю тех, кто попытается укоротить муки большевика хоть на минуту.

Кербелаи воздел руки и возгласил:

— Пошли же, создатель, этим обманутым ардельцам дождь милосердия. Взгляни милостиво на моих покорных селян, на милых моих барашков, плачущих и раскаивающихся.

Он снова воздел руки к повешенным, медленно покачивающимся на ветру. И явственно послышался скрип веревок, трещащих о сухое дерево.

— О создатель, благодарю тебя: ты дал мне возможность отомстить за них, пострадавших от своей легковёрности и глупости, поддавшихся злой агитации проклятого большевика.

Сотворив молитву, Кербелай добавил, что хотел бы вознаградить смирение и терпение своих верноподданных раздачей зерна, сахара и мануфактуры. Слова его вызвали даже некоторое оживление в толпе. Но Кербелай поспешил всех успокоить:

— В драке халву не раздают. Я раб народа, я слуга тех, кто мне повинуются. Я гроза тех, кто не повинуются. Мы проверим. Благоразумные получат. Упрямые не получат.

Метуший Головой приказал подвести большевика к огненно-му пеклу ямы и громко, чтобы все слышали, спросил:

— Кто ты, смутьян?

И вдруг сам ахнул и завопил:

— Проклятие! Да это господин Зуфар! О всевышний, и ты молчишь! Клянусь Абулфаизом! Что ты делаешь здесь?

С диким воплем он накинута на хоучей:

— Развязать! Освободить! Обмыть! Напоить! Накормить! Проклятые бездельники! Да я вас всех на виселицу!

Он прыгал вокруг Зуфара, тряся толстым животом, маленький, смешной, плюющийся. Слабыми кулачками он колотил здоровенных верзил хоучей, торопил их, пытался помочь развязать веревки.

Он под руку вел еле передвигающего ноги Зуфара, совал ему кумган с водой, жалобно попискивая:

— Ах, какое несчастье! Ах, какое недоразумение! Я прикажу всех виновных вздернуть на вершине холма на виселицу!

У подножия холма, сбросив рубище с песком и грязью на землю, он оказался в белоснежном «аба». Усадив Зуфара в свой подкативший, блестящий лаком и золотом «фиат», Кербелай приказал ехать как можно быстрее, дабы дать отдохновение дорогому брату по вере господину Зуфару, вырванному столь счастливо из лап мученической смерти. Он и не вспомнил, что чуть сам не предал изуверской казни «своего верного мюрида, друга и брата». Кербелай накинута на Зуфара с расспросами: где экспедиция? Где барон? Верны ли базарные слухи? Что случилось с Леверкюном, с эксцеленцем, с остальными немцами?

Он не ужаснулся. Даже не пожалел. Выразил удивление, и все. Он думал, что фашисты умны и расчетливы. Оказывается, он ошибся в них. Да и весь заговор против тегеранского правительства оказался плохо подготовленным. Немцы рассчитывали на внезапность, когда затеяли прыжок группы барона

Тенти через пустыню и переворот в столице. Болд уже десять дней в Северном Иране и рыскает по северной окраине пустыни Дэшт-и-Кевир. А раз Болд здесь—значит союзники все знают. Даже если «Рено Сахары» проскочили бы через пустыню, Леверкюна ждал полный провал. Придется начинать все сначала. А Зуфар — молодец. Выбрался.

«Если бы от яйца голос делался хорошим, то куриный зад заливался соловьем». Зуфар вспомнил эту пословицу, когда он слушал в мчащейся машине разглагольствования Кербелаи. Зуфар чувствовал себя разбитым, слабым. Он засыпал, и болтовня святого отца почти не доходила до его сознания.

Вероятно, Зуфару почудилось, но Кербелаи ударился в вопросы высокой политики. Он говорил что-то о необходимости столкновения прогресса в лице фашизма с нечестивым марксизмом. Кербелаи страшно боялся марксизма. «Марксизм—отрава для восточных умов. Марксизм расслабляет умы и сердца мусульман привлекательными идеалами..» От Кербелаи можно было ожидать чего угодно, только не рассуждений о таких высоких материях. Но Зуфар не дослушал до конца поразительные откровения Кербелаи: впал в забытье.

Визгливый голос разбудил его — Кербелаи призывал Зуфара поднять «меч гнева» против марксистов-большевиков.

— Ты фидай!— старался перекричать шум мотора Кербелаи.— Ты проявил себя! Да стану я твоей жертвой, ты — газий. Даже хорошо, что ты не вывел болванов немцев из пустыни. Они помешали бы мне. Что бы я с ними теперь делал? Пускай их кости высохнут и побелеют, а наше дело все равно победит. Скоро мы поднимем людей на большевиков.

О мой фидай, будь стойким! Тебе предстоят великие дела. Скоро, очень скоро тысячи виселиц украсят площади Бухары, Самарканда, Хивы и да воссияет истина!

Болтовня Кербелаи вызывала отвращение. Зуфар хотел было выкинуть слюнявого болтуна из автомобиля. Он с наслаждением собственноручно придушил бы этого развалившегося с важностью на подушках шагреновой кожи плюгаша. Почти физически Зуфар ощущал в своих руках липкую от пота и болячек башку господина Кербелаи. С наслаждением подмел бы Зуфар этой башкой песок у ног погибших на виселице.

Но он ничего не сделал. Не мог сделать — настолько он был слаб и беспомощен.

А в этой отвратительной дрянной голове роились планы и хитросплетения политики чуть не мирового масштаба. «Обладающий глубокими познаниями и сведениями в вопросах земли и неба», Метуший Головой фактически управлял Ираном. Некоторыми он почитался даже как поборник независимости Ирана и враг империализма. Он лично получал по радио и через связанных установки от бесноватого фюрера. Он готовил ди-

версии против Советской страны. Он провозглашал и проводил идеи панисламизма как выражение жизненных интересов буржуазии на Среднем Востоке и, будучи одним из самых влиятельных и могущественных муджтехидов Ирана, осуществлял эти идеи на словах и на деле. Имея право решать вопросы светские и религиозные, он держал в своем кулаке миллионы душ верующих.

Он связал их клятвой на коране: «Ждите, пока я жду; идите, пока я иду!». Он вдавливал в головы фанатичных невежественных подданных неизбежность и закономерность бедности. Он и сегодня в проповеди под виселицами говорил: «Береги хлеб — до лапши доживешь, береги штаны — на праздничный пир допустят». Он умел держать людей в узде и заставлять отдавать ему последний кран, чтобы их духовный владыка жил с неимоверной роскошью. Кербелаи славен, богат. Что из того, что он бывший раб, палач? Что из того, что богатство свое он нажил на торговле невольниками? Сейчас он могущественный феодал. Ему пожаловано шахом звание ильхана. Сам шах его боится. Что, например, из того, что он, пригласив старейшин семи племен на пир, преспокойно отравил их, поломав обычай гостеприимства. Он так же спокойно отправил семьям погибших по двести верблюдов — цену крови — и нисколько не стал беднее. Он не стал бы беднее, если бы отправил тысячи верблюдов, целые караваны.

Метуший Головой сказочно богат. У него на побегушках сам Сарем од Доуле, принц свергнутой Реза Шахом каджарской династии. Кербелаи возглавляет южных феодалов. Много лет он пользовался поддержкой британских империалистов. Ныне он опирается на самые реакционные элементы. У него что ни день — совещания и с темными авантюристами и с видными людьми государства. Кербелаи мечется по Ирану, готовя мятежи, перевороты. У него склады оружия. Он, блудливый трус, «тухлая башка», так его прозвал в душе Зуфар, вертит по своему капризу террористической организацией «Фидаяние ислам», кинжалы которой грозят даже министрам.

И все же одного человека Метуший Головой боится. Этот человек сэр Болд.

Связи с немцами цепко опутывали Кербелаи, к тому моменту, когда Зуфар попал к нему в лапы, старец даже бодрился: «Что нам от того, что корова пришла, а осел ушел». Но он предупредил, чтобы Зуфар не болтал. Он и разоткровенничался лишь потому, что Сефием заверила его: Зуфар — друг англичан.

Плохая змея лучше плохого друга. Приходилось проявлять всю изворотливость, на какую способен раб, ставший господином. Всомогуший Кербелаи вынужден был действовать очень осторожно. Советские гарнизоны стояли во всех городах Северного Ирана, англичане занимали юг страны.

Торопливость — посланец сатаны. Но Кербелаи спешил.

Операция «Трабезон» составляла ничтожную частицу тех обширных интриг, в которые по уши окунулся Метуший Головой.

А тем временем Зуфару оставалось терпеливо делать свое дело, ничем не выдавая свое отвращение и нетерпение. Приходилось быть вечно настороже. Разговор в машине о столкновении идеологий Кербелаи завел неспроста. Не так туп этот волк. Природу зверя может поправить только одна смерть.

Глава VIII

Мир не вручай злomu, ибо из злой природы рождается зло.

Амин Бухари

Никто не умер от проклятий. Никто не прожил и лишнего дня от благословений.

Хорезми

Метуший Головой вечно куда-то торопился. Глаза его ничего не видели. Обоняние не чувствовало. Он совсем опустил ся и принял облик нищего дервиша. Сидел днями среди вшивых облаченных в лохмотья паломников, сам завшивел, покрылся слоем грязи. Готовил сам себе пищу тут же в очажке на кизяке. Когда чистил овощи, бросал ошурки через плечо, не интересуясь, на чью голову они падали. С полным безразличием взирал на отрешившихся от мира длинноволосых дервишей, справлявших нужду тут же во дворе.

Хозяин караван-сарая за многие годы привык к грязной, зачумленной толпе и даже не держал подметальщика, не находил нужным потратить в месяц несколько «мери» на покупку метлы.

Водоем посреди двора, выложенный из дорогого мрамора еще при Аббасе Великом, превратился в мусорную яму.

Болезненно переносил грязь Зуфар. Он тоже носил по приказу Метушего Головой паломничьи лохмотья, но тайком ходил за угол ограды караван-сарая купаться по ночам в глубоком арыке.

Кербелаи по утрам очень пристально рассматривал ветхое рубище Зуфара и шипел:

— Желаяющий удостоиться звания «мешеди» не смеет убивать ни одну живую тварь, даже вошь. Понял, проклятый суннит, даже вошь!

Зуфар страдал. На своей Аму-Дарье он привык к чистоте и изобилию воды. Он с тоской вспоминал славного мешеди Алаярбека Даниарбека, с которым десять лет назад тоже попал в паломники. Но Алаярбек Даниарбек ни разу не сменил своего сияющего белизной камзола на грязные лохмотья. А господин Кербелаи, вельможа, владетель почти половины поместий Южного Ирана, глава южного духовенства, бродил по дорогам Хорасана в одеянии нищего, и от запаха, исходившего от него, шарахались псы.

И с таким человеком приходилось спать рядом на просаленной поколениями паломников ветошке и есть из грязнейшей тыквенной миски.

— Глаза мои прояснились! Ты, собака, совсем не тот! — шипел на Зуфара Метуший Головой. Видимо, он что-то подозревал.

Зуфар слишком мало рассказал о трагедии в пустыне. А Кербелаи тянул и тянул. Время шло, и жизнь в караван-сараях делалась невыносимой.

В небе пролетали самолеты. Мимо караван-сарая с утра до ночи с грохотом мчались автомобили. Проходили воинские части, и из щелки в воротах Зуфар мог разглядеть звезды на пилотках бойцов. Откуда-то доносилась музыка. Над Мешхедом стояло зарево от электрического света. А здесь приходилось сидеть в клоаке и вдыхать миазмы тысяч тел.

Раз Кербелаи со злостью заметил:

— Русский комендант — безбожник, не пускает паломников к Золотому куполу.

И выругался. Он снова пристально разглядывал Зуфара, и в глазах его было сомнение. В пример Зуфару он ставил ободранного, грязного молодого паломника с бледным лицом и мечтательными карими глазами, безропотно сносившего паломнические невзгоды и лишения.

Зуфар знал только, что молодой человек — персидский аристократ Сарем од Доуле, каджарский принц. Богатейший исфатанский землевладелец, он учился в Германии, и фашисты целиком втянули его в интриги против Тегерана и союзников.

Принц Сарем од Доуле ходит по уши в грязи, хотя и получает доходы с третьей части провинции Фарс. В его сказочном по красоте имении Кумешлю находится центр связи всех прогерманских элементов. Более того, Сарем од Доуле чуть ли не будущий иранский шах. А вот он тоже спит в грязи, ходит по нужде в угол караван-сарая и расчесывает укусы вшей. И все почему? Он послан организацией «Меллиуне Иран» в Мешхед, чтобы переправить из тайных складов оружие через границу в Советскую Туркмению — подготовиться к приходу фашистов. Сам Сарем од Доуле молчал, молился пять раз в день и бил в своих лохмотьях вшей. Зуфар не смел задавать ему вопросы.

Очень скоро Зуфар понял, что в караван-сараях есть еще люди Кербелай, возможно, целая шайка. В темноте во время своего обычного купания в арыке он спугнул какого-то типа, явно кравшегося по пятам Зуфара. Худой старец, который, казалось, находит единственную отраду в созерцании божества и молитвах и который расположился в куче нечистот в нескольких шагах от Кербелай, тоже интересовался Зуфаром. Вот уже несколько раз Зуфар ловил его любопытствующий взгляд.

Как-то Кербелай и Сарем од Доуле, воровски оглядываясь, начали пробираться к воротам среди толп паломников, теснившихся на дворе. Зуфар словно невзначай побрел за ними.

Зуфару показалось, что за ним никто не идет, и пошел быстро по пыльному хиабану, превращенному в базар для мешеди. Оба берега широкой канавы с зеленой застоявшейся водой облепили паломники, словно рои мух. Они совершали омовения, сморкались в воду и тут же рядом пили ее, набирали в жестяные чайники, полоскали исподнее. Торговцы с призывными криками предлагали дыни, арбузы, вялую зелень, виноград. Закутанные с головы до пят в синие домотканые одеяния женщины продавали разведенное кислое молоко, ячменные лепешки. Проталкивались через толпу водоносы с бурдюками на спине. Тащились группами длинноволосые каляндры, каждый с топориком и кашгулом — чашей из кокосового ореха — на боку. С грозными окриками проезжали всадники: то ли курды, то ли туркмены. На ослах везли древесный уголь для мангалов паломников. Гнали в тучах пыли курдючных баранов. Шел, очевидно, из пустыни Дэшт-и-Кевир караван дромадеров с вздытыми в широкие расшлепанные носы бронзовыми кольцами. Трудно было уследить за кем-либо в толкучке людей, выючных животных, столбов пыли и песка, но вскоре Зуфар понял, что Метущего Головой и каджарского принца сопровождают хоучи, явно прячущие в своих лохмотьях оружие.

И тут подтвердились все подозрения. Кербелай окружал себя в караван-сараях целым вооруженным отрядом своих мюридов. Куда сейчас направился Кербелай с Саремом од Доуле? Ясно, они держат путь в город. В раскаленной мари, стоявшей над базаром, нестерпимо для глаз горели золотым пламенем купол мавзолея Имама Резы и маковки двух минаретов.

Кербелай и его спутники прошли через священный квартал Саан, по тенистому бульвару и торопливо скрылись под высоким порталом с изразцовыми карнизами караван-сарая «Узбек». Зуфар заколебался. Он знал отлично этот караван-сарай, прибежище приезжего духовенства.

Предусмотрительно Зуфар небрежным шагом прошел мимо. У входа сидел старец факир. Распухшие багровые веки не мешали его глазам рыскать по лицам прохожих. За спинами прохожих Зуфар пробрался в узенькую улочку. Он счастливо ускользнул.

Все ему надоело. Скитания, грязь, игра с переодеванием, бесконечное притворство. Зуфар знал примерно, где находится в Мешхеде советское консульство. Есть, конечно, и комендатура. Мешхед входит в советскую зону.

Но что скажет Кузьмич?

Они точно договорились. Кузьмич на своем грузовике не раз находил Зуфара.

А на днях из толпы навстречу Зуфару вдруг выступила паломница с выбившимся из-под накидки бронзовым локоном и быстро сказала: «В караван-сарай «Узбек» объявились министры Трабезонского правительства. Приехал и Хамидходжа Бекмурзаев. Сефиед ведет переговоры с торговцами оружием. Болд выехал из Мешхеда в Кучан к советской границе.

Зуфар не успел и рта открыть, как паломница исчезла. Да, Зуфар должен действовать. Что проку, если он покажет на караван-сарай «Узбек» советскому командованию. Достаточно Зуфару исчезнуть — шайка расползется по щелям. Кербелаи ловок. Лучшего места для интриг, чем мавзолей Имама Резы, трудно придумать.

Священный квартал Саан — целый город. За высокой оградой — хаос скученных мазанок и домов в два-три этажа. Здесь вечно кишмя кишит народ. Священники, имамы, муллы хотят жить поближе к Золотому куполу. Тысяча двести духовных слуг — мелких мулл, сеидов, казначеев, смотрителей, разных мирз, привратников, настоятелей притворов Мавзолея — подчиняются настоятелю святыни и совершенно ускользают из-под надзора советского коменданта. А еще имеется сотен семь-восемь всяких фаррашей, конюхов, шоферов, поваров, сторожей и прочей челяди. Все они на одно лицо. Золотокупольному мавзолею Имама Резы принадлежат обширные имения, кяризы, базы, караван-сарай. Ежедневно, чтобы только прокормить всю ораву духовенства и прислужников, в ворота квартала Саан проходит караван из пятидесяти верблюдов с кулями муки.

У портала с выложенными цветной мозаикой гигантскими буквами, прославляющими царя царей, султана султанов святого Резу, в сумасшедшей карусели кружатся вереницы жаждущих приобщиться к святости святого и получить право именоваться мешеди. Пятьдесят-шестьдесят тысяч паломников ежегодно приходят к священному порогу со всех концов Ирана. Тысячи мертвецов привозятся на священное кладбище отовсюду, ибо шиит хочет лежать после смерти в земле рядом с Золотым куполом.

А господину Кербелаи все это на руку. Счастлив богомолец, которому дозволено мести двор мавзолея и лицезреть так близко Золотой купол. Счастливы восьмьдесят слуг, дежурящих еженощно в мечети при мавзолее. Блаженны те, кто удостоился служить в библиотеке святого, в больнице святого, в столовой

для бедных святого, у шести золоторешетчатых врат с золотыми цепями. Через врата даже шах не смеет проехать верхом или на автомобиле, а обязан идти пешком. Где уж тут уследить, кто проходит в квартал и кто выходит. Умен Кербелай. Хороший петух уже и в яйце поет. Лучшего места не найти. И останется лишь гадать, в каких местах в священном квартале Саан прячут оружие и происходят тайные собрания.

От Золотого купола, от священного города Мешхеда до советской границы рукой подать.

Лохмотья Зуфара, небритая уже давно борода, всклокоченный вид и благочестивое восклицание — все это открывает ему доступ в священный квартал. Поклонись трижды, лучше всего до земли, поцелуй с подвыванием пыль порога позолоченной двери, сбрось с ног шлепанцы, и ты уже внутри святыни. Как тут не вспомнить Зуфару Шахр Бану, свою бабушку, научившую его в детстве шиитским молитвам.

Возглашая вслух полузабытые молитвы, Зуфар прошел первые золоченые ворота в бронзовой решетке и тревожно вглядывался в лица паломников. Он не колеблясь перешагнул порог вторых ворот с решеткой из литого золота с множеством драгоценных камней. Зуфар не отстал от группы мешеди и провозгласил славословие святому. Он не дрогнул и у третьей золотой решетки, за которой покоится прах самого имама. Он вытащил из-за пазухи несколько монет и размахнулся, чтобы бросить их за решетку.

Кто-то остановил его за руку:

— Черный бык шкуру не сменит. Покажи! Что ты жертвуешь?

В ладонь железными пальцами вцепился старикашка факир из караван-сарая. Он следил за каждым шагом Зуфара. Рассмотрев монеты в руке Зуфара, он был явно разочарован. Монеты были настоящие. Старикашка выкрикнул:

— Бросай же за себя и за меня!

Никто не обратил внимания на них. Все выли, кричали, призывали в помощь Имама Резу, но холодный пот стекал по спине Зуфара. Старикашка факир мог одним словом погубить его. Безбожников, пробравшихся к третьей золотой ограде, побивали камнями тут же на дворе, у подножия Золотого купола.

Они возвращались вместе. Шли через базар, носящий длинное и торжественное название «Везир Низам Мал Хазрет», шли бок о бок по пыльному хиабану к караван-сарая.

Что донес господину Метушему Головой старикашка факир, о чем ему рассказывал, Зуфар не знал. Но рассказ о благочестии узбека офицера, благоговейно, к своему счастью, выполнившего весь ритуал паломничества ко гробу Имама Резы, произвел, очевидно, на Кербелай самое хорошее впечатление.

Он даже не сделал Зуфару выговора за самовольную отлучку из зловонной клоаки караван-сарая. Он во всеуслышание поздравил Зуфара с тем, что он стал мешеди и приобщился к высшей благодати.

— Отныне,— важно и высокопарно говорил духовный наставник,— ты, сын мой, быстро достигнешь в джихаде высоких званий и добычи. Звание мешеди вкладывает тебе в руку меч начальствования, войны с неверными, столь обязательной для каждого правоверного. И если ты сам не сможешь скакать и рубить, то пошли в битву своего коня. Ибо поистине в день Страшного суда на чашу весов, кроме твоих добрых дел, будет добавлена и твоя лошадь, и все, что она съела за свое земное существование, и ее испражнения, то есть навоз. О-омин!

Трудно было понять, говорит ли Кербелаи серьезно или ехидничает. Давно Зуфар заметил, что глава мусульманского духовенства Южного Ирана очень много говорит о боге, очень много молится богу, но не верит в бога.

Теперь с восхода солнца до позднего вечера Зуфар бродил у входа в караван-сарай «Узбек». Он видел всех, кого нужно было видеть. Он знал каждый шаг Хамидходжи и прочих министров. Он встретился не раз с бронзоволосой паломницей, которая передала ему привет от Кузьмича.

Паломничеству Зуфара подходил конец.

Звание мешеди облегчило положение Зуфара. Старикашка факир больше не ходил за ним. Метуший Головой, возможно, от скуки — он чего-то ждал — надоедал своими разглагольствованиями о великом будущем. Он окружал себя почтительными слушателями и проводил дни в упражнениях в красноречии и в прениях по части толкования текстов корана. Особенно он надоедал рассуждениями о причинах добра и зла и рассказами из жизни толкователей священного писания.

Внезапно все переполошились. В караван-сарай приехал сам мутавелли боши — управитель мавзолея Имама Резы. Толпы, заполнявшие двор, раздались, образовав проход от ворот к тому месту, где на куче конского навоза восседал и проповедовал Кербелаи.

Мгновенно под копытами туркменского аргамака мутавелли боши хозяин караван-сарая подмел землю. К удивлению Зуфара, и метла нашлась, и при подметании даже пыль не поднялась, потому что десятки неизвестно откуда взявшихся слуг водичкой кругом поплескали.

Сам управитель мавзолея, рослый, рябоватый здоровяк, восседал в позолоченном седле, сложив руки на толстом животе, не прикасаясь к золотой уздечке с малиново звенящими колокольчиками. Рябоватое лицо мутавелли с надменно сжатыми губами было задрано, елико возможно, к небу. Сановник никого не видел и не замечал.

Ведомый под уздцы двумя богато одетыми слугами аргамак игриво перебирал точеными ногами и заставлял слегка подпрыгивать могучую тушу мутавелли, облаченную в горохового цвета сардари с богатой обшивкой из яркого шелка, пунцовые кантаусовые шальвары, белые носки и щегольские туфли.

Среди серой, грязной толпы богомольцев аккуратный, одетый пестро и богато мутавелли выглядел удивительно пестро и пышно, за что и был награжден возгласом из толпы паломников: «Дерьмо в луже!»

Но разряженного мутавелли уже снимали с коня у самой навозной кучи, на которой все так же равнодушно и безразлично восседал Кербелай. Впрочем, он был сейчас занят делом. Едва уловимым движением он притянул жалкого запаршившего пса, обнял его за облезлую шею и принялся протирать ему своим носовым платком гноящиеся глаза. Старикашка факир протянул Кербелай бутылочку с постным маслом, и тот смазал своими руками пса, покрытого струпьями, болячками, белой паршой. Он кормил лавашем пса и восклицал при этом:

— Всякое творение аллаха чисто! Все паломничества в Мекку ничто! Из всех благочестивых подвигов это единственный, который тебе положен. Благодеяние есть добро!

Все толпились вокруг. Никто не смотрел на пышного мутавелли. Богомольцы ужаснулись: собака — поганое животное. Прикосновение к собаке оскверняет. Метуший Головой дошел до нижайшей ступени самоуничтожения. И все поняли, что на навозной куче сидит не просто паломник, не обычный богомолец, пришедший к порогу Имама Резы с обычной молитвой. На навозной куче сидел в отрепьях, в грязи, во вшах великий святой. И все кричали «хак! хак!» и вздымали руки к небу. Кричал протолкавшийся сквозь толпу нишапурец, сидевший на лошади, окрашенной хной оранжевыми пятнами. Кричала неизвестно как втершаяся в самую гущу паломников женщина в черных шальварах, укутанная в пестрое покрывало. На голове у нее высился таз с грушами, а за спиной визжали в платке двое близняшек, вторя воплям толпы. Орал продавец бобов, проложивший среди людей себе дорогу тяжелым подносом с вделанной в него жаровней, на которой в котелке кипела остро пахнущая бобовая похлебка. Орал торговец рыбой, вздымая в руках двух костистых сазанов, фиолетовых от анилиновой краски.

Блаженные напирали, толкали, перебрасывали друг другу разряженного, щеголеватого мутавелли, и роскошные одежды его серели, тускнели на глазах. Плохо бы ему пришлось, но тут толпу точно метлой смело в сторону. Вокруг помятого, засыпанного пылью и сухим навозом мутавелли выросла стена из семи здоровенных хоучей. Они громогласно пели: «Хасан, Хюсейн! Хасан, Хюсейн!»—и бичевали свои голые мускулистые тор-

сы переходящей из рук в руки четыреххвосткой из никелированных цепочек. При каждом ударе по голому телу они хрипло выдыхали «ух-ух», но Зуфар сразу увидел, что цепочки не оставляют следов на коже и что страдание, изображаемое на толстых физиономиях самоистязателей, неправдоподобно и искусственно. Лениво постегав себя по спинам, хоучи протянули свои шапки богомольцам, а мутавелли закричал:

— Они блаженные! Они возлюбленные бога, ибо до рождения он лишил их рассудка во чреве матери.

Сбор подаяний затянулся. Блаженные толкались, недвусмысленными угрозами и даже тумакami поощряя к щедрости.

Мутавелли снял туфли, взшел на коврик и упал ниц.

— Встань. Недостойно столь высокой особе зарываться носом в навоз,— сказал, выдержав солидную паузу, Кербелай.— Воссядь рядом со мной, рабом божьим, на шелк наших ковров и бархат наших подушек.

Сдержанным жестом он оттолкнул собаку и усадил на ее место мутавелли. И Зуфар и все поняли, что Метуший Головой ни во что не ставит господина главного надзирателя и хранителя Золотого купола. Мало того, хочет, чтобы все видели и знали, что жалкий оборванец, сидящий на верхушке навозной кучи, ничтожнейший из ничтожных, в глазах аллаха стоит неизмеримо выше по положению, нежели напыщенный фазаний петух мутавелли, уполномоченный и назначенный шахиншахским правительством надзирать и управлять в мавзолее святого Имама Резы.

По знаку Метущего Головой вся челядь расселась в кружок. Почитали молитву, которой дружно вторили богомольцы. Провели ладонями по бодбородкам и бородам. Мутавелли с напряженным лицом вертел в руке посох с золотым набалдашником, но никак не решался заговорить. Из толпы выдвинулся сеид с нежным нарумяненным лицом, в белоснежных одеждах. Морща брезгливо нос, он приблизился и вручил мутавелли бумагу. Чиновник облегченно вздохнул и провозгласил, читая по бумажке:

«Их высокопревосходительство генгуб Хорасана соблаговолил узнать, что вы, ваше достоинство, господин Кербелай, соизволили прибыть в Мешхед, и приглашает вас оказать ему честь, поселившись в его скромной хижине».

Он вскочил и снова пал ниц:

— О могущественный муджтехид! О столп шарията! О святой человек! Повели нам убить — и мы убьем! Прикажи нам резать нашу жену — и мы зарежем! Повели побить камнями наших детей — и мы побьем! Каждый из нас почтет за священный долг быть орудием твоей воли, о святейший!

Ни одна кошка во имя бога мышей не ловит.

Шаддат

Считает добрым делом грех, доступным — недоступное, съедобным — несъедобное, кто увлечен женской речью.

Панчантра

Паломничество изнурило, опустошило Кербелаи. Параличными пальцами поглаживал он острое кавказского кинжала и похвалялся:

— Вознесся я на убийствах, понаторел я в убийствах!

За великую доблесть почитал он жестокость в человеке, почитал мужество. Гордился, что может безнаказанно убивать, нести смерть.

Запыхавшийся, квелый, в белых запятнанных кровью штанах, Кербелаи метался меж деревьев, окаймляющих водоем. На земле трепыхались, разбрызгивая кровь, обезглавленные куры, много кур. Целая куриная бойня.

Кербелаи сипло вопил:

— Где повар? Где кухня?

Из-за стены высунулась усатая голова, поворачивала огненными глазами и заорала:

— Здесь повар! Чего угодно попечителю нашему?

— Бери! Хватай! — завопил Кербелаи и ловко принялся швырять кур усачу.

Вытирая пальцы о свои белые штаны, Кербелаи устался на вошедшего Зал Зиаэтдина.

— А, это ты, господин Летучий Клоп. Заходи. Что слышно?

Он и не думал стесняться, хоть занятие, за которым его застал офицер, отнюдь не подобало положению высочайшего духовного главы. Кербелаи хихикнул и продекламировал четверостишие Джалалэддина Абд ар Раззака: «Словно песком питается подобно змее, словно ветром живет, подобно ящерице».

— Ну-с,— продолжал он,— господин Летучий Клоп, теперь ты начальник полиции. Ты властелин воров, а я властелин религии.

Он прошел в небольшую залу с низким, давным-давно покрашенным потолком, с глиняным полом, покрытым раздерганными циновками. Мебель состояла из низенького, бесценной резьбы столика и грубой кухонной табуретки. На столике грудой валялись бумаги, неточеные карандаши.

Властелин религии уселся на табуретку и принялся ловко очинять карандаш, не обращая внимания на Властелина воров. Едва Зал Знаэтдин раскрыл рот, чтобы что-то сказать, Кербелай сорвался с места и живо ринулся во двор. На ходу он орал:

— Эй-эй, Башка сатаны, повар, кур вари с шафраном, рисом! Да смотри, чтобы гаремные шлюхи не сожрали всех ножек. Они горазды жрать!

Маленький, с кривыми ножками, большим животом, с глазами навывкате, он являлся в селения и на поля только верхом на очень высоких конях и никогда не спешивался при крестьянах. Но все домашние и близкие знали его маленьким старикашкой, беспомощным, слабым. Жизнь его изрядно потрепала. Разврат, болезни довели его до старческого маразма. Он пил возбуждающий отвар из дикой моркови. Страстью его стало раздевать девочек. Он имел столько жен, что всех их не помнил и сбился со счета. Случалось, что Фазлутдин Бардефуруш продавал ему одну и ту же девицу по нескольку раз. Сделать это было просто — поделить с ловкой девицей плату пополам. Но Кербелай лукаво хихикал и язвительно заверял, что знает цену каждой.

Больше всего он любил разыгрывать просвещенного человека, и два прислужника вечно таскали за ним связки книг. С наслаждением он мучил жен и гостей длинейшими выдержками из трактатов о морали, о высоких добродетелях.

Про Кербелай говорили, что он любит запах крови. Он знал об этих разговорах и завел себе особого слугу, который через каждые десять минут опрыскивал ему одежду из пульверизатора. Таких пульверизаторов имелось штук двадцать с различным одеколоном.

Втайне Кербелай наслаждался истязаниями провинившихся дехкан, а чаще всего захваченных на дорогах бродяг. Их по его приказу подвергали пыткам: подвешивали за ноги, били палками, жгли каленым железом. Налюбовавшись муками жертв, Кербелай спешил в свой эндарун, чтобы заняться «дозволенными» наслаждениями, как он широковещательно объявлял своим друзьям.

Любил Кербелай пугать кареоких своих красавиц рассказами о бродящих по дворцу злых духах. По ночам забирался на крышу эндаруна и через дымовое отверстие вопил что-то устрашающее. И перед этим ничтожеством Зал Знаэтдин вынужден был тянуться изо всех сил. Кербелай сидел на табурете, очиня карандаш, и ныл.

— Жены — молодые дуры, особенно Сурейя-озорница. Некому досмотреть. Да и нечего им больше делать. Кровь играет, а я уже... То есть возраст... Жены на меня плюют. И слуги плюют. Кур самому приходится резать, — он издал горлом скрипящий звук. — Хи, а что ты помалкиваешь, Летучий Клоп. Хэ-хэ!

Счастливец. Твоя англичанка тебе курочек сама режет, а? Суп варит своими руками... Заботится, а? Ну, а как она... это самое... Белое лицо, а? И тело у нее тоже белое... и тут... и тут?

Он вдруг повысил голос:

— Не по чину жена! Отобрать надо! Берегись! Тебе за твою англичанку голову оторвут. Посмотрите на него. Ему англичанка понадобилась. Своих персидских прелестниц ему мало. Все они одинаковы, болван! Только со своей миледи хлопот ты не оберешься. Взаперти держи. Летучий ты клоп, и все!

— Но она сама... И потом держу под замком...— бормотал Зал Зиаэтдин.

— Слуги! Ишаки! Собаки!— завизжал Кербелаи дико.

Вбежали сейчас же нукеры с подносами в руках. Выскочил из дверей старец и метелкой принялся сметать пыль и перхоть с воротника чухи Кербелаи. Из чулана вышли двое богато одетых юношей — один с кальяном, другой с бронзовым кумганом для омовения.

Зал Зиаэтдин все еще не решался присесть. Напрягая все свое воображение, он не мог представить, что когда-то этот дряхлый, немощный старикашка мог привлечь извращенное внимание эмира Бухарского своей чуть ли не девичьей красотой. «Ну и порезвился ты, когда сделали тебя палачом,— думал с яростью Зал Зиаэтдин,— нанюхался крови. А теперь остался тебе удел — перерезать горло курам. Сам ты мокрая курица».

Зала Зиаэтдина трясло от ярости.

И такой имеет власть и богатство. Слуги и подчиненные целовали Кербелаи руку, что преисполняло его надменностью. Он с важным видом посылал им воздушные поцелуи или прикладывал губы к своей руке. Он хотел прослыть либералом и демократом. В своей мешхедской резиденции Кербелаи жил не совсем по своей воле. Хоть он и заигрывал с Мухаммедом Насыром Кашкаи во время восстания, кочевники ворвались в его имение, разграбили дворец, разломали сундуки, растащили одежду, похитили серебро и золото. Кербелаи кинулся к губернатору астана:

«Воры, разбойники! Пропал украшенный камнями пояс, царский ковер, драгоценная посуда! Побили, растащили! Шахиншахскую постель, на которой изволил почивать сам Реза-шах, порвали. Валялись на ней с моими женами и наложницами». Порванные тряпки и побитые чашки волновали его гораздо больше, чем позор его жен. Впрочем, злые сплетники довольно красочно расписывали «базм», который был устроен во время налета. Что-то совсем не слышали воплей о помощи. Зато неслись звуки сазов, дразнящий женский смех и разнузданное пение.

Кербелаи приказал избить палками в своем присутствии кастрата—хранителя своего гарема, но во всеуслышание объявил, что ущерб, понесенный законной супругой от насилия, со-

вершенного врагами, не является причиной развода и что ему необязательно рассматривать случившееся как поношение его чести.

Почему-то Кербелай предъявил огромный счет за понесенное разорение не Мухаммеду Насыру, ильхану племени кашкайцев, а шейху Музаффару. И хотя кухгелуйе не только не грабили дворца Кербелай, но даже и прогнали грабителей из имения, губернатор безуспешно попытался взыскать убытки с шейха Музаффара.

— Господин Столп Непокколебимости,— выдавил из себя наконец Зал Зиаэтдин,— этот русский комендант связал руки нашей полиции и...

— Что?— шипел Кербелай.— Посмей только сказать, что твои псы не разнюхали, где капитан узбек. Посмей!

— Именно это я и хотел доложить. О покоряющий умы, именно это!

— Ты окончательно раскис со своей англичанкой. Нежишься с ней в постели до полудня и все прозевал.

Кербелай был не столько слаб головой, сколько слеп от спеси. Он вообразил, что одним своим мизинцем он может вернуть делами всего Ирана. Он захлебывался могуществом. А тут какой-то большевик водит его за нос. Зуфар исчез. Его не могут найти. Зуфара непременно надо найти. Он слишком много знает.

Невеста Фортуна озарила дела Властелина религии ярким многообещающим сиянием. Такое великолепное предприятие Кербелай держал в своих руках. Международное начинание. Успех его мог обеспечить властелину религии новые почести, почет, славу, быть может, пост премьер-министра Ирана. И вдруг... Он бегал по комнате, задевая каждый раз локтем стонящегося с опаской Зал Зиаэтдина. Он осыпал проклятиями циновку, о которую споткнулся. А тут он еще узрел в углу паука. А пауки приносят несчастье.

— Все против меня! Паства моя — неблагоприятное стадо; одна с ней канитель. Прибытки добываю с трудом. Обнищал и осиротел до корня. В селах молодежь развратилась. Бросает камни в мой автомобиль. Лак весь поцарапал, хулиганы! Имения истощаются. Приказчики воруют, торгуют поливной водой. Скрывают урожай!

Богатейший в Иране ростовщик Кербелай прикидывался бесребреником, скаредничал, блажил, строил мелкие каверзы тегеранскому правительству.

Делами он занимался от случая к случаю. Часто засыпал во время богослужений и приемов. Жены и наложницы открыто издевались над ним: «Тело у вас — иссохшая ветвь. Захолодали вы от пяток до лысой макушки». Кербелай всего достиг. Все имел. Его ничто не интересовало. Он пресытился. Из

состояния апатии его могла вывести лишь политика. А тут его провели как мальчишку.

Покручивая усы-стрелки, Зал Зиаэтдин испуганно наблюдал за Кербелай и ждал, когда он перестанет метаться по комнате.

Обессиленный, взмокший от пота Властелин религии, наконец, остановился перед Зал Зиаэтином и спросил:

— И?

— Ничего.

— Так-таки ничего? И твои болваны не знают?

— Не знают.

— Теперь ясно. Узбек завел в пустыню немцев нарочно. Чтобы они все там подошли. Очень опасный большевик.

— Опасный.

— Он не должен выйти из огненной ямы.

— Не должен.

— Принимай же меры.

— Сегодня видели около границы, в Гаудане, советского офицера. Очень похож на проклятого узбека.

— Летучий Клоп ты! Летучий Клоп...

Глава X

Насморк судьбы отнял у него обоняние, и он не чувствовал запаха соевов.

Самарканди

Сладкая дыня досталась гиене.

Ибн Фаттах

Для разбитой посуды место на полке не сохраняется. Зал Зиаэтдин чувствовал себя разбитым кувшином. Он попался. И попался глупо и грубо. Из Тегерана пришел приказ: «Снять. Разжаловать». Причина: выяснилось, что Зал Зиаэтдин — офицер иранской жандармерии — торговал живым товаром. Установлены были его связи с задержанным полицией работоторговцем Фазлутдином. И все из-за англичанки. Зал Зиаэтдин понял, что никакие связи не помогут. Господин Кербелай отказался разговаривать с Зал Зиаэтином. Господин Кербелай прошепелявил.

— Кто тебе, Летучему Клопу, позволил оставить ее себе.

— Но... но сам господин... э-э... господин англичанин... — Летучий Клоп даже наедине с Кербелай не посмел назвать страшного имени, — он сказал: «Делай с ней что хочешь. Продай кому хочешь. Я не желаю знать ее».

— И ты?

— Он еще сказал: «Отправь ее к чертям собачьим! Умори голодом... Дело твое».

— А свидетели?

— Мы разговаривали наедине.

Не усидев на месте, Кербелаи по привычке засеменил по комнате, шлепая стоптанными туфлями.

— Такая женщина! И почему ты не привез ее ко мне?! Уж о том, что она у меня, не узнал бы сам бог. И тебе бы сошло все с рук. А теперь как бы в Тегеране не пронюхали... Дела твои плохи. Убирайся!

Блдный, расстроенный Летучий Клоп помчался к Сефиет. Кто как не она затеяла всю эту историю?

Он рассказал ей все. Он не желает быть разбитым кувшином, для которого нет места на полке. Он не хочет из-за англичанки портить себе карьеру. Его уже прогнали из жандармерии и перевели в полицию. Чем он провинился? Он не позволит даже неземной красавице стянуть себя в пропасть...

Выслушала турчанка Зал Зиаэтдина внимательно, даже благосклонно. Она оживилась. Что ж, так и надо заносчивой англичанке...

Сефиет не выгнала Летучего Клопа. Он ушел немного успокоенный.

На ближайшем файфоклоке на вилле «Букет роз» офицер Зал Зиаэтдин почувствовал себя очень неловко. Ни с того ни с сего турчанка весьма невинным тоном задала вопрос:

— Почему вы не покажете нам своих женщин?

Поблднев, Зал Зиаэтдин вздернул плечи.

— Нет, вы определенно должны показать, — продолжала Сефиет. — Это правда, что у вас в Иране принято покупать несовершеннолетних в семьях бедняков и держать взаперти в эндаруне?

Вопрос слышали многие гости. Пришлось отвечать. Зал Зиаэтдин щелкнул каблуками и отвесил светский поклон:

— Миледи, вам я готов показать свой эндарун. Вы увидите, что все сплетни.

Сэр Гемфри Болд сопровождал Сефиет, но не был допущен в эндарун. Она оставила его покурить в гостиной на мужской половине. Жилище Летучего Клопа находилось на пустынной улице, к тому же плохо вымощенной торчащими угловатыми булыжниками. По такой мостовой жаль гонять дорогой «мерседес». Но запущенный снаружи дом оказался богатым, благоустроенным. Позади гостиной и комнат для гостей раскинулся апельсиновый сад. Через него шла заросшая травой и бурьяном аллея в здание эндаруна. Калитку охранял евнухоподобный привратник. В полутемной прихожей два караульных в полной военной выкладке и при оружии вскочили при появлении Зал

Зиаэтдина и Сефиет в стойке «смирно». Вдоль стен прихожей и длинного коридора штабелями лежали ящики с патронами, винтовки, пулеметы.

Бормоча извинения, Зал Зиаэтдин под руку ввел леди Болд в богато отделанный резьбой по алебастру зал.

Несколько больших столов были завалены географическими картами, кипами бумаг. Тут же стояли пишущие машинки.

— Я бы показал вам своих девиц... хэ... несовершеннолетних,— жалобным тоном проговорил офицер,— но они уже закончили работу и разошлись. Лучше скажите, Сефиет, зачем шум?..

— Миледи! Господин Летучий Клоп,— поправила Сефиет и ударила больно полицейского по руке веером.— Вы забываетесь! Леди Болд, а не Сефиет...

— Примите извинения, миледи. Простите, миледи... Но мне и так неважно. Извините! Зачем вы хотите натравить на меня английскую военную полицию?

Усевшись с удобством в кресле, Сефиет принялась перебирать бумаги.

— Вы болван, дорогой, клянусь Айшей. Вы глупы. Вы провалитесь сами и провалите всех нас. Зачем вам понадобилось держать ее в Исфагане? Зачем вы ее притащили сюда? А если она вырвется? А если даст знать? Если напишет письмо?

— Невозможно.

— Что ж, она примирилась, покорилась?! Глупости! Неужели вы не могли оставить ее в горах? Что за нетерпение? Свиньи вы все, мужчины. Болваны!

Она помолчала.

— Я и затеяла всю эту комедию с «несовершеннолетними», чтобы заткнуть рты сплетникам. Но предупреждаю: сорветесь — пеняйте на себя. Вы сами сказали: разбитую посуду хозяйка в доме не держит. Ну, а теперь покажите мне ее. Где тут вы прячете эту разбитую чашку?

Она скоро вернулась к скучавшему в гостиной сэру Болду. В глазах ее сияло торжество и удовлетворение. Зал Зиаэтдин проводил ее на мужскую половину.

— О, сэр Гемфри,— сказала она сладеньким голоском,— все это сплетни, сплетни и еще раз сплетни. Я потеряла только время. Но я очень довольна визитом в эндарун господина Зал Зиаэтдина. Я познакомилась с очаровательной молодой женщиной. Господин Зал Зиаэтдин изволил обзавестись новой супругой. Поразительно повезло Залу Зиаэтдину. Это так редко, чтобы у перса супруга была блондинкой. У супруги господина Зал Зиаэтдина очаровательный румянец. Вот только носик у нее красноват.

Она повернулась к Залу Зиаэтдину и погрозила ему кокетливо пальчиком:

— Наверное, вы тиран. Ай-ай! Уж не обижаете ли вы вашу нежную супругу? Не заставляете ли вы ее плакать? Вы, точные люди, азиаты, так жестоко обращаетесь со своими женщинами. Боюсь, что ваша очаровательная блондинка слишком часто проливает слезы. Нехорошо, не правда ли, сэр Гемфри?

В ответ послышалось неразборчивое рычание. Сэр Гемфри Болд не расположен был продолжать беседу по поводу семейных нравов персов. Он грубо взял под локоть Сефиет и потащил ее к выходу. Едва ли он испытывал угрызения совести. Он сознательно свел счеты с леди Летицией, предпочитал вычеркнуть ее из своей жизни и памяти начисто. А Зал Зиаэтдин — орудие его мести — вызвал в нем ярость и отвращение. Кланяясь, щелкая каблуками, ожесточенно звеня шпорами, Зал Зиаэтдин вприпрыжку бежал за гостями до автомобиля. Он согнулся в глубоком поклоне и долго провожал ненавидящим взглядом «мерседес», прыгавший по торчащим камням плохо мощенной улицы.

Он не мог никак прийти в себя. В смятенном его воображении мелькали воинственно ощеренные клыки Болда.

Тяжело передвигая ноги, Зал Зиаэтдин вернулся в дом. Он больше, чем когда-либо, походил на еле ползущего летучего клопа.

Он понимал, что все так легко не кончится.

Стяжатель, лихоимец Летучий Клоп уже немало лет занимался перепродажей виноградников, домов, кяризов. Он зарабатывал кран на кран.

— Мы живем скромно. Принцип у нас: кошка на шее верблюда. Знаете — из анекдота. Верблюд стоит один динар, кошка на шее верблюда — десять тысяч динаров. Отдельно верблюд не продается.

Так поступал и Зал Зиаэтдин с недвижимостью. Селение со всеми жителями — тысяча туманов. Виноградничек, совсем крохотный на краю селения, тридцать тысяч. Отдельно селение не продается.

Продажа селений на время войны запрещена. Летучему Клопу пришлось туго. Пришлось поискать другие источники дохода. Конечно, Зал Зиаэтдину — офицеру шахиншахской жандармерии, благородному человеку — торговать живым товаром не подобало. Могли разжаловать. Зал Зиаэтдин торгует галантереей, женскими шемизетками. Но изящнейшая, чудесная шемизетка парижского производства продается по сходной цене. Скажем, за тысячу туманов. Но шемизетка надета на женское существо и без женского существа не продается. Ясно. И все же осмелились обвинить жандармского офицера в недозволенной торговле живым товаром.

Летучий Клоп плакал одним глазом, а смеялся другим. Он доказывал, что с точки зрения ислама никаких нарушений нет.

Что проклятый Запад слишком извратил законы. Он приводил цитаты из корана: «Женщина делается собственностью сражающихся с момента захвата».

Зал Зиаэтдин втолковывал коранические истины леди Летиции. Ее нежно-розовая кожа и золотые волосы притягивали его. Но он боялся. Он трусил. Ведь она англичанка, а перед англичанами Зал Зиаэтдин привык пресмыкаться.

Предупредительно он разъяснил леди Летиции: «Стоимость женщины зависит от красоты, а также оттого, девственна она или нет».

И когда леди Летиция, обливаясь слезами, обвиняла его, культурного, получившего европейское образование офицера, в дикарстве, он утверждал, что культура христианства прямо противоположна культуре ислама. Что хорошо в христианстве, плохо у мусульман.

Его меньше всего остановили бы слезы леди Летиции, обвинения его в варварстве. Гораздо более существенным было, что его внезапно выдворили из жандармерии и направили на должность начальника полиции захолустного Нейрабада. Еще страшнее был Болд с его клыками и длинными павианьими лапами. Зал Зиаэтдин знал, что Болд, если пожелает, достанет его и на земле, и под землей.

Одна Сефие могла заверить Зал Зиаэтдина. Он решил, что турчанка ошипала цыпленочка. Теперь с Болда сойдет весь форс, походит он голенький.

За спиной Болда решались злословить лишь вполголоса. В лицо же все приятно улыбались. Исфаганская знать сочла за честь принимать молодых людей с блеском и хлебосольством, достойными принца и принцессы. Вопрос о религии никого не беспокоил. По секрету передавали, что супруг не настаивал на том, чтобы Сефие изменила исламу.

«Сэльсэлей и данбон» — так называли в Иране сэра Болда. Труднопереводимое выражение. Оно, примерно, значит — «Ворота событий». Даллас Рокфор поздно это понял. Ему следовало считаться с Болдом. Далласа низринули с высоты. Его постная физиономия — стертая монета — стала еще более стертой. Она бледно маячила среди оживленных гостей на завтраках, в честь новой леди Гемфри, но только маячила. Шутка его: «Красавица кривляка остается кривлякой, даже если на голову надеть ей диадему герцогини» — встречена была холодно.

Он ревновал. И все видели, что он ревнует.

Сэр Болд вел себя непонятно. В дни восстания кашкайцев все показывали пальцем на Сефие. Она действовала с вызывающей откровенностью. Она сделалась душой антибританских кругов. Болду ничего не стоило прихлопнуть фашистскую агентуру и убрать Сефие.

Сефие прихлопнула Болда. Теперь она шлифовала британ-

скую политику. Она вертела Болдом без всяких церемоний. И умные люди сочли это признаком серьезных событий. Сопоставляли исфаганские новости с событиями на фронтах в России. Многие полагали, что Сталинград падет с часу на час и Британия изменит курс. А сэр Болд бездействовал, предавался усадом медового месяца просто потому, что он мог в любую минуту повернуть события в нужное ему русло. Он держал железной рукой господина Мирзу за холку и мог направить ружья кашкайцев куда ему заблагорассудится. И не только кашкайцев. Он знал, когда пришпорить лошадку. Арабские шейхи, белуджские вожди, бахтиарские ильханы, курдские короли не спускали глаз с дирижерской палочки сэра Болда.

Слишком поздно понял это преподобный Даллас. Он и взаправду поверил, что держит в своих пальцах все нити. Поздно понял Даллас, что был лишь растопкой для костра, который разжигал Воротила событий — резидент правительства ее величества в Исфагане.

Сэр Болд ворочал событиями. Он оставался хозяином положения. Он посмеивался, когда ему говорили про фашистов в кочевьях кашкайцев. Он откровенно спаивал господина вождя кашкайцев Мирзу Кашкаи коньяком и подсовывал ему хорошо сложенных блондинок, доставленных из Бахрейна бардефурушем Фазлутдином в виде возмещения за неудачу с леди Летицией. Он даже поставлял кашкайцам небольшие партии оружия в обмен на ящики с опиумом. Не надо думать плохого — сырец-опиум предназначался для фармацевтической промышленности Англии. Кашкаи сидел пьяненький, блаженненький в шелковом шатре, лаская блондинок и правя своим народом.

Очень беспокоил сэра Болда шейх Музаффар и его луры. Болд рвался к шейху Музаффару, искал его дружбы. Не проходило и недели, чтобы черный «бьюик» англичанина не оставался у шерстяного чадыра вождя кухгелуйе. Ежедневно сэр Болд практиковался с шейхом в стрельбе из пистолета. Сэр Болд был исключительно метким стрелком. Но, увы, сэру Болду не удавалось вызвать кочевника на откровенность.

Глава XI

Колдун гибнет от собственного колдовства.

Самарканди

Сефиет открыла рот недоумения и приложила пальчик удивления к бутону губ, когда утром сэр Болд ворчливо предложил:

— После завтрака мы едем к шейху.

— Ложе новобрачных — не место для глупых шуток, сэр Гемфри, — рассердилась леди. Она пила в постели кофе, а сэр Болд, в старом китайском халате, распахнутом на заросшей шерстью груди слонялся по спальне, отчаянно дымя вонючей трубкой.

Незамедлительно Сефием объяснила, почему предложение супруга она считает оскорблением. Но Болд прервал ее и сказал:

— Оскорбитель всегда ненавидит оскорбленного. Не ты ли оскорбила Музаффара, задела его мужскую честь, обманула его и чуть не помогла ему отправиться в мусульманский рай. А теперь считаешь нужным изображать из себя святую Цецилию. Пустяки. Поехали. Мне он нужен.

По мнению Сефии, ехать было просто рискованно. Музаффар — дикарь, а дикари бурлят местью.

— Ерунда, — грубо сказал сэр Болд. — Романтика! Сентименты. Если бы ты была девственницей и удрала бы из гарема мусульманина, тебя бы засунули в мешок и утопили бы. Но ты же... Одним словом, пока ты со мной, тебя он пальцем не тронет...

Через час, когда Сефия, накрашившись и напудрившись, привела себя в полное соответствие с идеалом восточной красоты, они ехали в ослепительном «роллройсе» в горы в кочевье кухгелуйе.

Очевидно, их ждали. Их встретили у входа в ущелье торжественно.

По горным тропинкам чета Болдов ехала на великолепных, не терпевших спокойного аллюра конях. Их вели под уздцы сыновья кухгелуйских старейшин.

Все воины выстроились у шатров и дали семь залпов в честь знатных гостей. Музаффар собственноручно снял Сефию с седла. Он не вонзил ей в сердце кинжала, чего она откровенно опасалась. Ее немного разочаровал этот дикарь Музаффар. Она удивилась. Мог же он хоть разок сжать ее своими железными руками. Нет, он бережно опустил ее у входа в шатер и в высшей степени вежливо, вполне по-европейски провел ее под руку на место почета и уважения. В высшей степени любезно встретил он и сэра Болда.

Подали на суфру неизменные традиционные пирамиды жареной баранины, окруженные горами риса. У Сефии округлились глаза. Она шепнула:

— Там отравы, кланюсь Айшей!

Но никакой отравы там, конечно, не было. Сэр Болд мрачно пошутил:

— Если есть яд, то вот тут.

Он показал на бараньи головы, уложенные посреди блюда так, что шерстистые коричневые уши, похожие на блеклые листья, свисали над рисом, политым кипящим бараньим салом.

Хозяин пира усиленно приглашал гостей отведать плова. Гости церемонились и уступали друг другу честь первому прикоснуться к плову.

Предполагалось, что самый важный гость — сэр Гемфри Болд, но Сефиет думала иначе. Она засучила длинный рукав платья — турчанка предусмотрительно оделась очень строго — и погрузила пальчики с накрашенными ногтями в рис. Словно по команде, все принялись жадно есть. Водворилось молчание — признак, что угощение одобрено.

Вожди наперебой ухаживали за гостями и друг за другом. Огромные, сочащиеся соком и жиром куски громоздились перед Сефиет. Она исподлобья поглядывала на Музаффара, на его кухгелуйе, желая найти в их поступках, жестах что-нибудь оскорбительное. Но нет, она оставалась самой уважаемой, самой почетной гостей. Шейх Музаффар держал себя безупречно. Он ничем не походил на обманутого безумца, который бегал с отточенным мечом тогда ночью по обширным апартаментам в поисках турчанки.

Пир продолжался. Все шло прекрасно.

После кофе и приятной беседы сэр Болд и Музаффар состоялись в стрельбе из пистолета. Неприятное, щемящее чувство полной беззащитности и беспомощности испытывала Сефиет, принося и показывая мужчинам метко пораженные мишени. Шейх Музаффар неизменно извинялся, что они заставляют нежные ножки топтать по острой щебенке столько раз. Нагрузившийся коньяком, сэр Болд грубил: «Ничего, талию пусть бережет, разжирела курочка». Ей показалось, что глаза шейха Музаффара потемнели. Сердце сжалось. Пришла очередь стрелять шейху. Каждое мгновение превращалось в пытку. Сефиет запросилась домой.

Перед самым отъездом произошло замешательство. Снова Сефиет почувствовала холод в груди. Она слишком высоко расценивала себя, свое женское обаяние. Унизительно было бы, если бы ею пренебрегли. Безразличие шейха Музаффара ее возмущало. Посещение заканчивалось, а ничего не произошло. Неужто шейх оказался, как говорят персы, «холезанак» — «мужчина-баба».

И вдруг шейх Музаффар, когда они уже сели на коней, сказал:

— Не окажет ли высокочтимая мадам Сефиет снисхождение нам? Не пожелает ли мадам глянуть на нечто любопытное?

Сердце Сефиет дрогнуло. Начинается.

Сэр Болд пробормотал:

— Давно пора!

Оказывается, он забыл сказать супруге, что они поехали к шейху сегодня не затем, чтобы есть плов с бараньими ушами.

Вот оно, чего так ждала и чего боялась Сефиет! Сердце у нее замерло.

Километрах в трех от выхода из ущелья у подножия вы-

жженного бурого холма, в полуразвалившейся казарме их встретил полицейский офицер Зал Зиаэтдин. Весь он блистал и сиял. Блестели его совершенно невообразимые по изяществу сапоги. Его щегольской мундир источал изысканный аромат дорогих духов. Его усики-стрелки могли сразить самую требовательную красавицу. На фоне лысых холмов, серой степи, глинистых обрывов облик Зал Зиаэтдина производил просто неприличное впечатление.

При виде Сефиет он растаял и понес:

— Увы, всем прекрасным условиям цивилизованного общества наши дикие кочевники предпочитают навоз. Они, пардон, стоят по уши в навозе. Предпочитая свободу безначального существования, они предаются звероподобному шмыганию по пустыне. Вместо того, чтобы жить честными подданными шахиншаха, дни свои губят в одуряющей одичалости.

Зал Зиаэтдин щелкал каблуками, звенел шпорами и всячески показывал всем своим видом, какой он культурный и цивилизованный.

Он считал блаженством и высокой честью поддерживать под столь престельный локоток столь изысканную даму на узкой тропинке, ведущей к небольшому сарайчику за казармой. Позади шагали шейх Музаффар и сэр Болд.

Зал Зиаэтдина возмущали дикари-кочевники:

— Десять, двадцать тысяч дикарей пусть гибнет! Если власть в провинции оказалась бы вдруг в руках несчастных оборванцев, нам, цивилизованным людям, пришлось бы целовать им ноги. Культурному, образованному человеку жить среди кочевников неумоготу. Прошу вас, мадам. Минуточку, позвольте, я прикажу открыть дверь. А теперь — смотрите!

Сдержать возглас ужаса и отвращения турчанка не смогла. Она много видела отвратительного на своем коротком веку, но такое...

Сефиет смотрела, задыхаясь. Ее била дрожь, но она не могла отвернуться, закрыть глаза. Пусть ее тошнит, но смотреть, смотреть!

Офицер привел их на склад голов, отрубленных человеческих голов. Осторожно, чтобы не запачкаться, он натянул перчатки и распахнул широкие двери сарайчика. В другой руке он держал белый надушенный платочек и тут же приложил его к носу. От неожиданности запаха тления Сефиет не почувствовала сначала. Она ждала чего угодно. Мысли ее были направлены в иную сторону. Сефиет думала о шейхе Музаффаре. Неожиданность ее потрясла.

Застыв, Сефиет стояла на пороге склада голов и смотрела на кучу голов, лежавших на окровавленной соломе. Кто-то подостлал соломы, чтобы головам было удобнее лежать.

Пока Сефиет видела головы вообще, много голов, она чув-

ствовала лишь отвращение и дурноту. Но вдруг что-то знакомое почудилось ей в замазанных глиной, сукровицей, в белых пятнах соляной корки головах. Но она еще не верила, не хотела верить.

Элегантно отставив мизинец, Зал Зиаэтдин сунул свой полированный стэк в самую кучу и выгреб одну голову к порогу. Голова катилась совсем как мяч, безобразный, косматый, залепленный глиной мяч.

Сефие т вскрикнула. Она узнала. Узнала по длинным галльским усам.

У ее ног лежала голова барона Тенти дю Кастанье, бельгийского аристократа, путешественника, коллекционера. Смерд пошел сильнее.

— А вот еще,— сказал офицер, не отнимая надушенного платочка от лица.— Вот еще голова. А вот и еще.

Тяжело видеть мертвыми на смертном одре, в гробу тех, кто еще вчера разговаривал с тобой, смеялся, отпускал комплименты, шуточки. Тяжело, грустно. Но тысячекрат тяжелее видеть останки знакомых, друзей на... складе голов.

Из груды голов офицер, не теряя изящества, не забывая галантности, выгреб еще отрубленные, почерневшие от тления головы Леверкюна, эксцеленца, фашистских офицеров, погибших в соляной пустыне Дэшт-и-Кевир. Голова эксцеленца все еще топорщила круглые щеки и щетинилась усами.

— Зачем?— простонала Сефияет.— Зачем вы меня сюда привели?

Замирая, она искала еще одну голову. О, если она увидит ее...

Сефияет душил приступ тошноты. Она умрет, сердце не выдержит. Она искала голову Зуфара и не могла найти. Она не смела спросить.

Она повернулась к шейху Музаффару. Кулачки ее тонких рук сжались судорожно. Но Зал Зиаэтдин счел, что она спрашивает его, и воскликнул галантно:

— Мадам, кто не хочет слышать шума, натягивает себе на голову свою хирку. Мы воины, мы слуги бога Марса. Мы смотрим в лицо опасности. Пусть дикари видят и устрашаются. Нам, людям цивилизованного общества, приходится укрощать дикарей дикими методами.

— Но они!— бормотала Сефияет.— Они... Барон... Генерал! Экспедиция... Они...

Сефияет так и не посмела спросить про Зуфара.

— Мадам, ничего не поделаешь. Сабли дикарей не делают разницы.— И он продекламировал:— «Мечу палача, что шея разбойника, что шея властелина,— все одно».

Да, Зал Зиаэтдин мог блеснуть незаурядной образованностью.

Он поспешил разъяснить, что такие склады голов созданы на территории южных астанов по его инициативе. Почин получил одобрение в Тегеране. Острастка — великая воспитательная сила.

— Уведите меня, — шепнула Сефиет, — я упаду сейчас.

Всей тяжестью тела она опиралась на руку шейха Музафара. Он любезным тоном предложил:

— Но, госпожа, вы не видели самого интересного.

— О!

— К чему приводит коварство! — И он приказал офицеру: — Показывай, Летучий Клоп! — Шейх грубо втянул упирающуюся Сефиет в сарайчик. Задыхаясь, замирая от страха, Сефиет споткнулась о голову барона. Она вскрикнула. На крик ей ответил слабый стон. В углу, за грудой разлагающихся голов, в сумраке шевелилась белая нагая фигура. Грязные космы седых волос падали на провалившиеся глазницы. На тощих, скелетообразных руках и ногах гремели цепи.

— Даллас? — смогла Сефиет выдать из себя. — Что с вами?

— Ты, ты, шлюха, — забормотал преподобный Даллас.

Тогда, давась от смрада, заговорил офицер:

— Он оскорбил чувства верующих. Он осквернял юных мусульманок, растлевал девочек и мальчиков на пороге мечети. Ему выколют глаза, отрежут нос, выдернут зубы, четвертуют... по приказу святейшего Муса бен Реза ар Раззака Кер-белаи.

— Не смейте!

Даллас рычал, гремел цепями, выл.

— Я подданный Соединенных Штатов. Не смеете!

Молодая женщина не помнила, как оказалась на воздухе. У нее хватило сил попросить:

— Освободите его!

Но Даллас был ей безразличен. Она думала о другом, но не решилась... Она так и не спросила о Зуфаре.

Сэр Гемфри Болд молчал. Как никогда, его лицо было похоже на ощеренную злобную морду павиана.

Шейх Музаффар вырвал узду коня из рук лура и собственноручно подвел коня к Сефиет. Он буквально швырнул ее в седло и сунул ей поводья в руку.

Летучий Клоп бежал рядом всю дорогу до «роллройса». Его великолепные сапоги потускнели от пыли и соли. Он жаловался на неприятности службы в пустыне среди невежественных жестоких дикарей. Он говорил, что войны и мятежи возродили тупое зверство, что людей в Южном Иране бросают в котел с кипящим маслом, «причесывают» железными машинами от головы до пят, отрывают головы быками, как во времена тиранов Хаддажада, наместника Ирака при омейядских халифах.

— Но,— заверил Летучий Клоп,— моя просвещенная натура восстает против зверств. Я за гуманную казнь. К сожалению, у нас нет электрического стула. Но, уверяю вас, американский поп умрет легко. Завтра ему спокойно отрубят голову.

Мысленно Сефием увидела голову преподобного Далласа в гряде гниющих голов. Никаких больше чувств она не испытывала. И по необъяснимому капризу воображения ей персидский офицер Зал Зиаэтдин вдруг представился настоящим, огромным летучим клопом с блестящими зелеными надкрыльями, распахнутыми над грудой гниющих черепов... И среди них... вдруг окажется голова Зуфара. Сефием не смела даже себе признаться, кем был для нее он...

Когда Зал Зиаэтдин целовал галантно на прощание руку Сефием, она откинулась на сидение и потеряла сознание.

Сэр Болд был очень доволен. Чувства его были удовлетворены.

Два верблюда дерутся — собаку раздавят. На Востоке это предостережение тем, кто лезет не в свое дело.

«Мое имя Даллас, преподобный Даллас Рокфор. Я постоянно общаюсь с богом. Общение с такой высокопоставленной особой порождает сомнение».

Преподобный Даллас считал себя непогрешимым, но... «залезла лягушка на кочку — Кашмир увидела». Это тоже восточная поговорка. Человек переоценил свои силы. Или, быть может, Даллас немного раньше попал на Средний Восток, чем надо. И Восток оказался ему не по зубам. Два верблюда дрались. Они не слышали лая собаки. И растоптали собаку.

Человек читает то, что знает, курица клюет то, что видит. Преподобный Даллас уже много лет шагал по Востоку с библией и молитвой, важно и торжественно шел по путям, проторенным в течение столетий иезуитами на Востоке.

Начинали итальянцы, продолжали французы, в начале века появились американские миссионеры. Грубо говоря, на Востоке крест имеет запах нефти. Пока что Даллас и ему подобные клевали по зернышку наследство, оставленное предшественниками.

Ислам всегда был непримирим к христианству. Но в тысяча пятьсот восемьдесят третьем году в Стамбуле обосновался монашеский орден капуцинов. Нет, капуцины не собирались обращать мусульман в религию Иисуса. Они открыли сеть школ, основали благотворительные учреждения, сиротские дома.

Постепенно тихие, скромные капуцины проникли в восточные вилайеты: Сивас, Самсун, Киликию. В Бейруте открылся медицинский факультет. Доминиканцы обосновались в Месопотамии, францисканцы — в Трабзоне.

Столетиями шла тихая подтачивающая работа.

По зернышку клевал и преподобный Даллас. Он появился

на Востоке давно. Он прошел через всю Турцию. Он много видел и много претерпел. Иные из миссионеров — его учеников и сподвижников — сложили головы в бурные дни армянской резни, христианских погромов в Сирии, Ираке, Курдистане. Он сам уцелел, приобрел опыт. Слово божье приносило ему среди провокаций, пожаров, убийств счастье и покой.

Теперь слово божье понадобилось в Южном Иране. Почему именно сюда направил свои стопы преподобный Даллас Рокфор? Он держался смело и даже нагло. Он приехал вовремя. Или хозяева Рокфора прислали его как раз ко времени. Два верблюда дрались за Средний Восток, два империализма — Британский и Германский. Наступило время вmeshаться в драку. Опыт обращения со словом божьим подсаживал, что упускать время нельзя. Верблюды изнемогали. Собака скалила зубы.

Спросили: «Твоего отца кто убил — пеший или конный?» Ответил: «Убили. Так не все ли равно, пешие ли, конные ли». Даллас хорошо усвоил восточную мудрость. Много лет он жил среди восточных людей. Неважно, кто и как убьет британского верблюда и фашистского верблюда. Крестом ли, винтовкой ли.

Его послали сюда расшатать, а если можно, то и развалить здание британской нефтяной империи. Он — член Ордена Иисуса, иезуит. Ему сказали еще там, дома, за океаном: член Ордена иезуитов не машет саблей, не стреляет, не кидается на жертву с кинжалом. Иезуит вооружен логикой господней... Даллас прежде всего политик. Он должен ослабить, уничтожить противника не ножом или пулей. Есть оружие поострее: своеобычное толкование событий, непроверенные новости, натравливание друг на друга, запугивание, провокация, клевета, умение поссорить друзей, бросить семена раздора и ревности в семью, просветить разум сына, чтобы он увидел нагимизм своего отца и мать, посеять сомнения в верности союзника. Цель оправдывает средства. Все во славу божию!

Кто был богом Далласа Рокфора? Он не сказал бы этого и на исповеди. Но он одно знал: богу негодно то, что нефть принадлежит на Среднем Востоке Британии. Бог хочет, чтобы нефтяные поля Южного Ирана попали в верные руки.

Бог или боги сподобили преподобного Далласа многим искусствам—искусству убеждать и уговаривать; искусству поворачивать события; искусству оставаться равнодушным при виде несчастья.

Даллас Рокфор поселился в Исфагане. Он славил господа. Он славился делами благотворительности. Чеки на самые солидные суммы в самые солидные банки мира он вручал в солидных домах раньше, чем визитные карточки. Чеки говорили о еще одном искусстве, дарованном ему господом: об умении находить дорогу к душам и сердцам людей. Всех восторгала щедрость Далласа.

А верблюды дрались.

Когда сказочные богатыри в поединке изнемогают, нередко кто-то из недругов одного из воинов тайком сыпает на землю просо. Оно скользкое. Один из богатырей обязательно поскользнется и погибнет.

Между просом и золотом мало сходства. Разве только — и то и другое блестит. Золото, которое сеял в Южном Иране его преподобие Даллас Рокфор, заменяло просо, Даллас подсыпал под широкие лапы верблюдов не просо, а доллары. И ждал: кто-то, а поскользнется.

Вот тут-то и приходит на память история с лягушкой, забравшейся на кочку. Даллас думал, что он залез высоко и видит все далеко вокруг.

Красный перец «только попробуешь, сразу ощутишь его горечь». По крайней мере вкус не обманул кое-кого. На Востоке людей раскусывают быстро, с первого взгляда. «Торопливый посланец дьявола!» — где-то кому-то сказал сэр Болд про Далласа.

Собака слишком близко подошла к дерущимся верблюдам. Ее растоптали.

Глава XII

Сотри ноги в кровь, разбей лоб
об пол, но не обойдешь предначертан-
ного.

Мир Аммон

Иду я тем путем, куда меня гонят,
конечно, потому-то называют меня
стоячей водой.

Низами

Нарушать приказы Гельмута фон Крейзе не рекомендовалось. Ни под каким видом. Крейзе смотрел на десять локтей под землю.

Пот солеными потоками слепил глаза, сердце трепыхалось перепелкой, и Хамидходжа бежал рысцой туда, куда бежать ни в коем случае не следовало.

Крейзе, восставший из песчаной могилы, щурился зловеще: «Собирайтесь! Уезжайте! Язык держите за зубами!» На почерневшем от пустынных ветров лице Крейзе белели белки глаз. Хамидходжа лишь ежился под прищуренным взглядом полковника. Пот липкими струйками бежал по спине.

Немец весь покривился, лицо его скособоилось. Фон Крейзе наверняка думал: не сделать ли ишана нежелательным. О, проклятый пес и сейчас отлично знает, куда побежал он.

Ишан не сбавлял шага. Ему во что бы то ни стало надо видеть Сефиет. Без совета Сефиет нельзя уезжать. Сефиет

должна знать. У Сефиет не должно возникнуть ни малейшего подозрения. Когда Сефиет прищуривает свои сатанинские прекрасные глазки, это даже поопаснее, чем скособоченная физиономия Крейзе.

Ишан бежал по жаре и пыли к Муслиму Турсунбаеву. Один лишь Муслим мог устроить ишану свидание с Сефиет. Прекрасная турчанка так занята своим положением миледи, что ни с кем не желает встречаться и забросила дела Трабзонского правительства. Она забыла совсем про Хамидходжу и ни разу не разговаривала с ним со времени приезда в Мешхед.

Еще был в Мешхеде Зуфар, который мог помочь, но ишан не знал, где его искать.

А Зуфар сидел у Муслима в номере гостиницы «Лев и солнце» и с недоумением, смешанным с жалостью, разглядывал странную фигуру в большущей чалме, черном одеянии из грубой неказистой ткани, восседавшую на пятках в углу за кроватью и бормотавшую что-то невнятное.

Когда пышущий жаром и потом Хамидходжа ворвался в номер, чалма поднялась и он узнал в молящемся самого Муслима Турсунбаева. Хамидходжа онемел. Он не мог понять, что происходит.

— Заскок!— сказал Зуфар.— Муслим находится в состоянии «кабз» — его дух соединился с духом аллаха. Муслим ни с кем не разговаривает. Он ждет, когда на небо снизойдет «баст» — то есть состояние раскрытия души. Но что-то у него не получается.

— Мне надо с ним поговорить,— простонал ишан.— Мне надо найти госпожу Сефиет. Срочно! Немедленно! Господин Турсунбаев! Где госпожа Сефиет?

— Не выйдет. Разве подобает мусульманину говорить о жене мусульманина и тем более устраивать свидания с мусульманином? А тут еще «кабз» и «баст».

Ясно, что Зуфар смеялся над Муслимом, просто издевался.

Из-за угла за кроватью слышалось какое-то гундосое бубнение.

— На него просто нашло что-то,— сказал Зуфар.— Провозгласил себя мюридом нашего святого Кербелаи, отказался от развлечений, от водки и коньяка «камю», расшвырял нищим все деньги, объявил себя бессребреником. Одежду не выбирает, одевается во что придется. Сказал, что желает во что бы то ни стало получить должность помощника господина Кербелаи.

Но тут Муслим вдруг завозился в своем углу, поднялся во весь рост и загундосил:

— Разврат и нечестие! В доме распутницы расходуется столько сахара и леденцов, будто все жрут лишь одни сласти. О треплющая свой подол по чужим порогам, ты пожираешь у меня живого мою печень! В час, когда вострубили трубы мести,

ты лишаешь человека спокойствия и хладнокровия. Я раздел тебя в роскошные наряды, водил тебя на пиры, а ты, неблагодарная, наступила мне на горло и препятствуешь моему делу.

— При нем нельзя произносить имя его бывшей супруги,— тихо заметил Зуфар.

— А я думал, он кукнара наелся. У нас в Самарканде, в Кызыл Кургане, кукнаристы сразу, не меньше, в хальфы про-
сились.

В отчаянии Хамидходжа бросился к двери. Он не мог ждать. Не смел терять ни минуты. Глаза вторично воскресшего Гельмута фон Крейзе смотрели на него отовсюду: из окна, из-под кровати, со стены, с портрета эксшаха Резы. Но уйти ишану не удалось. Дверь загородил Муслим Турсунбаев. Он был отталкивающим: чалма распустилась и волочилась по грязным доскам пола, глаза горели безумием, изо рта текла слюна.

Сколько ни метался перед ним Хамидходжа, но пришлось ему выслушивать невнятный, путаный рассказ, пересыпанный ругательствами, сурами из корана, изречениями.

С трудом до сознания Хамидходжи доходил смысл истерического бреда. Оказывается, Муслим низволением аллаха должен истребить свою жену Сефиет, привязать ее к хвосту дикой кобылицы и погнать в степь, чтобы колючки растерзали ее тело.

— Что случилось?— испугался Хамидходжа.— Горе нам! Ты оставишь нас без нашей руководительницы. Беда!

— Чепуха,— усмехнулся Зуфар.— Я говорю, на него нашло.

Оказывается, дело совсем не в Сефиет. Давно уже Муслим вынужден был смотреть сквозь пальцы на поведение Сефиет. Еще с тех пор, как в сороковом году она уезжала из Турции в Советский Союз с представителями немецкой фирмы, Муслиму сказали: «Так надо». Сефиет получила тогда немецкий паспорт, в котором значилась законной женой герра Мюллера. Муслим не убил тогда Сефиет, а впал в религиозный экстаз. И такое повторялось, когда жена его исчезала то с министром, то с дипломатом, то с видным военным деятелем. На время отсутствия супруги он делался дервишем. Склонял на все лады: «Я, Муслим, преданный аллаху! Я, Муслим, покорный аллаху! Я, Муслим, исповедующий ислам!» Ему сочувствовали. Над ним смеялись.

Но теперь к религиозному иступлению добавилось кое-что новое. Шестьдесят шесть лет идет война между некогда могущественными родами — шахрисябзцами Джурабеками и кокандцами Фулатбеками. Мечь, кровная, жестокая, неугасимая, порождает кровь, ярость, ненависть. Совсем как в старинном предании: «Кобылицы не дают приплода. Среди отары овец в горах идет падеж от бескормицы. Полные сил юноши падают жертвой ножа. Юные девы умирают в жестоких судорогах от яда. При встрече друг с другом люди боятся назвать себя по

имени. Никто не знает, кто из его родных был убит и кем и от кого ждать мести. Месть! Месть!»

Слышал о кровавой мести в роду Турсунбаева и Хамидходжа, знал о старинных счетах первого человека в Кокандском ханстве Фулатбека, приближенного Худоярхана, с прищельцем и беглецом из Бухарского эмирата, храбрецом и честолюбцем Джурабеком, прозванным потрясателем тронов. Хамидходжа не помнил, то ли Фулатбек вырезал семью Джурабека, то ли Джурабека выдали русским по приказу Фулатбека. Фулатбек впал в ярость, узнав, что генерал фон Кауфман не казнил Джурабека за то, что тот возглавил восстание религиозных фанатиков против русских в Самарканде, а наоборот, обласкал, дал чин и прикомандировал к генералу Скобелеву, завоевавшему Фергану. Тогда Фулатбек истребил всех родичей Джурабека, но сам вынужден был уйти в изгнание в Афганистан. Словом, нашлось достаточно причин, чтобы Фулатбеки и Джурабеки многие десятилетия истребляли друг друга, не щадили друг друга в утробе матерей, применяли нож, яд, пулю.

— А теперь он узнал,— вполголоса рассказывал Зуфар,— что Сефие и сама из рода Джурабеков, родная, что ли, внучка самого Джурабека, в детстве приехавшая с отцом-эмигрантом в Стамбул. Вот теперь с ума сходит.

— Какое несчастье! Необдуманными поступками он провалит дело Туркестанского государства. Кто ему сказал про потаскушку Сефие?

— Она сама сказала. Он начал ее упрекать за то, что она, мусульманка, легла в постель кяфира Болда, а она ему и ляпни: «Ты мой кровник. А с кровниками жить в браке не подобает». И прогнала его. Провозгласила развод. Женщина сама дала развод. От злого слова и камень треснет.

— Не знаю, чем тут помочь,— метался Хамидходжа,— все испортит сумасшедший.

Он подскочил к Турсунбаеву и принялся трясти его за отвороты халата:

— Очнись! Приди в себя, наконец! Дело всей нашей жизни пропадает!

Раскачиваясь, жалкий, Муслим по-прежнему гундосил:

— У меня дело — мечь. У коварного одна удача, у искусника — две удачи. Я умный, я искусник, я сразу две удачи имею. Развратницу зарежу, проклятой джурабековке кишки выпущу. Мечь! Мечь! Где мой нож?

— Умоляю! Прошу! Иди на улицу, иди, Муслим, на площадь. Объяви. «Пусть я разведусь трижды!» Отбери у нее «мехр» — плату мужа жене в первую брачную ночь за невинность.

Муслим зарычал:

— Невинная? Какая она была невинная! Да она жила со всем Стамбулом.

— Тем лучше. Прогони ее. Отбери «мехр». Сдери с нее плату за развод. Побольше денег. И оставь ее в покое. Где она? Идем к ней.

Ужасно нужно было Хамидходже к Сефиет. Он пристал к Муслиму, умолял его. Без указаний Сефиет нельзя было ехать в Советский Союз, бесполезно, рискованно. Когда-то Хамидходжа сделал ошибку. Он расхвастался господину Крейзе, наговорил, что держит в памяти явки, адреса, имена десятков нужных людей, видных деятелей «шуроисламие», джадидов, алашардынцев, просто «бывших» богачей, баев, заводчиков, банкиров, что он может легко связаться с ними, поднять их, вселить смелость, повести под знаменем пророка. Он наговорил даже, что в Узбекистане пышным цветом расцветает древний орден накшбендие в тесном союзе с зарубежным «исмаили». Что он сам, Хамидходжа, признан главой дервишей и ведет из-за рубежа среди колхозного дехканства проповедь тариката — путей совершенства и приближения к аллаху, что он через свою агентуру вернул буюбу политическую роль накшбендиям и сотням мюридов. Вдохновленный словом божием и победоносными успехами пророка Гитлера-Гейдара, они готовы выступить под зеленым знаменем Мухаммеда. Послушать Хамидходжу, и получалось так, что в многочисленных подворьях дервишей сложены оружие и боеприпасы еще со времен басмачества, что даже воинствующий орден африканских дервишей сенусситов заслал своих военных инструкторов в Хорезм, Бухару, Фергану. Свою природную лень в поступках и действиях Хамидходжа сторицей возмещал болтовней. Начав говорить, он не мог уже остановиться. Рассказывал он увлеченно и сам будто начинал верить самым фантастическим порождениям своей необузданной фантазии.

Странно, что Гельмут фон Крейзе — знаток Востока, переполненный фактами, опытом, сведениями, тончайшими знаниями быта, этнографии, религиозных верований, племенных предрассудков, политических хитросплетений, — часто принимал все, что говорил Хамидходжа, за чистую монету. Хамидходжа лгал вдохновенно, или ложь выглядела правдоподобной, или просто, что вероятнее всего, гитлеровская разведка не слишком хорошо знала, что делается в Средней Азии. Во всяком случае настроение народа, его отношение к войне, советской власти расценивались и полковником Крейзе, и его господами в самом искаженном свете. Вообразить, что какие-то шейхи, главы духовных орденов, их «наибы» и «мокадамы» сумели завладеть умами и воображением масс, мог лишь тот, кто плохо знал обстановку и советских людей.

А Хамидходжа выкопал себе яму. Он успокоился, когда

ему сообщили, что Крейзе исчез. Теперь-то, очевидно, совсем. Когда же Крейзе, живой и невредимый, вышел из пустыни, Хамидходжа столкнулся с необходимостью приступить немедленно к делу. Почти год жил он спокойно, наслаждался своим положением министра. В средствах он себя не ограничивал. Страшные немцы были далеко. Змея, которая нас не кусает, пусть живет хоть тысячу лет. И вдруг...

Хамидходжа погибал. Его посылали в неведомое. Все явки, все адреса устарели. Крейзе толкал его в пропасть.

Могла спасти Хамидходжу одна Сефиет. Она одна знала...

В номер постучали. Дверь раскрылась, и вошла Сефиет. Она пожала своими круглыми сильно декольтированными плечами, брезгливо глянула на неприбранную постель и протянула:

— Кто-нибудь, предложите стул.

Она не пожелала заметить бесноватого своего супруга, хотя он принялся при ее появлении корчиться с особенной яростью и хлюпать носом.

Внезапно она застыла, когда взгляд ее упал на Зуфара. Она не видела теперь никого, кроме Зуфара. Мертвенная бледность проступила сквозь румяна на ее лице. На глаза Сефиет, такие прекрасные глаза, набежали слезы.

Сейчас она стала милой, слабой совушкой, маленькой телеграфисткой из города Полатлы.

Пораженный переменой в Сефиет, Муслим Турсунбаев замер, перестал кривляться. Хамидходжа глупо раскрыл рот. Они никогда не могли и представить себе, что Сефиет, сухая, властная, непреклонная Сефиет, может быть такой. В ее взгляде читались радость, унижение, ужас. Она вся устремилась к Зуфару. Еще мгновение, и она кинулась бы к нему.

Зуфар сам был ошеломлен. Мгновенная перемена наружности турчанки поразила и его.

И все же Зуфар первый совладел с собой. Сравнительно спокойно он сказал:

— Прошу вас, садьте.

— Жарко, — едва слышно выговорила Сефиет, чуть шевеля непослушными губами. Она села на стул, пододвинутый Зуфаром. — Благодарю. А вы, — обратилась она к Муслиму, — прекратите. Знаю, знаю. Месть! Фулатбеки, Джурабеки. Кровники. Вы всегда были сюлтяем. Дурацкий миф! Тебе нельзя доверить даже чайхану.

Сефиет уже успокоилась. Она пудрилась и разглядывала в зеркальце, хорошо ли насурмлены ее длинные и густые ресницы. Она прелестно знала своего мужа. Он подполз к ее ногам и, хлюпая, прижался губами к носку ее туфельки.

— Имей в виду, я не возражаю против развода,— заявила, насколько можно высокомернее, турчанка.— Ты можешь получить развод «халя». Я пришла тебе сказать об этом.

— Не надо!— взвыл Муслим.

— Я сама хочу получить развод и отказываюсь от «мехра». Получи деньги и убирайся.— Она обращалась к Муслиму, но смотрела только на Зуфара. В глазах ее он прочитал вопрос, тысячу вопросов. Но он читал в них и радость.

— Умоляю!

— Я леди Болд! У меня свой замок в Англии.— Она странно хохотнула и опять перевела взгляд на Зуфара. Она пожала плечами: «Ты же понимаешь. Должен понять!»— говорили ее глаза.

— Не мучь меня,— заревел Муслим.— Ты не посмеешь.

— Не твое дело.— Она закинула ногу на ногу и носком туфли подняла подбородок мужа.— Запомни. Я английская леди. Гражданский брак. Ты, Муслим, хоть и знаток ислама и всякое такое, но ничего в законах ислама не смыслишь. По шариату я остаюсь твоей женой.

— И ты не будешь спать с Болдом.

— Дурак. Я же сказала — гражданский брак. Для пользы дела.

— Но кто поверит?

— Значит, развод «халя».

— Нет, нет, умоляю.

Он ползал у ног Сефиет и стонал. Не обращая на него внимания, турчанка вытащила из сумочки листок бумаги и сказала Хамидходже:

— Ну-с, ваше превосходительство, господин министр вакуфов, ваше преподобие шейх уль ислам, вы искали свидания с грешницами. Конечно, великому ишану Ходжи Ахрару непристойно общаться с женщиной, а тем более с презренной нарушительницей шариатских добропорядочных норм женского поведения. Но что поделать — я здесь. И вашему преосвященству придется послушать, что скажут мои непристойные уста. А ты, Муслим, выйди.

Все еще всхлипывая, Муслим выбрался из комнаты. Сефиет положила руку на рукав пиджака Зуфара и умоляюще протянула:

— И вас прошу!

Разговор с Хамидходжей отнял у Сефиет минуту. Застучали ее каблучки, и она выпорхнула в коридор. Не обращая внимания на хнычущего Муслима, молодая женщина прижалась к Зуфару и, чуть шевеля губами, прошептала:

— Клянусь Айшей, я думала — вы погибли. Безумно рада! Мы увидимся...

Она выбежала в вестибюль. Из кожаного кресла подня-

лась несуразная павианья фигура сэра Гемфри Болда. Он вежливо предложил красавице своей локоть, и странная пара покинула отель.

Заплетающимися шагами Муслим вернулся в номер. Зуфар, насистывая, пошел за ним. Перед дверью он остановился, посмотрел вдоль коридора и вдруг процедил сквозь зубы: «Змея!» Но злобы он не чувствовал. Он не отдавал отчета, что с ним происходит. Хамидходжа сидел за столом и изучал исписанный листок. Он усиленно, по-ученически, шевелил губами. Он запоминал. Муслим корчился на кровати. Его словно мучили колики.

— Все чепуха! — выкрикивал он. — Жизнь — чепуха! Ты, Муслим Турсунбаев, — чепуха и дерьмо! И все мы дерьмо! И я валяюсь в дерьме. Клянусь, наступит час очищения. И тогда метлы ангелов выметут весь сор и всю грязь... все дерьмо. Вот приедем мы в Ташкент... И ты, Муслим, сдохнешь в советском нужнике, — вдруг зло сказал Хамидходжа, — тебя там особенно ждут. И не десять тысяч, не сто тысяч у нас там мюридов, а вот столько, — он сложил пальцы шепотью, — и твой Туркестан будет «пшик», если фашисты не придут. А если и придут, то нас, узбеков, к блюду с вашим, как его, пловом и не подпустят. Немцы сами все сожрут, а нам кости бросят.

Шевеля губами, Хамидходжа зазубривал имена и явки. Потом вздохнул и сказал:

— Волею божьей, мы не лишены памяти.

Он тщательно сжег бумажку. Растер пепел между пальцами и только тогда ответил все еще корчащемуся на кровати Муслиму: — И напрасно. Вы, узбек, превратились в безбожника турка. Кто такие турки? Те же ференги европейцы. У вас мерзостная духовная сущность. Вот я! Разве я позволил бы трепать подол своим женам даже ради дел государства? Приказал бы побить камнями или выгнал бы.

Муслим сел на постели и заохал:

— Скоро наступит час приобщения моих соотечественников к идеям и взглядам великого основателя Ассоциации мусульманских братьев шейха Хасана аль Банна — да снизойдет на него благодать аллаха! Дух узбеков и таджиков, загрязненный неверием, мы смирим благочестием, провозглашенным означенным шейхом аль Банна в Египте, священной стране мусульман, столь почитаемой в Туркестане.

Его разглагольствования опять прервал Хамидходжа:

— Уж не собираешься ли ты читать мне проповедь с минбара мечети. Прибереги сахарную патоку для большевиков. Уговаривай и просвещай, когда они возьмут тебя за горло!

Но остановить Муслима он не смог. Тот уже и сам забыл про узду: он принялся доказывать, что жители Востока фанатично жаждут возврата ислама к истокам, что советские на-

строения лишь скорлупа, а сердцевина мыслей каждого ташкентца, самаркандца, бухарца, хивинца — буква священного корана, что учение Маркса — Ленина воспринято лишь как частица учения пророка Мухаммеда и каждый человек лишь ждет не дождется момента, когда явится возможность возродить истинную веру ислама. Едва он, Муслим, ступит на порог ташкентской соборной мечети в Шейхантауре, все ташкентцы заживут в первоначальной строгости шариатской доктрины и нравов. Вся политика Туркестана, который станет Исламистаном, подчинится теологии и философии знаменитых отцов мусульманской церкви.

— «Аллах — наш идеал! — по-вашему, говорят все в Туркестане, — воскликнул Хамидходжа с пафосом. — Пророк — наш вождь! Коран — наша конституция!» Так, что ли?

— Именно так? — вдруг спросил Муслим Зуфара. Но Зуфар лишь пожал плечами. Он думал о Сефие. Хамидходжа сказал:

— Конечно, коран — вернейшее средство утоления страданий любого правоверного.

«Она обрадовалась, увидев меня, — размышлял Зуфар. — Она искренно обрадовалась. Но... когда она клянется этой Айшей, у нее... в ее хорошенькой головке все... кроме... чувств. Она...»

— Правильно! — вопил Муслим. — Когда мы придем в Туркестан, мы им покажем. Никаких партий. Исламское законодательство. Воспитание молодежи в духе ислама и религиозного самопожертвования. Путь бога — сиречь джихад — война против неверных. Полный запрет увеселений и нечестивых игр. Строжайшие кары уклоняющимся от молитвы, вплоть до телесных наказаний. Суд над нарушителями поста...

«Она искренно обрадовалась, но... — думал Зуфар, — но сразу смекнула, что я могу ей пригодиться. Вспомнила о деле».

— А захотят ли люди? — ни с того ни с сего усомнился Хамидходжа. Зуфар давно заметил что-то странное в его словах и поведении. Но сейчас он не обратил на это внимания. Сефие не выходила у него из головы. Его тянуло к ней. Он очень хотел встретиться с Сефие.

— А для начала мы всех вольнодумцев, — Муслим провел ребром по шее, и лицо его налилось кровью. — Небольшое кровопускание. Гитлеровцы показали нам отличный пример. Они там с точки зрения фашизма, а мы как соизволит аллах. Сначала немецкий порядок, потом мусульманский дух.

«Нет, нет и еще раз нет...» — все еще думал Зуфар.

Именно «нет». Зуфар знал, что он больше не встретится с турчанкой.

Он должен был уехать, и очень скоро.

Живи же веселей! На свадьбе смерти красавиц нет таких, найти их невозможно.

Самарканди

У мудреца язык в душе — у дурака душа на языке.

Бекаи

Что перемена наступит скоро, очень скоро, Зуфар понимал и не мог сдержатъ нетерпения. Все чаще на толстой физиономии Хамидходжи он замечал выражение испуга. Зуфару приходило на память старое, слышанное в детстве: «Смотрит словно корова на дубильщика кож». По-прежнему Хамидходжа в разговоре плел нечто нудное, топтался вокруг и около, что-то хотел сказать. Но в последнюю минуту будто кость попала ему в горло. Он хрипел, сипел, глупо тарашил глаза, замолкал. Хитрость, видимо, сильнее ума. Хамидходжа до того исхитрился, что волей-неволей перехитрил самого себя.

Он ужасно боялся Зуфара, Крейзе, Сефьет, сэра Болда. Очевидно, он боялся всех и вся. Он по-прежнему ел очень много, с аппетитом, с жадностью. Он попросту обжирался. Хамидходжа мог разорить Рокфеллера своими счетами в ресторанах Мешхеда. Но он платил сам. У него было, как всегда, много денег. Он не позволял платить ни Зуфару, ни Муслиму.

Но обжорство не помогает прояснению мыслей. Говорил Хамидходжа много, но туманно. И даже напугал Зуфара. Становилось ясно, что Хамидходжа знает или во всяком случае подозревает, что Зуфар уезжает. Хамидходжа не говорил об этом прямо. По обыкновению, он ходил вокруг и около:

— Скоро некто, ходящий словно ветер-скороход, окажется вдали, на зависть друзьям. Скоро он будет греться под благоприятствующим его здоровью солнцем, родным солнцем.

Нельзя было выдавать своего волнения, и Зуфар сделал вид, что не понял намека. Но намек был слишком прозрачен. Откуда Хамидходжа пронюхал?

Зуфар молчал.

Он знал: лгун забывчив. Все равно проболтается.

Болтать Хамидходжа был горазд, но из болтовни его что-нибудь выжать надо было уметь. С холодком в сердце Зуфар ловил каждое слово толстяка. Но что можно было понять?

— Голодная курица видит себя в амбаре пшеницы, — ныл Хамидходжа. — Я голодная курица. Амбар с пшеницей — мой тихий домик в благословенном Мазар-и-Шерифе. Некоторые курочки не сегодня-завтра будут клевать зернышко в своем амбаре. А желтый лист будет метаться по чужим болотам. И

кто его подберет?! Нет, каждый безжалостно наступит на него и вомнет в болота. Ох-ох! А вы, Зуфар, подберете ли осенний лист, когда увидите его под ногами?

Не дожидаясь ответа, он продолжал:

— Поразительно. Некоторые козявку в Китае видят, а слона рядом не замечают. Два глаза весь мир видят, а друг друга никогда. Я человек спокойный. Если на меня дракон побежит, я и то спокойным остаюсь. Если аллах на землю небо опустит, чего мне бояться? Отец до девяноста шести жил, мать — до девяноста. Почему? Кровь чистая была у них. И у меня чистая. И помыслы чистые. За что же мне такая участь? За что осенние ветры треплют меня по лику земли, несчастного? За что столько напастей на голову одного?

И вдруг Зуфар почувствовал облегчение. Хамидходжа знал что-то о его предстоящем отъезде. Но Хамидходжа не собирался использовать свои знания во вред Зуфару. Хамидходжа намекал на то, что знает, но искал в Зуфаре сочувствия, содействия, понимания. Ему что-то нужно было от Зуфара, очень нужно.

Но что именно?

«Когда же этот хитрец перестанет хитрить? Решится ли он сказать правду о себе,— думал Зуфар,— или он утонет в своем чертовом словоблудии?»

Возможно, надо было помочь Хамидходже, задать открыто вопрос. Но Зуфар, при всей жалости к этому растерянному, изглавшемуся жирному бегемоту, не верил ему. Про таких людей в Хорезме говорят — у него куры несут яйца без желтка. Почему Зуфар должен ему верить? Ласковый враг, добряк враг еще опасней. Врагу следует быть на колу.

И Хамидходжа, по-видимому, отлично разбирался в настроениях Зуфара. Он вздохнул и сказал:

— Почему вы должны думать, что я хороший? Кто может сказать, что я хороший?

Хамидходжа улыбнулся жалобной улыбкой и продолжал:

— Разве желтый лист хороший? Зеленый лист хороший. Я тот, с которым не мирится время. Я должен мириться с временем. И я не прошу у тебя хорошего. Но я хочу сказать вам одно дело. Хотите верьте — хотите не верьте.

Хамидходжа опять развздыхался, рассопелся, будто он тащил на спине огромный груз.

— Есть люди, которые яичницу без масла поджарят. Я такой человек. — В его тоне звучало хвастовство. — Вы знаете, что я такой человек, и потому вы думаете — я плохой человек. Но все темно, темно в сем мире. Я считал вас, Зуфар, очень плохим человеком. Госпожа Сефие сказала, что вы... — здесь он поперхнулся и принялся озиаться, точно опасаясь, что Сефие пробралась в комнату сквозь замочную скважину и стоит в углу.

Он был очень комичен и жалок, когда со стоном повторял:— Все темно, темно в сем мире. Но вам, Зуфар Джумамуратов, я скажу: в темноте моих поступков есть свет.

Он заглядывал собачкой в глаза Зуфару, стонал. Бросалось в глаза полное несоответствие слов Хамидходжи с его переживаниями. Он волновался все больше. И, очевидно, оттого, что не умел выбраться из болота своего красноречия, никак не мог сказать ясно, что его волнует. А может быть, не решался сказать. Язык его с трудом ворочался во рту.

Он бормотал:

— Завтрашнего дня никто не видел. Но наступит завтра, и тогда все увидят, что быть ослом тоже дар божий. Я скажу, скажу. Ох, не могу...

Сползшая набок белая ермолка; красное возбужденное лицо, трясущиеся лоснящиеся щеки, скорбно опустившиеся кончики рта; забрызганная слюной и кофе кисейная тончайшая рубаша; неряшливая запятнанная узкая белуджская курточка, из которой выпирал преогромный живот; дергающиеся толстые ножки в белых кальсонах с непрерывно слетающими туфлями,— этого комичного по внешности человека томили неведомые страхи. Он был трагичен в своем смятении. Он не мог что-то сказать Зуфару и чувствовал, что если не скажет именно сейчас, то потеряет очень много, безвозвратно потеряет. Он бешено грыз ногти на жирных пальцах, униженных серебряными кольцами с бирюзой, изумрудами и даже бриллиантами. Он хмуро глядел на пол, а потом быстро и испуганно взглядывал на Зуфара. И тут же на лице его появлялась жалобная, подобострастная улыбка нашкодившего щенка. Как он хотел, чтобы Зуфар его понял... Но при одном условии: Зуфар не должен был ни о чем его спрашивать.

Поведение Хамидходжи не поддавалось объяснению... Смутная догадка пришла Зуфару в голову. Он усмехнулся:

— Кто упал сам по своей вине с лошади, тот не плачет. Вы сами падали. Чего же проливать слезы? Путь предательства — грязный путь.

Физиономия Хамидходжи перекосилась. Он буквально взвыл от жалости к себе:

— Воистину можно подумать, что мамаша моя родила меня в грехе и пороке, так мне не везет. Уподобился я соли в огне. За что меня наказывает небо? Всю жизнь я наступаю змеям на хвост... Вы хороший человек, Зуфар, но вы меня не понимаете... И лучше я расскажу вам одну историю.

Времени у них было сколько угодно. Хамидходжа нашел в лице Зуфара терпеливого слушателя, а то, что он рассказал, могло заинтересовать.

— Пусть дойдет до вашего понимания, что на свете жил юноша чистых побуждений и мыслей, но исчадия злобы толкнули его в пропасть коварства. Полный доброжелательства юно-

ша выручал из беды человека по имени Крейзе, не зная, что тот полон злобы и хитростей и вместо благодарности отдаст его в руки страшного джина, имя которого Канарис. Злобный Крейзе привел юношу в пещеру Тирпицуфер, 74, в городе Берлине, и тот джин, играя с двумя собаками с противоестественно короткими ножками, подверг юношу испытаниям в знаниях и языках. Убедившись, что юноша говорит по-узбекски, по-персидски, по-тибетски, по-курдски и вообще имеет сокровища в голове, джин Канарис воскликнул: «Стань курдом!» И юноша превратился в курда и, перенесенный в мгновение ока ковром-самолетом системы «Юнкерс», оказался в Курдистане среди гор и диких племен. Мечтавший лишь о бархатных подушках и обольстительных гуриях, юноша карабкался на четвереньках по каменистым тропинкам, ползал на животе по болотам, подвергался побоям, рисковал головой — и все для того, чтобы помогать могущественным немецким хозяевам джина Канариса завладеть источниками нефти древнего Мосула и готовить пути для Германского государства на Восток. А когда юноша выполнил трудный искуc и хотел предаться лени у прохладных источников родного Мазар-и-Шерифа, грозный джин Канарис превратил его в христианина — армянского купца и одним дуновением швырнул в великолепный город Стамбул заниматься делами, ничего общего не имеющими с торговлей. Дурно стало положение юноши, когда свирепые полицейские гнались за ним, желая поймать его и бросить в тюрьму за то, что он производил съемки проливов Дарданеллы. К счастью, подобная райским гуриям красавица Сефиет укрыла юношу в своем райском обиталище, где она предавалась супружеским утехам со своим мужем Муслимом. Тогда хитроумный и всемогущий джин Канарис обратил юношу в паломника ко святому черному камню каабе. Но не молитвам предавался юноша в священном городе мусульман Мекке, а шпионил там и вел разные подлые сделки с арабскими шейхами в пользу новоявленного пророка ислама Гитлера-Гейдара. Плох был исход юноши из Мекки, распознали его правоверные и обошлись с ним грубо и бесчеловечно. Но не позволил джин Канарис отдохнуть юноше и оправиться от испытаний, а повелел отправиться в образе странствующего певца турка в Суэц, и тогда юноша спел на канале песню, от которой сгорел большой английский корабль, перевозивший керосин. После того юноша не пел больше ничего и даже разговаривал шепотом, когда, ступая разбитыми, окровавленными ногами, пробирался через ливийскую пустыню в безопасное укромное место. Мечтал юноша вернуться к лени и уладам жизни, но не попала его душа, куда он стремился. Нашел его всевидящий джин Канарис, превратил в турка и заставил поехать в страну большевиков перводчиком немецких промышленников, которые ездили в Ташкент, в Самарканд, в Ургенч. А с одним из промышленников

ездила под видом жены, турчанка Сефие, при которой юноша состоял переводчиком. Вот какой всемогущий джин Канарис. Пребывая в Узбекистане, напился юноша хорезмской воды из арыков, поел лепешек из тонкой самаркандской муки, попробовал плова из узбекского риса, послушал сладкозвучный дутар чайхан. И отвратительными показались ему трубные звуки гласа злого джина Канариса, его хозяина и повелителя. Иные приятные голоса бухарских хафизов проникли в сердце юноши, и мечта посидеть в тени деревьев тех рощ, где прогуливались его предки, обуяла его...

Вдруг Хамидходжа оборвал свой рассказ странным смешком и посмотрел, жалобно моргая своими бараньими влажными глазами, на собеседника.

Надо сказать, что Зуфар слушал невнимательно. Хамидходжа выбрал неудачную форму для рассказа, и сказочная витиеватость, в которую он пытался облечь факты и события, мешала понять, к чему он клонит. Разглядывая мягкое, расплывшееся лицо Хамидходжи, его толстую, расплывшуюся фигуру, большой, свисающий на колени живот, трудно было представить, чтобы такой неповоротливый увалень мог причинять столько беспокойства миру и людям в образе того сказочного юноши, о котором рассказывал Хамидходжа.

Моргая глазами и кривя лицо, Хамидходжа вкрадчиво повторил:

— Приятные голоса бухарских хафизов достигли сердца юноши... А?

Зуфар пожал плечами.

Тогда Хамидходжа почти угрожающе проговорил:

— Наступит змея на хвост просто, вот только жалеть будет поздно... Почему я все рассказываю вам, а? Почему я доверяю вам? Почему? Не потому ли, что вы добры ко мне? Не смотрите на меня, как... как на скорпиона... А вас, Зуфар, не заботила мысль: «А вдруг Хамидходжа не скорпион, а может быть, Хамидходжа не насекомое...»

Тогда в первый раз Зуфар открыто высказал Хамидходже все, что думал:

— Видите ли, Хамидходжа, обстоятельства вынуждают меня сидеть с вами за одним столом, ходить с вами по улицам, вести с вами разговоры... Но... подлость остается подлостью. И помните, подлость останется известной и через сорок лет. До вас так или иначе доберутся...

Говорить так было неосторожно, даже опрометчиво. Здесь, в Мешхеде, Зуфар находился в полной власти этого неповоротливого, ленивого, но изощренно хитрого толстяка. Но Хамидходжа нисколько не оскорбился. Он жалобно застонал:

— Все вы честные, смелые. Избрали себе долю благородного Кёр-оглы или Алпамыша. Кичитесь своей честностью. Вы,

Зуфар, счастливчик: у вас в горсти пыль золотым песком обернулась. Такому, как вы, легко. Если вас убьют, ваше имя прославят в веках. Женщины Хорезма будут петь своим сыночкам в колыбели: какой храбрец был Зуфар-батыр, как любил родину Зуфар-батыр... А вот попробовали бы вы умереть по уши в грязи...

Но напрасно он пытался разжалобить Зуфара.

— И змея пищит, когда на нее наступают,— пробормотал он.

— Увы мне!— картинно восклицал Хамидходжа, засеменяв взад-вперед по комнате.— Столкнулось яйцо с камнем. Когда слон попадает в ловушку, его и летучая мышь крылом бьет.

— Что ж, подметай дом друзей, но не стучись в ворота врага.

— Ты уходишь,— жалобно всхлипнул Хамидходжа,— и мы ничего не сказали друг другу. Правда, кто-то говорил: и в самом умном есть глупость. Ты похож на мешхедского врача, приписавшего укушенному змеей багдадское лекарство. Пока посылали за ним, укушенный умер. Ты поверх горба мне еще один горб присадил. Доброе слово — дверь в душу. Битый час я лезу тебе в душу. Битый час я тебе рассказываю и объясняю. Да что там! А прошлый раз, там, у этого Кербелаи, я рассказал тебе всю жизнь. Все рассказал. Доброе слово и змея понимает... А ты не понимаешь.

— Если исток мутный, вся река мутная.

Почти с жалостью Зуфар смотрел на потное подергивающееся лицо Хамидходжи. И этот тип пытается разжалобить, пытается вызвать к себе сочувствие. Зачем? Неужели он думает, что Зуфара можно поймать на жалости? Наивный человек Хамидходжа. Или Хамидходжа разуверился в своих хозяевах и оставляет себе лазейку на будущее... Сейчас он перейдет к угрозам.

— Женщина, ветер и успех не отличаются постоянством!— вдруг закричал Хамидходжа.— Двери смерти для всех открыты. А ты не думаешь об этом. Наивный ты. Ты уходишь. Уходи. Но задумайся, почему ты уходишь. Почему ты дышишь полной грудью? Почему твои ноги шагают еще по этой земле? Почему ты живой? Иди и подумай.

Но он остановил Зуфара таким странным всхлипывающим окриком, что тот вздрогнул и обернулся: Хамидходжа сидел обмякший, расплывшийся в кресле спиной к нему. Голова, вобранная в прыгающие плечи, тряслась. Он прерывисто бормотал:

— Был такой Савмак... Савмак в древности. В пустыне... Савмак. Персы... Сам Дарий пошел походом на шатер Савмака, на народ, матерей, детей, на стариков, девушек. Открыли глаза жадности. Разинули рты сладострастия. Гибель грозила Савмаку и его народу. И Савмак отрезал, сам отрезал себе уши,

нос, губы, изувечил себя своей рукой. Пошел к персам, сказал. С трудом сказал, губ-то у него не было. Сказал: «Видите, меня изувечили свои. Ненавижу своих. Хочу отомстить. Покажу вам тропы в пустыне». Повел войско врага по тропам пустыни. Завел Дария туда, где нет воды и пищи. Савмака Дарий убил. Но половина войска персов погибла. Персы не нашли юрт родичей Савмака...

Он оборвал свой бессвязный рассказ, поднялся и, не оборачиваясь, закричал:

— Иди же! Иди! Уходи сейчас же!

Он так и громоздился перед креслом. Стоял неуклюжим, бесформенным кулем спиной к Зуфару, воздев толстые волосатые руки, вылезшие из широких кисейных рукавов рубахи. Белая ермолка слезла совсем на щетинистый затылок, на тройную багрово-синюю шею, жирные складки которой жалобно подергивались. Да и вся огромная, многопудовая туша подергивалась, вздрагивала, колыхалась от сдавленных рыданий и воплей... Хитрый, безжалостный, лишенный какой бы то ни было щепетильности, Хамидходжа плакал. Странно и непонятно видеть слезы лжеца. А Хамидходжа изолгался вконец за свою жизнь заговоров, интриг, хитросплетений, подвохов. Он сам же признался, что заговоры были его жизнью. Он затевал один заговор, чтобы иметь успех в другом заговоре. И так без конца. Хамидходжа — паук, запутавшийся в своей паутине. Но кто видел слезы паука?

Зуфар вышел нарочно медленно. Он ушел с ощущением, что избежал настоящей опасности.

Не вызывало никаких сомнений, что Хамидходжа опасный человек.

Но тут же в голову пришло: разговор — зеркало говорящего, не бойся крикливого, бойся молчаливого. И снова возникло чувство жалости к этому опасному, страшному, зловещему Хамидходже. Вопреки всякой логике, Зуфар пожалел его.

Глава XIV

Жизнь тайны — в ее смерти.

Ибн Хазм

Ничем не примечательный. Таких на путях Азии можно встретить тысячами. Художник не захочет писать с него портрет. Пожалуй, скажет: «Зауряден».

А разве не в заурядности дело? Сегодня видели, что рядом в кабинке с Кузьмичом сидел «кто-то». А вот кто, не запомнили. А завтра за рулем сидел «кто-то», а Кузьмич вроде рядом с ним.

Дальше началось странное. В Исфагане у базара остановился грузовик и вышел шофер. Полицейский заулыбался, подошел:

— Салом, рус Кузьмич!

Шофер обернулся. Бормоча молитву, полицейский сделал шаг назад. Никакой это был не Кузьмич.

Такую же машину в тот же день видели в Хунсаре и тоже вроде с Кузьмичом. А на самом деле в ее кабине сидел тот, которого приветствовал полицейский. Загадочная история. Приски злых духов. Не может человек в один и тот же час оказаться в разных пунктах за двести километров друг от друга.

Заурядный спутник Кузьмича был настолько зауряден, что никто не мог сказать, во что он одет и какого цвета у него глаза.

Сэр Болд не мог потерпеть, чтобы в его «владениях» безнаказанно мог существовать какой-то «невидимка». Приказал следить, искать. Не раз нападали на след. Определяли, что «заурядный» «то-то и то-то». И вдруг след уводил в сторону и «заурядный» уже не «то-то», а сам Кузьмич... Дьявольщина!

Все чаще сэр Болд обращался к картотеке, к «Болдовской энциклопедии», по его выражению. Картотеке не было цены, Но пользовался ею он один. Картотека — его личная собственность, хотя составлялась и собиралась она не одним поколением резидентов.

Сейчас сэр Болд рылся в одном-единственном разделе своей «энциклопедии», именуемом «Кладбище». Здесь хранились карточки на людей Болда, с которыми порвалась связь. Если деятельность того или иного «заурядного» лица обрывалась без помощи и участия сэра Болда, сама собой, так сказать, на карточке после пометки «исчез» вписывались две буквы «БП», то есть — «без помощи». Если же проштрафившемуся «заурядному» приходилось «выйти из игры» при прямом содействии сэра Болда, буквы «БП» на карточке не проставлялись.

Карточки раздела «Кладбище» не прояснили личность «заурядного», но кое-что выявить сэру Болду удалось.

Заурядный — совсем не заурядный, а знаменитый охотник, метис из монголов по имени Бадма, проводник по Центральной Азии, продавец оружия, знаток перевалов Куенлуня и Тибета. Проводника Бадму весьма ценил лорд Аксельфортс, путешественник и исследователь, после появления которого родовые вожди и феодалы поднимали мятежи и восстания. Бадма служил Аксельфортсу много лет, но однажды выстрелил в него из охотничьего ружья и лишь потому, что лорд сделал ему резкое замечание. Исчез.

Заурядный — простой грузчик из Каспийской гавани Бендершах, простак, каких много, здоровяк с крепкой шеей, неуклюжий, всегда в мукe, в соломинках, в клочьях шерсти. Русые

волосы — что делало его приметным. Имя — Урбан Нешоян. Айсор из Курдистана. Скромн и нежаден. Служил, был полезен. Подрался с надсмотрщиком англичанином в Абадане. В полицейском участке заявил: «Бросьте нас с ингризом вдвоем в котел, вытопите из нас жир, но сколько ни перемешивайте, не смешаете». Исчез.

Заурядный — иезид, поклонник сатаны из курдов Ханекина, из племенных вождей. Не раз поднимал тысячи воинов сражаться с турками, с арабами, с англичанами, с персами. Под именем Макаэла Ванзани пользовался славой воина и разбойника. Поссорился с британским советником Ренном, всади в него все пули из маузера. Исчез.

Заурядный — Дани Хасан, перс, вор, из тех, кто «семь раз упадет, восемь раз встанет». Схвачен ночью в кабинете министра в Тегеране, когда рылся в письменном столе. На суде заявил, что служил в английской разведке. Приговоренный к смерти отвезен в карете в сопровождении доктора и заведующего судеустройством на эшафот на площадь Сабз. Выкурил спокойно папиросу. Совершил намаз. Когда палач надевал петлю ему на шею, попросил последнюю милость — развязать руки: «Хочу согнать муху со лба». Сшиб с ног палача и бежал сквозь оцепление из верховых и пеших полицейских. Исчез. БП.

Заурядный — метис из индусов. Военное образование получил в Сандхерсте. Носил мундир английского офицера. Оскорбил начальника. На суде чести дал показания: «Всегда за мной с усмешкой и превосходством следили бесстыжие глаза белого человека». Разжалован. Исчез. БП.

Заурядный — кашкарлык, уйгур Иоганн. Крещен лютеранским миссионером в Хотане. Перевел евангелие на уйгурский. Окончил миссионерскую школу в Швеции. Ездил на осле, цепляясь ногами за землю и вызывая насмешки своим простодушием. Исколесил Синцзян в качестве проводника немецкого путешественника Оруэлла Штайна. Помогал раскапывать курганы гуннов у перевалов на советской границе. Вместе с исследователем Джеффри Шмидтом путешествовал по Тяньшаньской долине Юлдуз среди монголов Карашара. Упомянут в роскошном издании Шмидта о Синцзяне. Имел приверженность к опиуму. По самому солнцепеку ходил без головного убора. Исчез. БП.

Заурядный — Мурвари — старейшина индусской общины Чехор Махалля в Исфагане. Все ростовщики провинции зависели от него. Несметно богат. От него зависит даже Кербелай. В подчинении у Мурвари все евреи, саудогары и мамелегеты — корабейники Ирана. Секретный корреспондент британского консула в Мешхеде. Но как-то высказался резко: «Чего англичанам делать в Иране? Наживать деньги?» Исчез!

Заурядный — патлатый дервиш. Постоянно восклицает «Яхакк!» — «О истина!» Высокая войлочная шапка. Длинные волосы. На груди «кашкул» — коробочка из скорлупы кокосового ореха. Четки. Толстый посох с золотым набалдашником-русалкой. На плечах шкура леопарда. Выводитель. Расставит перед лавкой купца свой чадыр и целый день выкрикивает «Яхакк!» или дует в рог буйвола, пока купец не откупится. Знает всех хозяев караван-сараев в Иране. Неоценим. Исчез. БП.

Заурядный — араб из Гадрамаута. Поэт, как и все арабы. В стихах больше чувств и переживаний его самого, чем явлений. Утверждает, что был сподвижником полководника Лоуренса Аравийского. Считает, что арабы призваны решить социальные и экономические проблемы человечества. Мстителен. Часто ездит в Европу. Утверждает, что принцип национал-социализма не противоречит исламу. Член фашистского академического колониального общества при Фарбундунгсштабе. Прекрасный осведомитель. Исчез. БП.

Карточки с пометкой «БП» выводили сэра Болда из себя. Раздел картотеки «Кладбище» рос. Связи порывались. В паутине зияли дыры. В раздел «Кладбище» пришлось переложить карточку Зуфара. Никто не знал, где он. Полицейские Зал Зиаэт-дина с ног сбились.

Сэр Болд был слишком умен, чтобы не понимать, в чем дело. Он мог подозревать кого угодно, даже заурядного русского интенданта, даже Сефиет с достоинством носившую титул миледи.

Но разве дело в этом?

Восток становился другим. Азия менялась на глазах. Ее меняли люди — те самые желтые, коричневые, черные, которых всегда презирал сэр Болд.

Почти в каждой карточке «Кладбища» говорилось о ненависти.

Монгол Бадма стрелял в английского лорда. Айсор избил англичанина. Курд убил из маузера британского советника. Индус дал пощечину британскому генералу. Любая карточка «Кладбища» говорила о вспышке человеческого достоинства.

С тревогой сэр Болд наблюдал в Азии перемены. Пришло на сцену новое поколение людей XX века.

Многому угнетенных научили сами угнетатели. Многому сыновья научились от отцов. И теперь уже не очень-то боялись своих хозяев, а если и боялись, то не трепетали. Во всяком случае не испытывали преданности. Отношение высшего существа к низшему, пренебрежение, высокомерие, надменность приходилось сдавать в архив. Сэр Болд мог сколько угодно ненавидеть Октябрьскую революцию, большевиков, но он не мог не признать, что 1917 год нанес удар Британской империи

и что ему, солдату империи, надо меняться. Он не мог пойти против своей природы. Не было человека, которому так трудно было приспосабливаться и напаяливать на себя дипломатическую шкуру.

Лучше всего было бы уйти в отставку. Поступить так, как поступали многие из его сверстников, учившиеся вместе с ним в одной школе. Вернуться в Англию разбогатевшим на колониальной службе и жить где-нибудь в зеленом тихом графстве, предаваясь воспоминаниям об экзотических храмах, пулеметной стрельбе, пальмах, дипломатических конфликтах, таинственных переворотах, гаремах, змеях, жаре, убийствах. Может быть, писать мемуары и скончаться от удара, склоняясь над исписанными листками.

Но тосковать по пустыням, караванным путям, по диким схваткам и медленно умирать вдали от дел не в характере сэра Болда.

Происходят в мире перемены. Сэр Болд найдет способ перемениться. Больше того, он сам направит перемены в нужное русло. Он защитник британских интересов на Среднем Востоке. Им был. Им и останется.

Так он решил. Но одно — решить, другое — выполнить.

Сэр Болд менял свои методы. Лев вобрал в бархатную лапу когти. Во многом Болд преуспел. Он ведь с гордостью мог себе сказать, что его тайная власть даже усилилась.

Но одно вводило его в сомнение. За короткий срок он потерял много людей. «Кладбище» картотеки угрожающе распухало. Появилось слишком много карточек с буквами «БП». Слишком много очень нужных, очень полезных и очень опасных людей исчезло. И исчезло без помощи, без содействия сэра Болда.

А они могли причинить много неприятностей. Не в привычках сэра Болда оставлять следы.

Он метался, искал. Его сбивал с толку Кузьмич. Ничем не замечательный. Самый заурядный. Настолько заурядный, что сэр Болд боялся его. Болду было не до шуток. Да он никогда не слыл шутником.

Он сам проследит связи русского. Путаница лишь усилилась. Кузьмич оказался очень общительным человеком, с самыми широкими связями. У него повсюду имелись друзья, десятки, сотни друзей.

Слишком часто кое-кого видели вместе с Кузьмичом.

«Кое-кто» оказался кяризных дел мастером Али, верблюдом по выносливости, терпеливым, всегда бродящим с арканом на плече, с раздвоенной хворостинкой в руках, ищущим подземные воды. Все подземные водосборные галереи в пограничном с СССР Копетдаге прокопал он или его дед и прадед. Все знали его шапку из волчьего меха, распахнутый халат песочного цвета

из верблюжьего колючего сукна, сжатые в ниточку губы. Он слыл подвижником, говорил мало, но гневно и не терпел возражений. Жил впроголодь, потому что не имел ни семьи, ни дома и не держал заработанных денег. Все раздавал сиротам. Когда-то в давно прошедшие времена туркмены аламанщики похитили у него жену и детей. Шесть лет кяризчи бродил по Бухаре и Хиве и все-таки нашел. Жена к тому времени и двое детей умерли, а шесть ребят выжили. Выкупил четверых, а на двоих не достало денег. Всю жизнь потом носил длинные волосы в знак памяти об утрате дорогих сердцу.

Странствования старого кяризчи по Туркестану давали в руки Болда ниточку.

Грузовик Кузьмича видели на дороге у хижины Али. В кабине сидел рядом с Кузьмичом пассажир, настолько заурядный, что никто не мог описать его внешность.

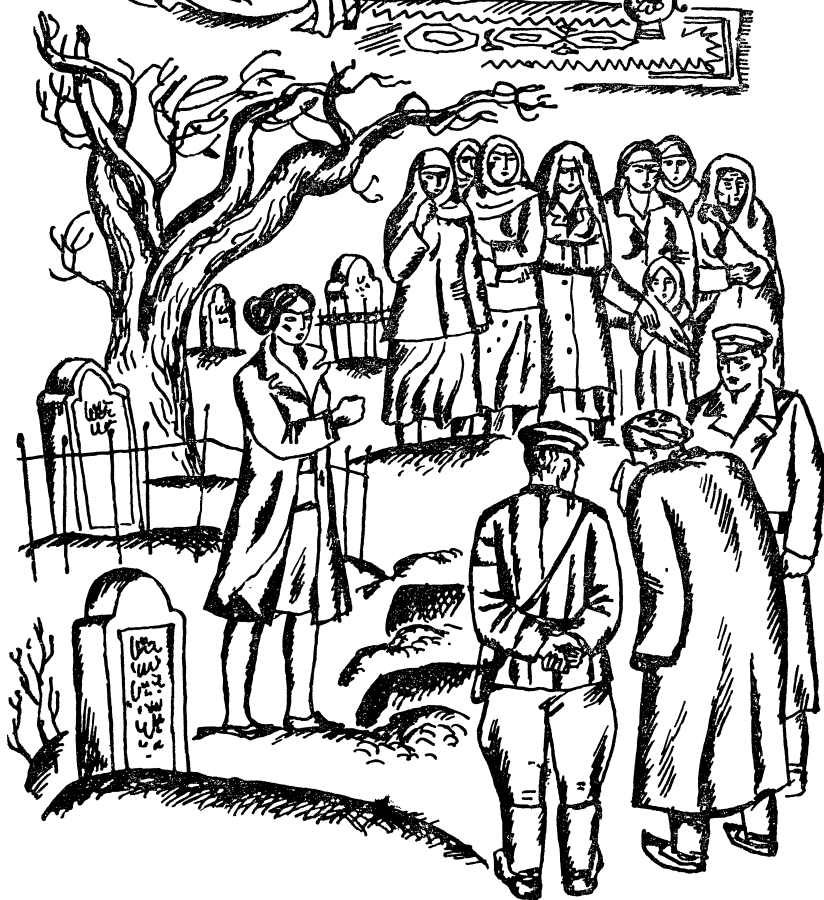
Но бог мой, какой скандал поднялся, когда Зал Зиаэтдин посмел задеть старика Али! Все крестьяне поднялись. Они просто прогнали жандармов и спрятали кяризчи в одном из вертикальных колодцев. Ищи его, когда строящийся кяриз растянулся на десятки километров.

Зал Зиаэтдин боялся Кербелаи. Он сделал все, чтобы заурядный грузовик с заурядным шофером и его заурядным спутником не достиг границы.

Сэр Болд имел своих людей в каждом селении, в каждой дорожной кахвэхане, в каждом караван-сарае, на каждом перевале.

Грузовик потерпел аварию. Он сорвался в ущелье, в пропасть, и разбился. Однако среди обломков машины никого не оказалось.

VI СЛУГИ ЛЖИ



Глава I

Собака с опаленным хвостом...

Ибн Мискавейх

Смотрелся на червонцы, но алчно
тянулся и к медной полушке.

Ибн ал Джаузи

От всего Панбархутхон начисто отрекалась.

Она не знает никакой Сефиет. Не помнит никаких немецких специалистов из фирмы «Даймлер и К^о». Не приглашала к себе их и не угощала бешбармаком. Она никогда не видела госпожи Сефиет ни здесь, в Хазараспе, ни в каком-нибудь другом месте и не понимает, что нужно госпоже от какой-то маленькой работницы прилавка...

— Душечка! — вкрадчиво сказала Сефиет. — Не кричите, душечка! У меня от этой тряски и ухабов мигрень. Есть у вас кофе? Я привыкла по утрам пить кофе. И я замерзла. Не знала, что у вас в Хорезме такой холод...

Без приглашения Сефиет расположилась на знаменитой во всем Хазараспе тахте, покрытой алой бархатной накидкой.

Панбархутхон раскрыла рот. Хотела было снова крикнуть, что она не знает неожиданную гостью, что... Но Сефиет небрежным кивком показала на свои заляпанные грязью «микропоры».

— Душечка, прошу вас...

И девяностокилограммовая, вся колыхающаяся душечка безропотно опустилась на колени, холеными ручками сняла с ног гостей грязные туфли и отнесла в прихожую. Она, которая даже своим почетным гостям устраивала скандал, если они осмеливались не разувшись ступить на ее ковры, ни слова не сказав, взяла веник и вымела комья грязи.

Непрошенная гостя самоуверенно прошла в грязных туфлях через устланные текинскими коврами михманханы и взгромоздилась на нежнейший бархат тахты, словно и дом и тахта принадлежали ей.

Сколько угодно могла Панбархутхон шипеть, но только про себя. И вдруг она сообразила.

Вызывающе розовые щеки ее чуть обвисли, гладкий лоб

прорезали морщины. Теперь Панбархут никто бы не дал меньше тридцати, хотя всех в Хазараспе она уверяла, что ей двадцать пять.

Панбархутхон бледнела и краснела, возясь за плитой в кухне. Озноб пронизывал ее полную спину, туго обтянутую стеганым шелковым халатом.

Война проходила мимо Панбархутхон. В первые дни она поволновалась, изрядно посуетилась. Выходя на работу, она теперь одевалась попроще: перестала менять в день по шесть-семь платьев из панбархата. Она отказалась просить за своего мужа экспедитора, когда его призвали в армию. Он примчался из Нового Ургенча и попросил десять тысяч рублей. Она и слушать не пожелала: «Об ячменную муку зубы не ломают». Панбархутхон понимала, что времена не те, и проводила мужа на фронт. Тут же она дала понять своему домашнему имаму Ходими, что, пока не поздно, ему следует убраться из ее, как она выразилась, скромной хижины. Здесь душечка Панбархутхон просчиталась. Она полагала, что в военное время особенно начнут коситься на духовенство. Откуда ей было знать, что в Ташкенте Ишан Бабахан заявит во всеуслышание о своей лояльности и призовет правоверных мусульман сражаться против фашизма. Так или иначе теперь Панбархутхон повела скромную жизнь и к себе в свою семикомнатную хижину никого посторонних не пускала, пышных «тоев» не устраивала. Мягкая мебель пылилась под чехлами. Жила она со своим старым разведенным мужем — счетоводом карточного бюро. Да еще в большой михманхане ютились три «кенизек». Они стерли со щек румяна, с губ помаду и теперь именовались работницами пошивочной мастерской. И в скромных труженицах едва ли кто теперь признал бы соблазнительных гурий, украшавших еще не так давно веселые вечера «самодеятельности» в скромном домике Панбархутхон.

Панбархутхон с величайшим трудом создала себе в условиях военного времени безбедную, даже сытую жизнь. У нее были доходы. Откуда, какие? Кому какое дело. Она плевала на все: на войну, на нехватки, на горе. Разве страшен утке потоп?

И вдруг... турчанка...

Решительно запахнув халат, Панбархутхон вышла из кухни. Она должна объясниться с этой вынырнувшей из преисподни особой. Душечка решительно шла через анфиладу комнат. Стараясь не расплескать кофе по-турецки, она несла его на серебряном подносике вместе с изящно сервированным завтраком.

Разговор разговором, а про гостеприимство тоже нельзя забывать.

Гостья привыкла к вниманию. Она даже чуть-чуть подняла голос на хозяйку. Заставила сбегать раза три на кухню. Выра-

зила неудовольствие по поводу пятна на скатерти. Потребовала таблетку от головной боли...

— И я попрошу,— сказала Сефиет,— не фокусничать. Вы знаете меня, а я вас. Поймите, вам еще повезло. Слепой кошке попаласьдохлаямышь. Так-то!

Но душечке не понравилось про слепую кошку. Панбархутхон не переносила мышей, даже дохлых.

Она надулась:

— Э нет, лошадь, которую начинают объезжать в тридцать лет, годна только для Страшного суда.

Слова душечки Сефиет сочла за лучшее пропустить мимо ушей. Она расположилась поудобнее и приступила к делу.

— Болтовню оставим. Времени у нас мало. Вообще мало. Сегодня какое число?— Она посмотрела на настенный календарь.— Еле успела приехать. Теперь скажите, где урочище Змушкыр-кала?

— Представления не имею.

— Бросьте. Я же вас предупредила. И имейте в виду, когда они придут — а они скоро придут,— с вас многое спросится и строго спросится. Давайте без... разных там штучек.

— А когда... они придут?

Но Сефиет не соблаговолила ответить. Она задавала вопросы.

— Наиб здесь?

— Нет. Он на Каракуммазаре.

— А Исхакхаджи?

— В Новом Ургенче.

— А большой человек... ваш друг?

Закатив глазки, Панбархутхон повела полными плечами.

— Он здесь... Но что толку...

— Что значат ваши гримасы?

— Ничего... Он думает о водке и... молодом мясе да по-свежее. От него никакого толку.

— Вы тут спите. Что сделано? Какие есть люди? Кто нам помогает?

Снова Панбархутхон повела плечами. Она уселась и даже подложила под локоть подушку. Она разглядывала турчанку, устало развалившуюся на бархатной тахте. Страх прошел, и Панбархутхон могла по достоинству расценить и завивку Сефиет, и шерсть ее элегантного полумужского костюма, сшитого у очень дорогого портного, и чулки, не говоря о сумочке, шедевре галантереи. Особенно поразил Панбархутхон цвет и запах губной помады...

Нет, ничего не скажешь. Госпожа Сефиет умеет подать себя. Было чему позавидовать.

— И в таком виде, милая, вы намерены щеголять по нашему Хазараспу? Да тут все кобели сбегутся к моему порогу,— сказала Панбархутхон.— Нехорошо...

— Не ваше дело.

— Не мое дело!— взвизгнула хозяйка.— Да вы эн-ка-ве-де
на меня науськаете!

— Плевать мне на НКВД и на вас. Вот!

Сефием извлекла из сумочки книжечку, потыкала ею в нос
Панбархутхон, но не отдала и спрятала снова в сумочку.

— Паспорт, душечка!

— Ну и что?

— И имейте в виду, моя фамилия Болд, леди Болд, супруга
члена британской миссии «лэнд-лиза» в Туркестане, сэра Гем-
фри Болда, союзника большевиков и друга.

Полюбовавшись впечатлением от своих слов, Сефием, она же
леди Болд, устало добавила:

— Поболтаем.

Ее интересовало многое: настроение, продовольствие, дезер-
тиры, где они скрываются, бандитизм, то есть басмачество, не-
довольство советской властью, колхозы, сбор хлопка, воинские
части.

— На днях падет Сталинград, а сюда прилетят... птички.
Нужна рабочая сила.

— Какая рабочая сила?— прошипела Панбархутхон. Она не
ответила еще ни на один вопрос. Страх снова поднялся откуда-
то из желудка и подкатывал к сердцу.

Панбархутхон не скрыла ужаса, услышав, что хочет Сефием.

— Рабочая сила,— небрежно проговорила леди Болд.—
Строить посадочные площадки, аэродромы.. Кстати, есть в
Хорезме горючее? Понадобится много горючего: предстоят
большие операции на Ташкент, на Чирчик... Что с вами?

Глаза Панбархутхон выкатились. Рот она зажала своим
белым пухлым кулачком. Ей ужасно хотелось кричать. Какая-
то настойчивая мысль вертелась в ее завитой кудряшками го-
лове. Но какая? Отчаяние овладело ею. Тень чего-то холодного,
жуткого опускалась на нее, на ее квартиру, на ее ковры, ее сун-
дуки. Не успела она вырваться из пасти волка, а уж катится в
зубы тигра. Едва сумела приспособиться. И на тебе. Умудри-
лась увильнуть от закона, спряталась в тихую нору. Перестала
трястись по ночам, нашла сильного покровителя. А теперь
тут, на бархатной суфе, сидит этот шайтан в юбке и своей
узкой аристократической ручкой рушит дворец ее благопо-
лучия.

Панбархутхон видела шевелящиеся накрашенные дорогой
помадой губы и ничего не слышала, ничего не понимала. Не
хотела понимать.

Совсем невпопад она спросила, заикаясь:

— Вас... ви-ви-дели?

— Что такое?— с удивлением вздернула тончайшие выщи-
панные брови Сефием.

— Видели на улице? Около дома?

Сефие улыбнулась и показала безукоризненные жемчужные зубки.

— Не беспокойтесь... Видели. И вообще кому надо, тот знает, куда я пошла. Так что без шуточек.

Две женщины сидели друг против друга. Их лица улыбались очень приятно, даже душевно. Две кошечки приятно мурлыкали. Но в глазах Панбархутхон горело отчаяние и решимость. Глаза Сефии не выражали ничего. Панбархутхон перепугалась.

— Шуточки оставь при себе, азиатские шуточки,— продолжала Сефия,— и давай без «вы». Слишком официально.

Она поднялась с тахты и приказала:

— Пойдешь в город и к... своему. Выяснишь обстановку. Устрой с ними встречу на вечер. Уходи. Я не спала ночь. На пароходе было полно клопов. Ну, быстро.

И уже выпроводив Панбархутхон и запирая дверь на два оборота ключа, она прокричала:

— Без шуточек! Беги!

Сефия юркнула на тахту и почти мгновенно заснула.

Что ей снилось?

Богатые хорезмские поместья? Тысячи покорных крестьян рабов, унаследованных от деда Джурабека? Или международный пушной аукцион в Лондоне, где блистает она, леди Болд, «королева каракуля»? И золото сыплется дождем.

Или она в столице Туркестана в своем дворце устраивает прием, и блеск мундиров затмевает сияние люстр?

Или она совершает вояж в собственном самолете, роскошью своей спорящем со знаменитой летающей яхтой короля Ибн Сауда, где имеется даже золотой трон?

Или она погружает до плеч свои ослепительные нежные руки в золото... и ласкает пиастры, доллары, фунты, гульденy, франки... золото.

Ее золото!

Сефия спит беспокойно. Она устала, измучилась.

С того дня, как Сефия переступила советскую границу под руку со своим супругом сэром Гемфри Болдом, она не знает покоя. Все складывается не так.

Нет, она спокойна за себя. Все проверено: и документы, и маршруты по Советскому Союзу, и личная безопасность, и сохранность ее гардероба. Во всем полная уверенность.

И даже когда она пожелала сойти с поезда на станции Чарджоу и совершить поездку в Хорезм по Аму-Дарье на пароходе, все устроилось моментально. И даже про клопов в каюте парохода она выдумала Панбархутхон ради красного словца. В Тегеране ее предупреждали, что в России клопы. В каюте не было клопов. Ей создали все условия, о ней заботился капитан

парохода, очень культурный, очень предупредительный туркмен.

Нет, Сефием беспокоило другое. Она ждала найти в России разруху, панику, нищизу, недовольство, ненависть, голод, бандитизм, но увидела совсем иное. Лишь недавно она проехала всю Анатолию, Курдистан, страну луров, почти весь Иран и Хорасан, могла сравнивать и сопоставлять.

Многое в СССР ее поразило. Как так! И Турция не воюет. И Иран не ведет ни с кем войны. А положение народа и в Турции и в Иране бедственное. Советский Союз уже полтора года воюет со страшным противником, опаснейшим противником. Фашисты захватили богатейшие провинции России. Германские войска вышли на Волгу. А советскому народу хотя и тяжело, но живет он сытнее, нежели турки, персы, курды, арабы, кочевые племена.

Где же в Советском Союзе паника? Где развал? Где восстания и мятежи шестидесяти миллионов советских мусульман?

Турецкий язык позволял Сефием общаться и с туркменами, и с узбеками, и с татарами... И все на своих языках проклинали Гитлера, фашистов.

Ей, супруге британского представителя «лэнд-лиза», представили большую свободу передвижения. Сэр Гемфри Болд отправился прямо в Ташкент. Он не делал тайны, что его очень интересует армия Андерса. Он хотел встретиться и поговорить с самим Андерсом. Своей супруге леди Болд он поручил проехать в Хорезм, где по весьма проверенным данным — и это тоже не скрывалось от советских властей — проживал со времени разгрома Польши некий князь Радзивилл, потомок польских королей и претендент на польский престол. Сэр Болд имел прямое поручение союзнических правительств установить связь с князем Радзивиллом, проживающим в Хорезме. О том, что на случай восстановления Польской Речи Посполитой союзники возлагали на князя Радзивилла некоторые надежды, говорилось вполне определенно, даже писалось в солидных газетах, таких, как «Таймс». Сефием не знала местожительства Радзивилла. Она знала только, что живет князь где-то в Новом Ургенче в очень скромном домике, получает скромный паек военного времени и интересуется охотничьей дичью почти с научной точки зрения, что он стар, этот претендент на королевский трон, любит коньяк и обладает исключительным здоровьем. Князь Радзивилл ненавидит германский фашизм, но фашисты очень интересуются князем Радзивиллом. Последнее обстоятельство леди Болд предпочитала держать при себе. Но при встрече она должна была передать князю на словах вполне деловые предложения.

Трудно поручиться, что планы, расчеты, воспоминания делала тревожным сон леди Болд. Обо всем она уже предоставила подумала за три дня, пока пароход тащился, шлепая

плидами по осенней сильно обмелевшей Аму-Дарье. Тревожила сонный мозг Сефием одна мысль, вернее не мысль, а внимательный, пристальный взгляд.

Нет, взгляд, преследовавший ее даже во сне, принадлежал не поклоннику ее красоты. Взгляд очень строгий, настойчивый и... пожалуй, чересчур холодный. Взгляд не напрашивающийся, не вызывающий, скорее старающийся быть незамеченным. Но очень приметный, потому что... потому что...

И тут Сефияет поспешила проснуться. Нет, ей надо поразмыслить. Взгляд не мог принадлежать обычному человеку. Сефияет знала цену себе, знала, что ни один мужчина не может сдерживать восторга при виде ее. На улицах Парижа к ней подходили незнакомые солидные люди, приподнимали шляпу и скромно молили: «Только поцеловать руку! Справедливая дань вашей неземной красоте!» Они целовали ей руку и уходили восхищенные.

А тот взгляд принадлежал человеку со стальным холодком в глазах. Взгляд изучал?

Сефияет быстро села. Откуда-то подползала опасность.

Дверь явно кто-то трогал. Кто-то с легкостью и осторожностью поворачивал оставленный изнутри ключ в замке...

Улыбнувшись, Сефияет легла. Ей совсем не хотелось торопиться. Ей не хотелось также избавлять от мучительной, сложной работы того, кто пытался забраться к ней в комнату. Требуется большое умение и ловкость, чтобы повернуть ключ в замке снаружи. Панбархутхон позаботилась о прочных замках в своем «домике». Сама Сефияет имела немалый опыт по замкам. Она прошла хорошую школу у некоего Гельмута, сотрудника германского посольства, когда оно еще находилось в Стамбуле. Никакой замок не мог устоять под ее изящными пальчиками, которые так любят целовать мужчины.

Наблюдая за медленным, очень медленным движением ключа, леди Болд продолжала мысленно изучать столь беспокоивший ее взгляд. Она не испугалась своего открытия, сделанного во сне. Она чувствовала себя очень прочно под охраной британского льва и единорога. Британский паспорт, марка «лэнд-лиза» — безупречное прикрытие — обеспечивали ей полную неприкосновенность. Сефияет беспокоили мелкие осложнения. Ей могли помешать, ее могли, выражаясь языком высокой дипломатии, «выдворить» за пределы Советского Союза.

Надо вспомнить. Надо подумать. Кому же принадлежат глаза с таким взглядом? Мысль о взгляде теперь звенела в голове, жужжала мухой. Сефияет засуетилась на бархатной тахте, словно синяя муха на оконном стекле. Перед собой она видит открытое пространство. Лети куда хочешь. И никуда не можешь. Путь свободен, а ни с места. Мысль жужжит. Глаза. Чьи глаза?

И вдруг вспомнила. И сделалось жарко. Впервые она вздрогнула под взглядом этих глаз... Боже мой! Неужели так давно в Исфагане? Именно тогда на нее в первый раз смотрели холодные, изучающие глаза. На пороге магазина она неожиданно столкнулась с бронзоволосой куклой, дочкой курдского бая, цыганкой Хуршид...

Чем-нибудь удивить Сефиет трудно. Но тогда встреча ее просто ошеломила. Бронзоволодая Хуршид появилась в Исфагане из бездны, бездны, в которую она, Сефиет, столкнула дерзкую особу, осмелившуюся встать на ее дороге. Сефиет решительно верила, что Фазлутдин Отчаянный, многоопытный торговец рабами, не выпустит из своих лап такой лакомый кусочек.

Тогда в магазине при виде бронзоволосой цыганки Сефиет так поразилась, что не успела разглядеть обладателя холодного взгляда. И теперь очень жалела об этом.

Таким, как Сефиет, нельзя допускать небрежности даже в мелочах. Вместо того, чтобы спокойно выяснить, как могла вырваться из лап Фазлутдина бронзоволодая Хуршид, она унизилась тогда до бабской возбужденной словесной перепалки с разъяренной сузмени. Они чуть вульгарно не подрались прямо на людной улице. Уж очень оскорбительно выразилась Хуршид. А человека, который властно увел под руку разъяренную бронзоволосую ведьму, Сефиет не запомнила, совсем не запомнила.

И вот расплата за допущенную тогда женскую слабость.

Холодный взгляд. Спокойный взгляд очень опасного человека.

Исфаган и Хазарасп. Иран и советский Хорезм. Тысячи километров! Какая же связь?

И все же сердце сжимается. Связь есть. Холодный спокойный взгляд.

Сефиет чуть не закричала: в Исфагане на пороге магазина, в Тегеране в кафе «Ориент», в Мешхеде у Золотого купола имама Резы, еще в Мешхеде, на улице во время бракосочетания с сэром Болдом, на советско-персидской границе в таможне. в Гаудане, в Ашхабаде, в поезде Красноводск — Ташкент, в Чарджоу, на пароходе, о-о-о! Глаза! Глаза призрака!..

На Сефиет в приоткрытую дверь смотрели совсем другие глаза, испуганные, бегающие.

Смотрела перепуганная Панбархутхон, наконец справившаяся с замком.

Сефиет соскочила с бархатной тахты, прошла своей подчеркнуто пружинистой походкой по ковру к двери, втащила увесистый «призрак» в комнату, отобрала длиннющий кухонный нож и отхлестала Панбархутхон по щекам.

— Да,— сказала она,— правильно говорят: «Война — праздник смерти!» Но если ты думаешь, душечка, что я умру раньше тебя, ошибаешься. Подохнешь раньше ты!»

Она брезгливо посмотрела на валяющийся на ковре ножик. — И поверь, душечка, найдется более совершенный способ запрятать твои сто двадцать килограммов жира под землю. И я уж постараюсь, чтобы жизнь вытекала из твоего гнусного пуза по капельке... по капельке. И чтобы каждая вытекающая капелька причиняла тебе муки ада...

Она закурила сигарету. Пальцы ее, длинные, нежные, даже не дрожали. С любопытством разглядывала она стоявшую посреди комнаты, обливавшуюся слезами, опустившую бессильно руки Панбархутхон.

— Что же мне с тобой делать?— думала вслух Сефие.

И вдруг она закричала:

— Убирайся на кухню! Подбери нож и убирайся на кухню.

Оставшись одна, леди Болд докурила не торопясь сигарету, потом вскочила и принялась одеваться. Она собралась почти мгновенно, в дверях приостановилась:

— Глаза призрака,— пробормотала она, и морщинки побежали по ее чистому гладкому лбу.

Многие хазараспы видели на своих узких улочках в тот день иностранку. Она ехала на легковой «эмке» по ургенчской дороге. Никто не успел разглядеть, какому учреждению принадлежала машина.

Машину бросало на колдобинах. Дорога тянулась бесконечно. Холодные сквозняки гуляли в машине. Снаружи в ночи не светилось ни огонька, ни звездочки. Холодные глаза смотрели из тьмы на Сефие. Вслух она проговорила:

— Дурной человек — тигр. У дурного человека острые зубы. Дурной человек того съест, кого захочет.

Время на долгой дороге тянется медленно. Единственное развлечение — ухабы, колдобины да грохот мотора. Есть время думать.

Мысли лезли в голову тягучие, скучные, тревожные.

Сефие недоумевала. Сколько она встречала людей самых различных: старушек на улицах Ашхабада, кочевника в трехэтажной папаше, колхозников из-под Чарджоу, человека в форменной морской фуражке, плачущую девушку, провожавшую джигита на фронт, двух толстяков чалмоносцев, какого-то не то цыгана, не то просто бродягу по дороге от пристани,— и со всеми Сефие говорила вкрадчиво, доверительно о свободе, о демократии, об идеях. Одни смотрели на нее с недоумением, пожимали плечами, другие просто: «С ума гражданка спятила». Толстяк чалмоносец потянул в милицию: «Какая демократия? Какие идеи?» Еле сумела отвязаться. Колхозники смотрели подозрительно. Спросили: «Это что же? Баев вернуть хочешь. Баев не ищи. Придушили кровопийц!» Бродяга, оказавшийся путевым обходчиком, разговаривал не слишком вежливо: «Всех бандитов давно закопали. Что ты за птичка?»

В Чарджоу по явке она пошла в один дом. Она искала некоего Закарию, деятеля джаидов. Ее пригласили, усадили за обеденный стол, угостили. На нее смотрели с удивлением молодые люди. Они ничего не знали об «иттихаде», «иттифаке». Дед их Закария когда-то рассказывал им про эмира, про Энвера. Удивлялись ее наивным представлениям о Советском Союзе. Ей простительно не знать: она иностранка. Молодой врач все рвался повести ее в госпиталь, показать, как сейчас лечат. Высмеивал знахарей, дававших вместо лекарств пепел со святой могилы. Другой молодой рассказывал про фронт, показал боевые ордена, нашивки за ранения, ругал Гитлера, а заодно и союзников: «Не открывают, собаки, «второго фронта». Большеглазая девушка, оказавшаяся учительницей, захлебываясь, говорила про учеников. Прибежали малыши из школы. И когда леди Болд узнала, что семья узбекских интеллигентов усыновила и удочерила трех сирот, родители которых погибли в Белоруссии и Литве, и что никого не беспокоит, что Митя белорус, Рита украинка, Эдна еврейка, Сефиет замолкла и поспешила покинуть гостеприимный кров. Она даже рада была, что «не раскрылась» до конца и что старый иттихадист Закария умер.

Сефиет недоумевала. Потом решила, что просто случай становится на ее пути. Жесткая складочка в углу рта сделалась еще жестче.

Видела Сефиет предприятия, и богатые земли колхозов, и ирригационные сооружения, и школьные здания, электричество в домах, тракторы и сельскохозяйственные орудия на плантациях, хлопок, каракуль, шелк. Глаза разгорались. Как неизмеримо ушел Туркестан от восточных стран, таких, как Турция, Ирак, Иран! Было чем поживиться предприимчивому человеку.

И предприимчивости Сефиет было не занимать. Высокие идеалы! Болтовня о благородных идеях! Нет. На устах Сефиет было имя божье, а в душе — мысль о грабеже. Она осязала мысленно, физически близящиеся богатства. Ее богатства! Мысли о них помогали ей коротать время на тяжелой ухабистой ургенчской дороге. Она уносила в мир грез. Но все же Сефиет не могла забыть холодных, испытующих глаз даже здесь, в мечущейся, подпрыгивающей на замерзших колеях машине, среди осенней хорезмской ночи. Эти глаза портили настроение леди Болд, ехавшей на свидание с потомком польских королей князем Радзивиллом.

Она заснула, умудрилась заснуть. Проснулась, когда неверный дрожащий свет заливал покрытые изморозью улицы Нового Ургенча. Сефиет сильно прозябла. Холод пронизал ее всю, и начал бить отвратительный озноб. Она впервые за всю поездку увидела лицо шофера машины. Но не лицо ее поразило: лицо

обыкновенное, невыразительное. Сколько угодно таких лиц могло попасться Сефие, и она не обратила бы на них внимания.

Но глаза!

Сефия задрожала при виде глаз шофера. Глаза в Исфагане. Глаза на границе. Глаза на перроне ашхабадского вокзала.

Нет, она сошла с ума. Она распустила нервы. Ее все еще бил озноб, когда водитель машины, смотря на нее своими холодными испытующими глазами, спокойно спросил:

— Ханум, куда прикажете ехать! Мы в Новом Ургенче.

Глава II

Даже из золотого кувшина вытекает только то вино, которое внутри него.

Амин Бухари

Когда жизни близится предел, какая разница между Багдадом и Балхом.

Омар Хайям

Все не нравилось Сефии. Иронический привкус разговора, холод, вырывавшийся из-под дверей и из двух низеньких окон, несерьезное отношение к ней, излагавшей с некоторой напыщенностью «великое» поручение великого рейха, чад от убежавшего и подгоревшего молока, сам господин Радзивилл с красными веками глаз и набухшим, почти багровым носом, и с неловкими попытками скрыть отрывку. Тяжелый дух непротериваемой давно постели, суетившаяся красномордая тетка и ее явно фамильярное обращение.

— Простите, мадам, мой непрезентабельный облик,— с хрипотцой в голосе говорил Радзивилл,— тысячу извинений, мадам, целую ваши нежные ручки!

Длинный, сутулящийся, он слонялся по комнате, почти задевая лысиной низкий потолок, старательно запахивая свой выдавший виды халат и с опаской поглядывая на кончик давно не стиранной простыни, предательски вылезшей из-под шелкового покрывала. Господин Радзивилл фривольными шуточками пытался прикрыть свою неловкость, хотя и держался очень корректно. Но скоро с досадой Сефия обнаружила, что этот величественный и напыщенный аристократ с одного взгляда раскусил ее.

Удивительно небрежно он отмахнулся от серьезного и заметил:

— Тысячу извинений, мадам, но всю ночь... еще раз простите, мы отдавали дань Бахусу и Цитере... Небольшой званий, так

сказать, прием с ужином... с приезжими товарищами... из Ташкента прибыли... И вам, миледи, понятно, как говорят ваши соотечественники: «Хорошо бы сейчас съесть клок шерсти собаки, которая меня вчера укусила!» А на моем же польском варварском языке: «Хорошо бы опохмелиться!» Целую ваши ручки, мадам! Какие ручки! Такие ручки могли бы быть услугой любого короля... Настоящего, конечно!

Более резко, чем следовало бы, Сефием вырвала ручку из опухшей, покрытой голубой сеткой вен огромной ручки потомка королей и попыталась ледяным тоном продолжать:

— Но, господин Радзивилл...

— Валишевский, целую ручки, мадам. Здесь, в глубинах Азии, я — Валишевский... пан Валишевский.

— Но... совершенно серьезно предлагают вам...

Старик вернулся к табуретке, на которой, вытянувшись стрелкой, восседала леди Болд. Откровенно любуясь ею, воскликнул:

— Дипломатия — потаскуха! Дипломаты — сводни. Не переноси сводней, а политических сводней особенно.

Мраморная белизна безукоризненно красивого лица Сефия вдруг сменилась подозрительной розовостью. Она приоткрыла рот... Радзивилл стремительно схватил ее руку и запечатлел долгий поцелуй.

— Божественны! Вы божественны! Клянусь, готовое украшение для любого королевского трона. Почему, увы, почему самые прелестные представительницы прекрасной половины рода человеческого лезут в политику? Вам бы успокаивать политические страсти, лелеять нас, грубых мужчин, украшать собой гостинные и альковы. О! Лицезрею вас — вашу несравненную красоту, и у меня даже сердечные спазмы проходят... О, как говорят персы, вы «майеи лаззат» — услада мыслей... Простите, вы не персиянка? О, еще раз простите. Вы же миледи, вы леди Болд. Но, еще раз простите, я скромный специалист по генеалогии британской аристократии... и такого лорда... барона... гм-гм... Болда не существует.

— У вас сомнения? — Сефия краснела все больше, ее злил этот старик.

— Избави меня matka-бозка! Но вы не англичанка. Поверьте мне, не сочтите меня фатом... или циником, но при вашей профессии вам много приходится слышать и знать...

— Профессия?

Но аристократ мечтательно поднял глаза и воскликнул:

— Скольким женщинам я дарил цветы на своем веку! Сколько женщин уделяли мне крупницы своей благосклонности! И поверьте, я с одного взгляда различу англичанку от француженки, итальянку от турчанки... Цвет глаз, запах кожи...

Сефия вскочила...

— Тысячу извинений! Целую ваши ручки. Вы божественны!..— И тут же жестко добавил:

— Не хочу быть грубым, но вы сами знаете, кто вы. И если вы не хотите играть до конца... играть очаровательницу не только дипломатическую, то давайте закончим беседу и разойдемся. А жаль! Давно уже... С тридцать девятого у меня не было такой прелестной... гм... знакомки... Поверьте, что в отсветах золотого ореола герба Радзивиллов охотно сияли самые прелестные девы Европы и Востока...

Он чуть суюкал и, потирая свои огромные старческие руки, не спускал глаз с точеных ног Сефие.

— Дорогая!— бормотал он про себя.— Очень дорогая... жаль...

Он прошагал своей молодой походкой к оконцу и выглянул сквозь заклеенное бумажкой треснувшее стекло на улицу. Ветер гнал жухлые коричневые листья по замерзшим комьям грязи. Снежинки порхали на фоне серых слепых дувалов.

— И вот великолепный магнат,— воскликнул он с горечью,— великолепного Польского государства принимает среди сей роскоши жилищ и природы великолепную... женщину... Матка-бозка! А вы знаете, что два года назад князь Радзивилл бросил бы к вашим дивным ножкам великолепный парк, равный по площади всему Новому Ургенчу. А вы знаете, что ваше чудесное тело вы бы нежили в золотой ванне... Да, да, в ванне из чистого золота... Иного ваша прелестная кожа недостойна!

Он шагнул к Сефии с протянутыми руками. И молодая женщина перепугалась этих узловатых, похожих на когти зверя пальцев с огромными желтыми ногтями. Но тут же Радзивилл остановился и крикнул:

— Фатма, принеси пойн! В груди горит!

Краснолицая вошла, остановилась на пороге, подпирая сложенными руками груди, и покачала головой.

— Видите!— закричал Радзивилл.— Смотрите! Первому помещику Европы, магнату, отказывают в рюмке водки. Ха! А вы предлагаете корону... трон... порфиру...

— Я очень рада,— сказала Сефия,— что в вас еще горит ненависть к большевикам. Значит, вы готовы к действию.

Резко повернувшись, Радзивилл усталоса на Сефи:

— Большевики? Я ненавижу большевиков, Советы. Но при чем тут большевики?

Сефия обвела рукой комнатушку, жалкую обстановку, низкий запыленный потолок, прокопченную плиту:

— А кто, как не большевики, виновны в нищете потомка королей?

Поляк застонал.

— Большевики?.. А Гитлер? Подлец Гитлер... А-а-а!

В разговор вмешалась краснолицая Фатма:

— Нас, гражданка, не обижай. Дом у нас как дом. И комната хорошая. И вот им,— она показала на Радзивилла,— первой категории паек в ларьке дают. Конешно, не жирно, но война. Другие совсем плохо получают. А вы, гражданочка, бытта бы ничего, да безалаберно маненько тут всякие шуры-муры разводите... Шли бы, и все тут...

Покачивая своими телесами, Фатъма величественно удалилась, а Радзивилл уселся за стол и как-то весь сник.

— И все тут...— сказал он тоскливо.— А вам пора разубедиться во мне. Никакой я не претендент... Игра окончена. Перед вами уничтоженный, растоптанный поляк, без идеалов, без будущего. Но одно... Об одном я мечтаю по ночам, когда у меня бессонница, когда рядом храпит моя томная гурия, толсто-задая, пардон, Фатъма... Об одном я мечтаю: поймать этого фельдфебелишку. Нежненько взять за шею и постепенно, полегоньку сжимать пальцы, долго сжимать. Нежненько душить. Часами душить, сутками душить... За все, за все...

Он вцепился узловатыми пальцами в край стола и хрипел:

— За Польшу... За имение... За кровь... За польских кравиц, паненок нежных... За детей... За поляков... За все!

Он долго не мог успокоиться.

Сефие т ждала, кусая губы. Уйти ни с чем!.. На потомка королей возлагались большие надежды. Еще там, у Папена, шли разговоры. Почему-то и в Трабазоне считали, что в руках энергичного, деятельного поляка нити многих дел. Когда-то Радзивилл изучал Восток, восточные языки. Его знали и в исламском мире. Его связывали с армией Андерса. У Радзивилла имелись якобы «явки».

Сефие сидела и кусала губы. Радзивилл — слуга двух господ. Так думали все. Каждый считал его слугой своих интересов, своих планов. Сэр Болд еще перед отъездом из Мешхеда говорил: «Во что бы то ни стало надо установить с ним контакты. Хорошо бы повидать его. После войны очень понадобится. Папен говорил: «Военное счастье переменчиво. Вдруг придется отступать. Мы, немцы, слишком наследили в Польше. Трудно вернуть популярность, а Радзивилл мог бы помочь. Старый польский магнат. Германofil». Сефие не верила, что Германия отступит. Не сегодня-завтра падет Сталинград и немцы придут в Хорезм. Не пугнуть ли высокомерного вельможу... Она не верила, что Радзивилл так уж ненавидит немцев. Он сам сказал: «Не люблю большевиков». У Радзивиллов с русскими старые счеты. Род Радзивиллов идет от времен унии Польши с могущественным княжеством Литовским. Почти пятьсот лет. А Радзивилл Януш, Литовский великий гетман, в XVII веке воевал в Белоруссии и на Украине... Нет, Сефие знала историю, вернее все, что надо знать. Много она знала и про старика, сидевшего понуро перед ней за грубым дощатым столом.

Прекрасный спортсмен. Здоров. Сложен как Геракл. Кумир женщин. Дон жуан. Имел бесчисленных содержанок. Щедр, даже расточителен. Но политикой не занимался.

Так вот у нее он займется политикой. Она-то взбодрит его и одухотворит. Сколько ему? Уже за шестьдесят, но посмотрите на него. Рост — сто девяносто. Вес фунтов двести. Осанка королевская. Верховая езда. Охота. Гольф. Теннис. Беда — много пьет. Говорят же, допивался до зеленого змия. Ловил на плече у доктора чертиков.

Она вглядывалась в его лицо. Видела желтые, плохо выбритые щеки, мешки под глазами, стеклянный взгляд. Мелькнуло в голове: «Равнодушен! Ко всему равнодушен».

И, словно уловив ее мысль, Радзивилл сказал:

— Дотлел. С тех пор на все махнул. Здесь не действуют законы моей страны. Здесь сняты обязанности, определявшие мою жизнь. Да и какие тогда были обязанности? Никаких. Что-то там тлело внутри. Что-то теплилось о родине, великой Польше. Тлело и дотлело. И я дотлел.— Покрывив губы, он прохрипел:

— Что теперь Радзивилл? Спальная принадлежность госпожи Фатьмы, кухарки...

Но Сефьет не сдавалась. Она не верила, что под циничной личиной стареющего аристократа не пылает пламя честолюбия. Она мерила своей меркой. В отчаянии, что рвется нитка бисера интриг, с таким трудом, невероятным трудом, нанизанных заговоров, она накинулась на Радзивилла с упреками, доводами, призывами. Сефьет понимала: еще немного — и нитка разорвется, бисер рассыплется. И от поистине заманчивых хитросплетений ничего не останется. Несколько блесков в грязи. Она говорила о блеске будущих империй, о сказочных богатствах, которые хлынут на них. О величии Польши. О том, что миру нужен избранный герой. Что народ — грязная, гнусная толпа. Что сейчас слепая разрушительная сила в образе Гитлера вырвалась из темной бездны истории. Что только перед такими, как она, Сефьет, и он, Радзивилл, раскрываются законы развития мира; что она всемогуща своим женским обаянием и золотом, а он, Радзивилл, — силой разума и сознания своей исключительности. Остановить безумие толпы, поток разнузданных неистовств могут лишь герои, подобные им...

Сефьет внезапно остановилась. Ее порастил бесстрастный, стеклянный взгляд глаз Радзивилла. Она не могла продолжать. Воспользовавшись этим, он заговорил:

— Сакраментально... Женский щебет — и столько философии! Джик-джик! И сверхчеловеки! Джик-джик! Вершители истории! А на самом деле все ваши идеи, мадам, крутятся вокруг золота, жратвы и спаривания. Оружие ваших рыцарей истории — бицепсы, пистолет, женские бедра. Джик-джик! —

птички щебечут. А ландскнехты кулачного нрава, грязные проходимцы лезут в национальные герои... Джик-джик!

Нитка порвалась — бисер рассыпался. Планы оказались ничемной мишурой.

Сефие́т вскочила и истерически выкрикнула:

— Вы еще раскаетесь!

— Целую ваши ручки, мадам! Ну к чему так расстраиваться? Вы огорчены? Помилуйте, вы меня воспламенили, мадам, но совсем не на то. Вы богиня! Оставайтесь!

— Вы... вы предатель.

— О,— сказал Радзивилл, приближаясь,— какой красивый зверек! И коготки показывает. Или вы из тех... вроде Мата Хари? Как я не понял сразу. Ай-ай-ай! Или вы из тех ответственных агентов «с правом убийства»? Роскошная шпионка... Очаровательная авантюристочка... Но, но... С таким огнем вам на эстраду или в «Эву» на Монмартре — какие там голенькие канашечки! Или в «Муленруж», а не пугать бедных потрепанных ловеласов.

Спазма перехватила горло леди Болд.

Радзивилл почтительно поймал ее руку и чмокнул громко: — О мадам, можете не трудиться. Не убивайте поклонника ваших прелестей, целую ваши ручки. Я не выдам вас злодейской ЧК хотя бы потому, что ненавижу большевиков. Прощайте, прелестное видение! А я пойду на кухню, шлепну мою Фатьму по месту, откуда ноги растут, и попрошу сварить потомку королей манную кашу. Целую ваши ручки, мадам!

Глава III

Ты по натуре своей поденщик, который падает на колени, когда видит медную монету.

Ал Хамдами

Имя Волк нарекла ему мать в день рождения. Если же взглянуть — он хуже шакалей сучки.

Амин Бухари

Сефие́т почувствовала, что нитка бисера порвалась, бисер рассыпался. Ни уговоры, ни яд, ни лекарства — ничего не исправят. Просчет!

Но чей? Поляк ни при чем. Просчитался, сглупил фон Папен, или Мустафа Чокай, или кто-то из... министров.

С каким презрением оттопырилась нижняя губка Сефие́т! Она презирала господ министров Туркестана. Курят сигареты, распивают кофе, лежат кверху брюхом в чайхане. О, Сефие́т

прекрасно изучила повадки своего супруга Муслима Турсунбаева! Одно лишь могло вырвать его из гашишных грез — месть, мысль о кровниках. И все они такие. У всех одна какая-нибудь страстишка.

Нет, она всерьез верила в выдуманную не ею, но такую подходящую, удобную теорию — единственный творец истории — золото, а золото раньше или позже притекает в руки женщины. Значит, творец истории — женщина, или, вернее, Сефиев.

Времени оставалось совсем мало. Время подстегивало. Провал планов не обескуражил Сефиева.

Поразительно. В Новом Ургенче она была года два назад, да и то проездом. Но сейчас она шла уверенно по улицам и проулочкам, никого ни о чем не спрашивая. Ни разу не взглянула на полустершиеся, пропыленные, заляпанные грязью дощечки с названиями улиц. Она уверенно подошла к высоким узбекским воротам. Но за несколько шагов до ворот открыла сумочку и погляделась в зеркальце. Это позволило ей убедиться, что на улице нет шофера с холодными испытующими глазами, которые преследовали ее даже во сне.

Бывают же совпадения! Почему одни и те же глаза не могут показаться у разных людей?

Могут, но не должны. В жизни Сефиев такие единственные в своем роде глаза не могут попадаться дважды.

Такие глаза принадлежат человеку, которого ничто не заставит сойти с раз избранного им пути: ни отец, ни мать, ни женщины.

Она еще раз посмотрела на отражение узкой улочки в зеркальце. Мгновенно глаза заметили женщину с авоськой, древнего чалмоносца с посохом, стайку школьников, настроенных очень беспечно, облезлого, но очень развязного пса.

Леди Гемфри Болд не имела поручения посетить дом с узбекскими высокими воротами. Она не успела придумать или избрести подходящего повода. Но нитка бисера рассыпалась, времени почти не оставалось. Пришлось поступиться правилами конспирации.

Она толкнула калитку и вступила в темный провал старинных хивинских ворот, огромных, с глинобитными башнями, с боковыми каморками для привратника и челяди, с внутренними глиняными завалинками, на которых слуги сидели по вечерам в ожидании ужина. И здесь же в сумраке, под крышей леди Болд лицом к лицу столкнулась с Исхакхаджи — хозяином старинного дома с передним мужским двором, с михманханой, отгораживавшей женский двор — ичкарни. И все в этом доме: и паласы, и сандал с жаровней, и алебастровые ниши, и бархатная тюбетейка — говорило о старине, о патриархальщине.

Да, оказывается, Исхакхаджи ждал леди Болд. Да, он знал, что госпожа Болд приехала в Хорезм. Да, он знал, что госпожа

придет. Поэтому он и стоял в воротах и даже открыл калитку. Обычно он всегда держит калитку на засове. Вот и сейчас он задвинет засов. А потом попросит госпожу подняться в михманхану. Чай уже приготовлен. Пожалуйста, «мархамат, канэ», пожалуйста пить чай. С холода приятно попить чаю.

Да, да, он знал, что госпожа прибыла. Он знал, что госпожа Болд иностранка и интересуется древними миниатюрами персидских художников. О, в Хиве очень много до завоевания Туркестана проживало персов — пленников и рабов из Ирана. Среди рабов насчитывалось немало художников, оставивших после себя бесценные книги с рисунками.

Говорил хозяин дома громко, поглядывая из-под очков в золотой оправе на задвинутый его рукой засов. Особенно громко говорил о миниатюрах, называя имена персидских художников. Пока они шли по кирпичным плитам дворика и поднимались по высокой кирпичной лестнице на кирпичную же террасу перед зданием с высокими дверями-окнами, где помещалась михманхана, он почти кричал. Но едва захлопнулась за ним дверь, он загнусавил вполголоса:

— Что ты делаешь? Я не узнаю тебя! Что с тобой? Разве так поступают! Ты забыла правило: раз появилась угроза провала, все надо бросить... прекратить, исчезнуть... А ты...

Исхакхаджи стоял у порога несчастный, убитый, ветхий в своей бархатной, потертой ермолке, с желтой от табака бородашкой и тоскливыми, перепуганными глазами за стеклами очков в золотой оправе. Он даже не пригласил совершенно застывшую на ургенчском зимнем ветру Сефиет подсесть к сандалу и согреться. Так он растерялся.

Но Сефиет и сама знала, как поступить.

— Помоги!..

Она заставила старика нагнуться и снять ей с ног покрытые холодной, липкой грязью «микропоры».

— Погрей мне ноги. Да не так. Ай, да ты совсем расклеился. Аллах, что с тобой за какие-то два года сделалось? Или у меня ноги покривились, в саксаулины превратились? Клянусь Айшей!

Она шаловливо, пренебрежительно погладила рукой хозяина дома по седоватым, коротко стриженным волосам, легко пробежала по паласу к сандалу и засунула ноги под одеяло.

— Ах, тепло, ах, хорошо! И чего ты волнуешься? О провале и речи нет.

Сефиет расшалилась. Шлепнула хозяина дома ладонью по выпиравшему из-под жилетки животу. Щебетала, рассказывала о путешествии. Но веселилась она или делала вид, что веселится, недолго, ровно столько, сколько потребовалось, чтобы прийти в себя, выпить чаю с коньяком, отогреться. Тогда она

посмотрела на сидевшего против нее Исхакхаджи и с напускной бодростью воскликнула:

— И что же, к чему безысходность в глазах? К чему это горестное самоуничтожение? Где ваша благообразная философия? Дела идут прекрасно! Ждать совсем недолго!

— Ты опять вышла замуж?— уныло спросил «папаша».

— Да, фиктивный брак... В нашем деле без этого не обойдешься.

— Ты ехала с ним в одном купе?

Сефиеет напустила на себя важность.

— Аллах! Сцена ревности. Ты Отелло, клянусь Айшей. Кстати, сэр Болд поехал в Ташкент, а я... одна сюда. Успокоился, а? А теперь к делу. Как ты узнал, что я еду?

— Мои люди...

— Прекрасно. Вот это постановка дела! Значит, у тебя сеть...

Не без самодовольства Исхакхаджи ухмыльнулся.

— Ты ждешь их? Ты подготовил все? Ты послал людей?

— Хамидходжа там. Приехал... оттуда. Ждет уже с... Он ждет три недели. Живет в своем мазаре. Бахрам — в охотничьем домике в Змушкыре. Там его люди, верные люди. Вчера туда направился Имам Хадими. А когда они... э-э...— он испуганно поглядел на окна,— появятся?

— Завтра или послезавтра. Но что за вопрос? А рация?

— Рацию засекли большевики. НКВД... Арнольд переплыл на каюке через Аму на правый берег... Сейчас в пещере Шейх Аббас Вали. Десять дней ничего от него нет.

— Плохо. Ваш Арнольд — болван. И вы, папаша, хороши! Отпустили его... Надо было его...

Глаза у нее потемнели.

— Он пригодится,— возразил Исхакхаджи.— Немцы из Хивинских поселков очень полезны. Большинство выслано, но кое-кто остался.

— А если его в пещере найдут? Кто поручится... Ладно. Сейчас не до него. Где Зуфар?

— Он в Кегейли. Он военком.

Сефиеет захлопала в ладоши:

— Очень хорошо! Значит, он здесь!— Она оживилась. Лицо ее порозовело.

— Он кто? Тоже муж?

— Как тебе сказать? Он единственный, клянусь любимой женой пророка Айшей.

— Сефиеет!

Она небрежно хлопала старика по животу.

— А как твои дела? Какая я рассеянная: с тебя и надо было начинать.

— Живу. Уважают... Как же. Человек ученый... Владелец знаний. Заблуждался, осознал... Почетная ссылка, так сказать. Глухие места. Подальше от железной дороги. Живу тихо. Хожу на собрания, рассказываю о революционном опыте...— Он помолчал.— Поругиваю фашистов. Легко мне потому, что немцев не терплю...

— Я тоже. Но ничего, покончим с большевиками, а там... Да, ты здесь вжился, сблизился. Что узбеки? Ждут?

— Кого? Фашистов? Нет. Есть отдельные недовольные. Из проворовавшихся, обиженных. Кое-какие из бывших уголовных. Те ждут.

— А народ?

— Нет. Народ не ждет.

Он вдруг снял очки и, болезненно сощурившись, посмотрел на Сефиев:

— С кем мы хотим тягаться? С коммунистами? Опасные люди... Пойми, коммунисты сейчас сильны, как никогда...

Теперь поморщилась Сефиев. Ее наблюдения подтверждались.

— Ты пробовал устраивать...

— Демонстрации.... забастовки... митинги? Какая чепуха! Да тут за одно слово народ сразу растерзает. Все патриоты. Даже настоятели мечетей. «Обнажи, сын мой, меч Узбекистана на заклятого врага!» А что было совсем недавно? Помню Энвера. Помню Ибрагима, Абдукаххара, Курширмата... Орлы! А теперь не осталось мусульман. Всех развратили большевики, колхозы, Советы.

— Ого, министр! Государственная голова — и такие кислые слова. Что с вами, папаша? Не узнаю Исхакхаджи. Совсем разнюнились! И когда? Накануне прихода их!

— А они не придут!

— Как? У вас новости с фронтов? — переполошилась Сефиев.

— Да нет. Все тоже. Бьются лбом о стены Сталинграда. Зарвались.

— Что? Что?

— Гитлер зарвался. Боюсь, большевики готовят сюрприз. Поверь мне, старому военному.

— Никакого сюрприза не будет. И потом раз и навсегда нам надо понять. Без них мы... мы... ничего... не сможем... Что это?

Глаза молодой женщины округлились. Она прислушивалась. Старик, кряхтя, вскочил и подошел к окну.

По террасе пробежали два парня с дубинками в руках.

В воротах громко брэнчала цепочка, и звон ее тревожно доносился в наглухо закрытую михманхану.

— Пустяки... Это свои. Не волнуйтесь. А если кто и явится,

в случае чего — знатная иностранка посетила специалиста... — Он раскрыл сундук и разбросал по паласу десятки каракулевых шуток всевозможных расцветок и завитков. — Любуйтесь, восторгайтесь. Английская леди равнодушна к мехам.

Действительно, у Исхакхаджи оказалась уникальная коллекция каракулевых смушек. Со счастливым смехом Сефием запускала пальчики в шелковые завитки, гладила их и восклицала:

— Нежное золото! Шелковое золото!

— И все это твое, Сефием. — Старик робко поглаживал спину Сефием. — Зачем женщине стремиться к власти над миром? Но, увы, как говорят у вас в Турции: «Нет измены у собаки, нет верности у женщины».

Исхакхаджи сгреб вдруг Сефием и притянул к себе. Она отчаянно вырывалась. Глаза его налились кровью, очки слетели с переносицы. Он сопел.

— Ассалам алейкум! Мир дому благочестивому и совершенному! — Дверь в михманхану распахнулась, и через порог шагнул Хамидходжа.

Появление его было так неожиданно и неправдоподобно, что и хозяин дома и Сефием растерялись.

Ишан остановился, воздел очи горе и забормotal молитву, расставив ладони перед красным, почти багровым лицом.

— Причина всех причин есть аллах всевышний! — воскликнул он и провел ладонями по щекам. — Все вещи — эманация божества! Вся жизнь и все дела от бога.

Его живые, острые глаза бегали, ощупывая, искали, а щеки багровели при виде Сефием. Губа, и без того толстая, отвисла, и пот залил щеки и лоб.

Задыхаясь от возбуждения, он скороговоркой произнес:

— Без воли аллаха ничего не происходит. Здесь, оказывается, «силки дьявола». Удаляюсь! Удаляюсь!

Но Хамидходжа не удалился, не торопился удаляться, топтался на месте и, жадно сглатывая слюну, разглядывал Сефием. А она проклинала все на свете, проклинала выдавшее ее смущение и не находила слов, чтобы оборвать, обрезать этого нагло разглядывавшего ее толстяка.

— Ты? Ты же уехал в Змышкыр-калу? Как ты сюда попал? — сказал уныло Исхакхаджи. — Ты давно здесь?

— Все от аллаха! Мои стопы коснулись порога твоего дома лишь сейчас. Да будет угодно аллаху!

И хотя он призывал в свидетели аллаха по поводу и без повода, ясно стало, что он лжет. Весь его вид, суетливый, нагловатый, говорил о том, что он стоит за дверью давно и удивление его, что он застал здесь Сефием, было наигранно.

— Не будьте болваном,— сухо сказала Сефие. — В чем дело, наконец? Что вы делаете в Ургенче, когда должны быть в Эмушкыре еще вчера?

Она решила мгновенно, что ей делать, как вести себя. Она мысленно схватила Хамидходжу за шиворот и потащила. Погоди! Ты увидел мою слабость. Сейчас ты заглянешь в лицо смерти.

— Вы изволите шутить, кажется, господин ишан!— воскликнула она.

— Зла нет, ибо в мире все от аллаха,— морщась и вытирая пот, проговорил Хамидходжа, все еще сохраняя напыщенный тон.— Зло — проявление всемогущего аллаха.

— Хватит,— сказала Сефие.— Довольно балагана. Можете кривляться у себя в мазаре. Почему вы не на месте? А вы знаете, сегодня один человек меня спросил: не агент ли я с правом убийства? Понятно?

Щеки Хамидходжи задрожали. И сразу сделалось ясно, что он совсем не храбрый человек. Заплетающимся языком, поглядывая на Сефие, он бормотал извинения. Объяснял, что он очень спешил в Эмушкыр, но должен был повидать одного поляка. У поляка есть очень важные сведения. К поляку есть поручения друзей.

— Каких друзей?— спросила Сефие. Ее душил смех: рассмешила смена выражения лица Хамидходжи. От вожделения не осталось и следа. Только страх можно было прочесть теперь в глазах ишана.

Хамидходжа с трудом выдавил:

— Поляком... князем интересуются английские друзья... Предлагают, чтобы я его вывез отсюда.

Глаза Сефие сощурились, стали узенькими-узенькими. Она не проговорила, а прошипела:

— Занимайтесь чем нужно! Сейчас не до англичан. У вас все готово к приему тех?

Вместо того чтобы прямо ответить, Хамидходжа понес околесицу. Сефие и взаправду может напугать. Змея не говорит — шипит. А глаза ее — глаза кобры.

— Я многого достиг. Многих верующих склонил, но, увы, верующие трусят. У нас много верных мюридов... э... э... но они боятся... Увы, я человек высшего совершенства... э... достигший высших степеней совершенства, вынужден был э... скрывать...

— О чем вы говорите? Вы же в прекрасных отношениях с советской властью. Вам вернули мазар. Вам разрешили жить здесь. Чего вы ноете? У меня точные сведения. И вам осталось сделать лишь шаг...

— Какой шаг?— с испугом пробормотал Хамидходжа.

— Нанести удар... неверным... удар кяфирам большевикам.

— О,— почти закричал Хамидходжа,— удар! Дела неверных русских подобны праху, который раздувает ветер бурь. Дела неверных — мираж пустыни. Дела неверных — тьма, опустившаяся на Аральское море. Туча падает на тучу, тьма ложится на тьму... Меч зульфикар — ключ к небесам, к адским глубинам ада! О-о-о! Все, кто извлечет меч за веру, получают награду... Капля пролитой крови драгоценней молитвы и поста... Что? Что вы хотите?

Перед самым его лицом вдруг оказалась пиала, протянутая Сефиет.

— Выпейте. Холодный, совсем холодный чай, господин святейший ишан. Вы вошли в раж и забыли, что не в мечети. И нам ваши проповеди не нужны.

Она с отвращением смотрела, как он жадно глотал чай, и сказала:

— Я все еще никак не пойму, почему вы оказались здесь, в Ургенче. Зачем вы ходите за мной по пятам? Вас учили, долго учили не для того, чтобы вы болтали. Вы немедленно отправитесь в путь. Вы соберете по дороге ваших мюридов — вы сказали, что их много,— и стянете их к Эмушкыру. Послезавтра решающий день.

Со стороны хозяина дома, погруженного во что-то похожее на дрему, послышалось подобие стога. Старик совсем сник. Он опустил голову и являл собою зрелище расслабленности и дряхлости. Сейчас здесь командовала турчанка, властная, беспощадная.

— Итак, вы все знаете. Уезжайте.

Хамидходжа заерзал на месте:

— А подобает ли нам, духовному лицу, ехать куда-то? Не подобает уподобляться суетливому лису барханов — корсаку. Мы желали бы, чтобы вы, женщина, поняли наше положение уважаемого члена ордена дервишей.

Хамидходжа вдруг замолк, и толстая губа его снова отвисла. Сефиет смотрела на него, и ему казалось, что он делается все меньше и меньше. Ему хотелось втиснуться под низенький сандал. Неважно, что в жаровне пылали угли. Лучше сгореть в углях, чем выдержать огонь взгляда.

А Сефиет заговорила, и каждое слово раскаленным кирпичом ложилось на голову растерянного ишана.

— Не воображайте, господин святейший ишан, что вы один разбираетесь в делах веры. Так вот слушайте: люди — стадо, люди не знают еще, веруют или не веруют. Они побегут, куда их погонят: в большевистский рай или в фашистский ад. У кого палки длиннее, того они и послушают. Тарикат — это для тех, кого называют мюридами. Они разбираются в делах мусульманства, и мы им даем через вас палку. Они мюриды, по вашему указанию погонят стадо на помощь тем, кому мы скажем. Сейчас мюриды погонят людей помогать фашистам. А если не

погонят — они не люди тариката и им... конец и уничтожение. Третья степень ислама — марифат — познание мудрости ислама. Это — вы, господин ишан. Марифат — удел немногих, удел избранных. Вас ваши друзья нашли, обучили, натаскали и в Пешавере в исламской академии «Дивбенд» и в Каире в университете Аль Азхар, и каждое слово исламской мудрости, втиснутое в вашу голову, господин ишан, обошлось вашим хозяевам в тысячу червонцев... И есть четвертая, высшая степень исламской мудрости — хакикат — сама истина истин. И я хочу напомнить вам, господин ишан, что истина у нас — «исмаили» — одна. Кто не с нами, тому нет места на сем свете. А у нас есть все возможности любого, кто не поймет «хакикат», вытолкнуть из бренного мира, когда нам заблагорассудится.

Ишан выслушал длинную тираду Сефие, задышавшись от толщины и волнения.

— И заниматься заговорами! — добавила Сефие. — Это гораздо серьезнее, чем подглядывать за милыми развлечениями законных супругов. Убирайтесь!

У дверей Хамидходжа остановился, понурившись.

— Иншалла! — сказал он. — Да будет воля аллаха! Повинуясь. Но позвольте один только вопрос.

— Что еще? — высокомерно спросила Сефие.

— Позволю вас спросить, госпожа. А что скажет господин Болд? Что скажут англичане, когда мы откроем своими руками ворота Гитлеру в Узбекистан?

— Не ваше дело. А впрочем... Час англичан еще не пришел. Сила сейчас у Гитлера. Пусть большевики и фашисты догрызут друг друга, а тогда мы поговорим и с сэром Болдом. Еще посмотрим, что он от нас сможет получить...

Толстое лицо Хамидходжи просияло. Глаза совсем исчезли в щелочках между набухшими веками. Он воскликнул:

— Такова воля аллаха! Понятно! Спешу.

Он исчез, и грузная фигура его метнулась на кирпичной террасе в сопровождении двух здоровяков с дубинками.

Тогда, наконец, заговорил Исхахаджи:

— Он помчался, будто горит жаждой свершить дела во славу ислама. Я ему не верю... Он не тот, за кого себя выдает. И почему он оказался у меня в доме? Зачем он ходит по твоим следам?

— Чепуха, я знаю этого суслика. Он дрожит за свою шкуру. И в этом ужас нашего дела. Эх, папаша, сколько я ни вожусь с нашими... деятелями, я не нашла еще ни одного человека. И она с жалостью посмотрела на старика:

— Был ты... храбрый, беспощадный, сильный... наставник и учитель. Ты взял меня. Ты растоптал душу мне, тело. Сделал из меня то, чем я сейчас являюсь... И что? Я борюсь, я мечусь. А ты? На что ты способен... Да тебе надо скакать в Змушкыр,

поднять наших, отхлестать камчой господина ишана. Но я женщина. А надо гнать, убивать... убивать...

Сефие́т зарыдала и сквозь рыдания восклицала:

— Час пришел! Час настал! Упустим час — и все пропало!

Так она кликушески кричала, а перед ней сидел дряхлый старик и дремал. И слюна стекала из его полураскрытого рта.

Все дышало достатком и в михманхане, и во дворе, и в доме. И от всего тянуло плесенью, затхлостью.

Сефие́т вскочила. Она быстро напудрилась, подкрасила губы. Торопливо лоя рукой рукав пальто, она бормотала:

— Разве собаке надевают на шею драгоценности?

Она бросилась в город. Она кого-то искала, с кем-то встречалась. Вернулась поздно, когда стемнело.

В одиночестве за дастарханом сидел Исхакхаджи. Она сказала ему:

— Все удалось. Не нашла лишь Зуфара. Он выехал на озера охотиться. Но все прочее мне удалось.

— Поздравляю тебя,— проговорил старик.

— Поздравлять нечего. Все слишком легко удавалось мне сегодня.

Сефие́т задумалась.

— Или безумное везение, или...

С уверенностью она могла сказать, что холодные глаза не смотрели больше на нее. Холодные глаза исчезли. Но с такой же уверенностью она могла сказать, что вместо одной пары холодных глаз за ней следили сотни глаз. Ее никто не останавливал. За ней никто не ходил. Но куда бы она ни шла, некто невидимый ее опекал, ей помогал. Ее заграничный костюм, ее шляпа, сумочка, яркая внешность не могли не возбудить в новоургенчцах любопытства, породить толки, расспросы. Даже почти обязательно кто-то мог пристать к ней. Но Сефие́т проходила через людный город словно невидимка. Милиционеры вежливо, слишком вежливо провожали ее глазами. Два или три военных — Сефие́т знала, кто они, по форме и цвету петлиц — даже не подняли глаз, когда она проходила мимо. Никто ни разу не спросил, кто она.

В Новом Ургенче почти нет легковых автомобилей. Но удивительно! Ее три раза подвезли за несколько кварталов. И именно тогда, когда она изнемогала от усталости. Не понравился ей и чайханщик, хромо́й инвалид, который побежал ее провожать, когда она спросила нужный адрес. Станный какой-то чайханщик. Даже не полюбопытствовал, кто она, зачем понадобился ей адрес. А ведь он чайханщик. Ему полагается быть любопытным.

Уверенность вдруг дала трещину. «Не засни в низине — потоком снесет,— говорят на Востоке.— Не засни на горе — ветром сдует». Сефие́т почти ничего не ела за ужином. Смот-

рела в пространство и ничего не видела. Все шло прекрасно, но... не слишком ли прекрасно?

Настороженное ухо ее сразу же услышало возню у ворот. Сефиет смотрела на Исхакхаджи.

Почти тотчас же явился одноглазый слуга из тех, что не расставались с дубиной.

Одноглазый сказал:

— Пришел там.

— Кто?— испуганно пробормотал старик.

— Простите,— послышался голос.— Можно зайти? Это я — Прокофьев, водитель.

Сердце Сефиет покапало вниз. С порога на нее смотрели глаза, те глаза. Начинается.

Обладатель холодных глаз спокойно сказал:

— Ханым поедет в Хиву?

С трудом подавляя дрожь, Сефиет пробормотала:

— Кто вам сказал, что я хочу ехать в Хиву?

Нет, она должна взять себя в руки. Нет, она сейчас успокоится. Только не распускаться. Откуда он, этот Прокофьев, знает, что ей надо, так надо в Хиву.

— Откуда вы взяли, что мне нужно в Хиву? И как вы нашли меня?— резко спросила Сефиет и даже решилась посмотреть прямо в эти холодные, пытливые глаза.

— Нашел! Да мальчишки показали ворота!— усмехнулся Прокофьев очень добродушно. Но глаза его оставались холодными.

Да, да, это они. Это те самые глаза, которые преследовали ее уже на протяжении двух тысяч километров, на всем пути от Курдистана до Хорезма. Нет, она не поедет с обладателем холодных, пытливых глаз. Слишком подозрительно. Ей ужасно хотелось попасть в Хиву. И сегодня же. От свидания в Хиве зависит очень многое. Все! Но она не поедет... С ним не поедет...

И тут же она сказала, что поедет.

— Да, да, я очень хочу посмотреть чудеса архитектуры.

Она только повторила слова шофера. Шофер на ее вопрос: откуда он взял, что ей надо в Хиву,— спокойно ответил, что все иностранцы обязательно интересуются дворцом Ташхаули и другими шедеврами зодчества. Ханум — иностранка, и он подумал, что она захочет тоже посмотреть. Он сегодня и завтра свободен. Завтра выходной день. Начальник не будет ругать его. Начальник будет очень доволен, что он свозит иностранку в Хиву. Он с удовольствием повезет.

И тут Сефиет снова переполошилась. Естественно, что она и виду не показала. Ведь с таким, казалось бы, трудом в Хазараспе ей выхлопотали машину в райисполкоме или где-то там еще. А тут так легко дают ей возможность поехать... Или

шофер заинтересовался ею. Если это так, то полбеда. Если он начнет приставать к ней — значит все в порядке. Стоило бы поверить. Она кокетливо повела глазами и с плутовской усмешкой своих прелестных губок спросила:

— А вашу... мадам — у такого молодого, красивого ведь есть семья, — вашу жену не беспокоит, что вы где-то ездите... по дорогам с... молодой и... иностранкой...

— Да некому беспокоиться вроде... Одно я хотел... Бензин надо слева брать... Дорого опять же, — Прокофьев сокрушенно покачал головой: — Военное время. Ничего не поделать. И уж, извините, ханым, вроде лучше сразу сказать... Вы уж меня не обделите, когда я вас свожу...

Ее опасения насчет глаз — фантазия. Трус и тени своей боится. «Да и глаза у шофера не холодные и не какие-то особо пытливые, — утешала себя Сефие. — Он просто обыкновенный шофер, который думает, где бы подработать».

И все же ей нельзя было приезжать в Хорезм. Ее появление слишком бросается в глаза... Она своими визитами набрасывает тень подозрения на всех, у кого она побывала. И самое главное, в чем она не хотела признаться себе, — ей нечего делать в Хорезме. Здесь и так все идет своим чередом. Она поехала, чтобы увидеться с Зуфаром. При одном имени Зуфара она теряла голову... Только ради этого она приехала... И допустила ужасную ошибку.

Глава IV

Ложь — слишком удачная выдумка, чтобы расточать ее щедро.

Джонатан Свифт

Едва ли пророк Мухаммед так стремительно уносил свои ноги из Мекки, когда бежал в Медину от сварливых курейшитов, как Хамидходжа, святейший и преподобнейший отшельник с Змушкырского мазара, после неприятного разговора с леди Болд. Он подстегивал своего ишанского коня беспощадно. Бедный конь чистых текинских кровей! Он не привык к подобному обращению. Обычно его добрый благодушный хозяин предпочитал медлительную, вполне пристойную езду. Господин ишан не позволял себе пускать камчу в ход.

— Никогда! Бить коня камчой? Да разве подобает?

Было от чего теперь коню рассвирепеть. И он нервно тряс своего грузного хозяина самой что ни на есть отвратительной скачкообразной ходой.

Мимо Хивы, мимо хивинских озер Хамидходжа промчался столь поспешно, что навел встречных пешеходов на размышле-

ния своей торопливостью. Ишан порождал даже тревогу, хотя в те дни в Хорезме было и своих тревог предостаточно.

Лицо ишана кривила жалобная гримаса.

— О влечение судьбы!

В почтенном Хамидходже жило два человека. Всю жизнь. Как тут не прийти в отчаяние?

Лентяй, сибарит, поклонник перепелиных боев, любитель понежиться с приятной гурией, попить, поиграть на дутаре, посидеть в чайхане в базарный день...

Честолюбец, ненасытный, жадный к деньгам, скупой, трясушийся при мысли, что кто-то обогнал его на жизненном поприще.

И всю жизнь лентяй вынуждается честолюбцем суетиться, куда-то мчаться, принимать участие в самых запутанных интригах, по уши залезать в болото заговоров, связываться с отвратительными людьми, мотаться по песчаным пустыням, ледяным перевалам, бурным морям...

И зачем?

Господин Хамидходжа. Вернее его отец Убайдулла Хаджи Ахрар, что украшал лик земли, обитатель святых, сад угодников божьих город Самарканд. Хамидходжа из тех, кто прямо после появления на свет попадает в золотой бешик. Его отец удивительно вовремя направился в семнадцатом году за Аму-Дарью в дервишеское паломничество к святыням Мазар-и-Шерифа. Получилось так, что дервишеская сумка паломника «вместила» неисчислимые суммы в чеках на пешаверские банки и в ценных бумагах. Без воли аллаха ничего не происходит. Многотысячные каракулевые стада, принадлежавшие вакуфу Хаджи Ахрару, тоже с соизволения аллаха в семнадцатом году оказались в Северном Афганистане. Все дела от бога. И на бога ни ишан Хаджи Ахрар не роптал, ни сын его, добродушный и тихий тоже не роптал. Раз в год они трудились в поте лица — совершали с разрешения властей паломничество на советскую сторону Кухистана, на Искандер-Дарью. Здесь они поклонялись находящейся в пещере мумии Ходжи Исхака Хатаюки, погруженной в землю по пояс. Путь лежал через Самарканд, и благочестивые паломники всегда находили и место и время побеседовать со знакомыми и родственниками. Жить бы блаженным дервишам аллаха в благотворной обстановке благоуханных садов Мазар-и-Шерифа. Так нет. Никогда человек, даже столь благочестивый, как ишан Хамидходжа, не успокоится на том, что отпустил ему от щедрот своих всемогущий и всеблагий.

Таится в человеке зуд честолюбия и суеты. Наилучший из творцов забросил семена беспокойства даже в сердца рожденных под счастливой звездой.

Бедный конь тут аж вскинулся, так огрел его господин Хамидходжа камчой, ибо размышления ишана подошли как раз к

тому самому вопросу, которого он никогда не мог постичь. Зачем, спрашивается, ему надо тащиться в пустыни Хивы и Хорезма, где и воды-то приличной нет? Зачем лезть в душный с жабами и пауками склеп полуразрушенного мазара Эмушкыр и вдыхать вонь грязных халатов богомольцев? О, кроме терпения, средства нет!

Проклятие! Какая тряская лошадь!

Но таково божественное предопределение, если оно существует. Вместо того, чтобы сидеть в дорогом бомбейском ресторане, наслаждаться изысканными кушаниями, Хамидходжа руками ест плов и по ночам задыхается от запахов кислого молока, которым его сожительница иомудка изволит мыть свои косы, жесткостью подобные кобылей гриве.

Какой отвратительный холодный ветер! Струйки холода текут по груди и спине. И какой долгий путь среди кислых озер и бурых камышовых зарослей! Да улучшит аллах наше положение! Сколько раз он давал клятву не лезть во всякие интриги. Он возненавидел с юности интриги и интриганов. Еще в тысяча девятьсот пятнадцатом году, когда он вел из Самарканда до Термеза офицеров немцев. В жару без воды, с разбитыми в кровь ногами, прячась от людей, они брели по раскаленной степи. Тогда ишан навеки проклял пустыню.

Ему, изнеженному восемнадцатилетнему юноше, пришлось узнать и горе, и лишения. И зачем? Почему? Да потому, что папаша его Хаджи Ахрар имам Убайдулла, благочестивый мусульманин и наставник мусульман, связался с бесконечно далеким императором Вильгельмом II и заставил своего сынка помогать немцам.

Проклятая погода в Хорезме. Вон какие черные тучи поднялись на горизонте! Как бы еще снег не посыпал!

И что ему надо? Он богаче живого бога Ага-хана, не беднее Рокфеллера. Почему же он пьет воду из соленых колодцев и спит на холодных камнях, завернувшись в смрадную кошму?..

И даже не случайность гонит его теперь в холод, в непогоду по пустыне... И не страх, хоть джентльмены из «Интеллидженс сервис» и господа из ведомства адмирала Канариса умеют цепко держать в своих руках нужных им людей.

В Хамидходже жил бес честолубия, давно уже жил, с юношеских лет. С того дня, когда отец его толкнул в приключения. С тех пор Хамидходжа сделался незаменимым и необыкновенным человеком на Востоке.

И Хамидходжа знал это. Это было... честолубие хитреца, честолубие человека, который всех обманывает. Хамидходжа терпел беды, лишения, несчастья, невзгоды, сносил безропотно пинки и удары своих «хозяев», пресмыкался перед ними, ползал, вызывая презрение и гадливость в людях, которые заслуживали такого же, если не большего, презрения и гадливости. И все иску-

палось внутренним, тайным торжеством над «ними», властью над «ними». Властью хитреца, могущего уничтожить любые «их» хитросплетения и «их» самих в любой момент, когда он найдет это нужным или когда это понадобится.

Он имел такую власть, он держал судьбы людей в своих руках. Это доставляло ему наслаждение почти физическое. По внешности Хамидходжи никто не догадался бы о его могуществе. В облике пошляка и мелкого пакостника прятался великан Гог-Магог, могущий пожрать сонмы ничтожных муравьишек, воображающих, что они ворочают мировыми событиями.

Он жил в своем мазаре тихо, сытно, но тоска одолевала его. Праздный мозг — мастерская дьявола. Хамидходжа хоть и знал, что ему надлежит осторожность и осторожность, но давал порой в сердце дорогу пустым мыслям и порочным намерениям. Проклятый дьявол сделался его помощником. Его мюриды начали себе позволять многое, особенно, когда совинформбюро передавало все новые и новые вести о победах гитлеровцев. Мюриды не стеснялись и с верующими. Хамидходжа уличал своих помощников в поборах. Они обложили «ушром» соседние колхозы. У мазара копошились какие-то неизвестные старички богомольцы... В проповедях Хамидходжа слишком часто начал поминать ташаххуд — то есть состояние, когда человек верит только в аллаха и его посланника и не подчиняется земным властям. Но и это не помогало. Мюриды нагнали. Хамидходжа терпел.

Тайное сообщение, что надо готовиться к встрече немцев, донельзя встревожило Хамидходжу. Но когда выяснилось, что именно на него возложена подготовка встречи, его явно охватила тревога. Будь возможность, Хамидходжа бежал бы, исчез.

Слух о приезде Сефиет в Хорезм ошеломил и обрадовал его. Он имел все основания бояться и ненавидеть ее. Она обращалась с ним как с собакой. Она почитала своим долгом и удовольствием гонять его. Подчеркивала, что он ей отвратителен.

— О аллах, почему ты в своей неисповедимой мудрости толкаешь мирного, доброго человека в клетку тигра...

А теперь прекрасная турчанка, приехав в Хорезм, зависела от него, презираемого и третируемого, простака Хамидходжи. Ишан даже облизнулся от удовольствия.

Проповедь тариката — пути совершенствования — пришлось сменить на откровенный призыв к мюридам вступать на путь джихада — священной войны против неверных. Снова лишения! Снова жизнь бродяги. Скитания, опасности, засады. Без воли аллаха — ничего!

Срок в два дня ему дала ведьма Сефиет. Какое соблазнительное тело у ведьмы Сефиет! И, наверное, она моет волосы не кислым молоком! Два дня дала ему, чтобы собрать своих мюридов.

А где они — мюриды? Второй день он мечется по Хорезму и... собрал двух мюридов. Завтра он явится, как ему приказано, в Змушкыр со своей армией джихада... из двух человек. И завтра он встретится с Сефием в Змушкыре.

От одной мысли Хамидходжа задрожал.

— Тьфу! Тут окончательно запутаешься. Кому же ты служишь, господин ишан? От кого приехала эта чертова баба Сефием? Если она англичанка, то почему она работает на фашистов? Или господа англичане стакнулись с фашистами? Тьфу!

Он свернул с прямой дороги и решил заехать к себе. Там у него в старом склепе с некоторых пор жил человек. Жил в полной тайне. Никто не знал того, кто избрал своим жильем могилу. Не знала, по-видимому, и Сефием. А он ей ничего не сказал. Вот здесь-то он даже мысленно похвалил себя. О-о, он хитроумнее госпожи Сефием. Вот она поразится, когда ей придется неожиданно-негаданно встретить этого человека! Какую гримасу скорчит она!

«Когда вы находитесь в затруднительном положении относительно какого-либо дела, обратитесь за помощью к людям могилы». Так сказано в коране.

Святой ишан считал коран набором мистических бредней. Коран годится для проповедей, а кому теперь нужны проповеди?

И мысль о людях могилы заставила его иронически усмехнуться. Но у него жил человек в могиле, и, едва выбравшись из седла, он прошел из своей михманханы через сырой погреб в темное, освещенное проломом в потолке помещение склепа.

С ложа из нескольких одеял поднялся бледный, опухший, очевидно, от сырости... Муслим Турсунбаев.

Он выслушал рассказ ишана и воскликнул каким-то пустым, странно прозвучавшим под кирпичным сводом голосом:

— Приехала! Наконец. А я думал, что придется мертвецом остаться.

Он вскочил и забегал по сырой, почти мокрой глине:

— Раз она приехала, пришло время действий!

Разговор происходил в склепе. Спокойствию наступил конец, сердце у ишана кольнуло. В лицо ему пахнуло могилой.

Глава V

Тому, у кого от мороза не трескались пятки, как понять чужие страдания.

Мир Амман

Все шло «сикось-накось». Выражение выразительное, хотя и не благозвучное. Но именно так обстояли дела с точки зрения глубокомысленного Павла Павловича Харитонов, техника, гео-

лога-практика. Науки у Павла Павловича не хватало, в горных там и геологических институтах не обучался, но геологию пустыни знал отлично. И природу пустыни тоже знал. И не любил особенно, когда все в работе, в природе шло «сикось-накось». Павел Павлович — из белорусов и любит щегольнуть белорусскими словечками.

А тут еще возьми и пойди снег.

Все время стояла сухая ясная погода. И должна была еще стоять. Ревматизм не давал никаких сигналов. Ну хоть бы кольнуло. Подвел «барометр» в колене. В четыре еще «шпарило» солнце, а в пять повалил снег. Тьфу! И все потому, что в начальники геологической партии выскочила баба.

Так и знал Павел Павлович, что случится плохое.

С утра не могли выступить. Весь транспорт геологической партии — ишак Бузотер. С ночи он заболел и катался по земле в судорогах, изрыгая из пасти пену. Ольга уже приказала пристрелить бедное животное, но рабочий Петька признался, что Бузотер ни при чем. Болван Петька сунул ишаку кусочек хозяйственного мыла. Зачем? Да так, из озорства. Петька не вышел из школьного возраста и любит похулиганить. Из-за Петьки потеряли дело. Ждали, когда Бузотер соизволит поправиться.

Потом сгорела каша. Старший рабочий Ульмас Агзамов забыл про котелок на огне. Заслушался проезжего верблюжатника в овчинном полушубке и шапке-шугурме. Верблюжатник приехал вечером из-за далеких тугаев. Сидел у костра, ужинал, помалкивал, приглядывался ко всему своими глазами-щелочками. Так и улегся рядом со стреноженным своим верблюдом спать, все помалкивая. А на рассвете, уезжая, такое ляпнул, что до слез довел Ольгу. Правду говорят, какой из бабы начальник. Чуть что — в слезы.

Сказал человек в шугурме неприятное, но зачем плакать?..

— Немец скоро сюда пойдет, — сказал верблюжатник. — Уже Сталинград кончал, Капказ кончал...

Когда все кинулись спрашивать, откуда у него такие новости, он прямого ответа не дал, а добавил:

— Смотрел из камышей на вас... Разные трубки у вас, разные машины... Думал, немцы уже в Хорезм пришли. Вижу, не немцы.

Он заставил верблюда опуститься на колени, забрался на горб и уехал. Уже с высоты своего верблюда он крикнул:

— Эй, кто из вас мусульмане!.. Смотрите: в сухом месте в грязи увязнете.

Сначала не все его поняли. Но старший рабочий Ульмас понял. Он схватил свой посох, длинную жердь, и побежал за верблюжатником. Но не догнал.

Вернулся Ульмас вспотевший, яростный. Жесткая борода

его и длинные усы топорщились, выдающиеся вперед коричневые скулы пошли пятнами.

— Проклятие его отцу, дезертир какой-нибудь,— ворчал он, запыхавшись.— А плакать, Ольга-ханум, не надо! Все врет проклятый!

Он кружился вокруг безутешно плакавшего своего начальника. И все стояли вокруг Ольги, сжавшейся комочком на походной кровати, и сочувствовали.

Все знали, что у Ольги близкий человек на фронте. Все знали, что о Зуфаре нет уже давно вестей. Ольга так надеялась, что в Новом Ургенче она найдет письмо с фронта. Слово «Капказ» убило ее. Напомнило о тяжелых боях на Северном Кавказе, где, по ее расчетам, находился Зуфар.

Ольга не поверила и поверила верблюдятнику... Геологическая партия уже два месяца не имела газет. Некогда было посылать из пустыни в Хиву в такую даль человека. Партия работала с полной отдачей сил. Все в отряде имели кого-то из близких на фронте. Все понимали свой долг.

На чинках Устюрта дела пошли «сикось-накось»: заболел и эвакуировался начальник партии, старый геолог Георгий Семенович. Начальство приняла Ольга. Вскоре ряды геологической партии еще поредели: пропал без вести лаборант Агамалы, по видимому, сбежал, не выдержал лишений.

А выполнять план все равно надо. К тому же и структура попалась сверхперспективная.

Давно следовало сворачивать работу. С пустыней не шутят. Хотелось сделать подарок Родине в тяжелую годину.

И геологическая партия, возглавляемая Ольгой Паратовой, продолжала работать, несмотря...

Тут, по мнению Павла Павловича, имелось больше «несмотря», чем «смотря»,— несмотря на позднюю осень; несмотря на холодные ветры с колючим черным песком; несмотря на горько-соленую воду; несмотря на полное безлюдие в пустыне; несмотря на то, что всех запасов осталось — мука, соль и самая капелька масла; несмотря на то, что у всех обувь «каши просит»; несмотря на то, что, кроме аспирина, ничего из медикаментов в походной аптечке не осталось.

И несмотря на все, Павел Павлович, чертыхаясь, делал по двадцать-тридцать километров в день, карабкался по чинкам — обрывам, залезал по уши в соленые болота. Больше всего ему не хватало «об выпить и об закусить». Но он и словом не заикался.

Усы Ульмаса черными, щегольскими жгутами по-прежнему ниспадали по краям упрямого рта. Чем больше лишений, тем больше упрямства.

Очень надоело Ульмасу в пустыне, очень тянуло к жене, к детям, но очень Ульмас уважал Ольгу-ханум, невесту своего

родича Зуфара. И лишь когда она, потемневшая от солнца и ветра, покрытая песком и пылью, в побелевших брезентовых рваных сапогах, из последних сил, еле передвигая ноги, добиралась до привала, он бурчал себе под нос: «Не будь женой ишака, а если хочешь стать — носи ослиную поклажу». Ишак в степи — весьма уважаемое животное, и Ульмас, конечно, высказывался в очень положительном смысле, жалеючи Ольгу.

Легче всех переносил лишения Реджеб Мурад, рабочий и проводник геологических партий еще, кажется, с семидесятых годов прошлого века. Настоящий туркмен из прикопетдагского Атека, в своей гигантской шапке он производил при первом знакомстве устрашающее впечатление. Пески и соль он предпочитал тенистым садам. Требовал, чтобы к нему обращались почтительно «баяр», то есть уважаемый. Утверждая, что «крепость» туркмена — седло и ружье, очень переживал, что пришлось уступить лошадь больному Георгию Семеновичу, не любил ходить пешком и ждал, когда, наконец, сядет верхом. При обращении к Ольге в голосе чувствовалось больше терпения и мягкости, чем досады. А досадовал он на то, что начальником у него оказалась женщина.

— Дело женщин доить верблюдиц, сбивать масло, заквашивать молоко, ткать ковры, нянчить младенцев, — говорил он.

Ворчать он мог часами, что не мешало ему отечески заботиться об Ольге и делиться с ней всеми тайнами пустыни. А знал он этих тайн столько, что хватило бы на солидный научный труд.

Рабочий Петька, жгуче черный, похожий на цыганенка, одинаково легко переносил и жару и холод, спал прямо на песке, мог не есть неделю, озоровал, хулиганил, но любую работу выполнял мгновенно, хотя обычно плохо. Ольгу он боготворил, возможно, за то, что она умолила Георгия Семеновича не прогонять его, а оставить в геологической партии разнорабочим. Уж больно несчастным выглядел Петька в Новом Ургенче, когда пришел проситься на работу. Происхождение Петьки, его жизненный путь, даже точный возраст — все оставалось во мраке. По-видимому, он сбежал в начале войны из детского дома и через порт Аральск пробрался в Каракалпакию, а затем в Хорезм. Сейчас он носился с мыслью уехать на фронт бить гадов.

Вот и вся геологическая партия! Не слишком-то легко в неполных девятнадцать лет студентке второго курса управляться с такими помощниками, выполнять и перевыполнять ответственные задания государства. Но то, что делает женщина, не в состоянии сделать даже буйвол и плуг. Так, кажется, говорят в какой-то восточной стране. Ольга родилась на Востоке, вы-

росла на Востоке, больше того, она жила в пустыне и не боялась пустыни. Сквозь застенчивую не сходящую с лица улыбку проглядывало у нее всегда желание отстоять причуду со всем пылом своих девятнадцати. А причудой ее была геология, ее страсть, ее мечта. Когда Ольга чего-нибудь боялась, она вспоминала вычитанное в книге какого-то тоже восточного философа: «Крепко возьми себя за руки и держи. Если не хватит силы, позови волю. Если не хватит воли, позови смелость. Если не хватит смелости, позови отчаяние. Если не хватит отчаяния, позови всю мудрость предков...» Энтузиазмом горели ее глаза, и перед взглядом их смирялись самые дерзкие. Бежавший из геологической партии Агамалы устыдился своего поступка: он съел весь оставшийся запас сахара, полакомился. Он бежал, чтобы не видеть выражения глаз Ольги.

Ужасно трудно управляться с людьми пустыни, той самой пустыни, где совсем не так давно на женщину смотрели как на добычу, рабыню, где еще живы в памяти людей среднего поколения жуткие картины невольничьих рынков, на которых разлучали матерей и ребят, а женщин продавали в наложницы-кырнак, где еще живы люди с презрительной кличкой «ярым», родившиеся от наложниц-рабынь, где жена еще кое-где считается собственностью не только мужа, но и рода, а если муж умирает, вдова должна идти в юрту брата покойного, где каждый брак был насилием, потому что в семье воина-аламанщика жена легче всего доставалась среди прочей добычи воинственных набегов. Жена — пленница. Ей в семье мужа не доверяли. Лишь рождение ребенка превращало ее в члена семьи. Может быть, потому еще кое-где и сейчас муж стыдится идти рядом с женой, есть из одного блюда, разговаривать при посторонних.

Женщина, да еще молоденькая, — начальник партии, да еще в туркменской пустыне Каракум.

Ольга пошла в геологи во имя романтики. Но это не была игра в романтику. Романтика необходима в профессии геолога. Один случай помог Ольге завоевать уважение товарищей. Ошибся их проводник Реджеб Мурад, опытный, знающий, водивший караван и отряды по Каракумам сорок лет. Заблудился. Проводник проводников, утверждавший: «Ни начальник, ни аллах, ни архангел Гавриил, ни четырехглавый джин, ни восьминогий не посмеют мне указывать». А начальник-девчонка смела ему указывать, им помыкать. Она не пожелала подождать, пока из Нукуса придет вместо Георгия Семеновича новый начальник, и повела людей в пески. Она спросила Реджеба Мурада: «Можно пройти?» Он сказал: «Хаува!» — то есть «Да!» И они пошли. Заблудились. Попали в буран. Обессилели от жажды. Павел Павлович закопался в песок и лежал несчастный, дряхлый, неподвижный. Реджеб Мурад совершенно изне-

мог, бегая по барханам и вглядываясь вдаль. Потом он ушел и не вернулся. У Ульмаса начался приступ малярии. Петька впал в мрачное отчаяние. Ольга мучилась не меньше других, но заставила Петьку рыть. Павел Павлович из своего бархана ей крикнул: «Басмач этот Реджеб! Жаль, я ему шкуру не продырявил. А ты дура и девчонка! Ничего не понимаешь, а я...»

Павел Павлович замолк. Утром с бархана донесся его слабый голос: «Не тратьте, кума, зря силы, спускайтесь на дно», — и опять замолчал. И молчал он до тех пор, пока Петька вполне дикарским воплем «Вода!» не возвестил о победе человеческого разума над пустыней. Они с Ольгой действительно докопались до воды.

«Теперь пойдем искать Реджеба!»

Это заявление Ольги возмутило Павла Павловича до предела. «Басмач он. Бросил нас подыхать».

«Не болтайте, — сказала Ольга. — Подъем!»

И она с Петькой навьючила все, что можно, на Бузотера, кстати, единственного участника экспедиции, который с философским равнодушием переносил жажду и голод и даже не похудел.

Спасать Реджеба Мурада вся геологическая партия отправилась после полудня. Скоро Павлу Павловичу пришлось отказать от своих слов. Сам Реджеб Мурад приехал с двумя иомудами и привез два бурдюка чистой холодной воды.

«Не почитай того, кого не знаешь», — говорят туркмены. Отныне туркмен Реджеб Мурад стал вернейшим, преданнейшим почитателем Паратовой. Он стал отцом ее и защитником.

— Она наш бояр.

Ольга лишь улыбалась. Суровость пустыни, лишения, опасности породили в людях покорность ее неумолимым законам. Ольга заставила людей пустыни уважать себя, но она стала еще больше уважать Реджеба Мурада. Он всей своей жизнью в песках учил неустрашимости и непокорности перед лицом смерти. Ольга поражалась сочетанию в нем веры в «аджам» — предопределение — и неистощимого жизнелюбия. Умирая от жажды, он прошел пешком почти восемьдесят километров по песку и соли и вернулся. В свои под семьдесят лет!

Женщинам не дарят ножа. Реджеб Мурад подарил бояру — начальнику Ольге — текинский домашней узорчатой стали нож с инкрустированной серебром рукояткой. Бояр-начальник хоть и женщина, но вышло так, что «аджам» привел Реджеба Мурада встретить на своем пути женщину из легенды.

Вышло так, что Паратовой пришлось принимать очень быстрые, очень важные решения.

Когда они прошли положенный отрезок пути и Ульмас принялся готовить затируху, Ольга поднялась на высокий отвал древнего, неведомо кем прорытого канала. Она смотрела на запад — туда где в прорези снежных туч алело закатное небо.

Снег уже шел много, очень много часов. Снег тоже относился к тем бедам, которые в изобилии обрушились на их головы, и Паратова хотела с высокого места посмотреть, насколько серьезна непогода.

Вообще Ольга старалась не пропускать закатного часа. Не каждому человеку дана широта взгляда, свойственная художнику. Не всем открываются потоки багровых красок пустыни на склоне дня, золото и оранжевость спелого урюка, пробивающиеся сквозь сиреневую дымку сумерек, вспыхнувшие райским волшебством синие зеркала соленых, долго не замерзающих озер с буро-рыжими пятнами камышовых островов. Ольга вдыхала западный ветер, тот ветер, которым дышал там, далеко, ее любимый, и смотрела-смотрела сквозь алые дали туда, где сражался любимый.

Она забыла про погоду, про сложности предстоящего в снегопад пути и смотрела на дивную картину закатного хаоса, в котором перемещались облака, шайтаны туч, вихри золотого снега и багровая гущина чего-то неведомого, в чем потонул на минуту красно-медный поднос солнца.

И вдруг что-то постороннее ворвалось в оргию красок и прочертило светлую от огненных тонов прорезь, прочертило белесую снеговую тучу, просыпалось радужными зонтичками, сверкнувшими в лучах уже невидимого за горизонтом солнца, повернулось и исчезло...

Не надо учиться военному делу, чтобы понять. Ольга сразу поняла. Она не слышала гула немецких самолетов, но она очень точно сосчитала, что цветных кругов было шесть. Что двух парашютистов отнесло к черневшим рогатыми башнями развалинам на юге. Что четыре парашютиста опустились за синим, только что пылавшим адскими всплесками соленым озером, прямо в бурье заросли побитого морозами камыша. Ольга ни на минуту не усомнилась, чьи самолеты. Она бегом спустилась с отвалов древнего канала и уже через минуту-другую побелевшими от волнения губами шептала сбившимся в кучу своим товарищам. Она не могла говорить громко. Она слишком волновалась.

Она приказала:

— Ужинать быстро! Сложить имущество! Выступать!

— Правильно,— сказал, давась горячей похлебкой, Павел Павлович,— идти всю ночь. Оторваться от противника...

Реджеб Мурад молча кивнул головой.

Голова твоего врага не вознесется высоко, иначе как на виселицу. Тело твоего неприятеля не приоденется не чем иным, как саваном.

Саид Дехкани

Трясущейся с набухшими венами рукой Бахрам поднял крышку котла. Кусок баранины плавал на дне котла в бурой, неаппетитной жидкости. Поболтав в ней огромной деревянной ложкой, Бахрам зачерпнул немного и, поднеся ко рту, лизнул с краешку.

— Вкусно,— сказал он и посмотрел на Зуфара.

Всю хижину захолонул сладковатый запах.

«Анаша, гашиш!— подумал Зуфар.— Чего он насовал в пищу анаши? Ну и негодяй».

— Ешь!— сказал Бахрам и перелил часть бурды в большую глиняную чашку. Он развернул шерстяной с топорщущимися махрами дастархан и разломил черную ячменную лепешку.— Э, да ты, молодой, брезгуешь. Дехканская пища не по нутру.

Злоба поднималась изнутри. Сплошные неприятности. Холод, твердые кочки замерзшей грязи, ветер, выбивающий из глаз слезы, непроходящий туман, в котором пропали, провалились Мерген и этот старый Куса.

Снова разболелась нога, а тут возись с Бахрамом-бригадиром, старым баламутом. Вон он какой здоровенный, чернолицый, кряжистый! И черт его знает, о чем он думает. На глиняной, холодной стене висит двустволка. Камыши кругом. Туман до самого Арала. Двустволка на стене, и еще анаша в похлебке. Есть зверски хочется. Зуфар прошел пешком по морозу едва ли не двадцать километров. Тут солому начнешь жевать, не то что баранину, пусть она грязная. Но чего ради в баранине анаша?

От анаши на человека находит разное. Всякие волшебные сновидения, неземные пери, райское блаженство. Исмаилиты в замке Аламут опаивали анашой фидайев, давали им рай на ночь, а потом посылали убивать.

Смутное, неуловимое закопошилось в памяти. Ему говорила солнечная Хуршид про исмаилитов. Трабезон... Захудалая гостиница, именовавшаяся отелем... «Пансион Сьюисс»... Где теперь бронзоволодая цыганка, очаровательная Хуршид? Но... Исмаилиты...

Он разглядывал Бахрама. Бригадир со времен трагической гибели Анзират и Асаль не изменился. Все такой же грубый, злой. Вот на лицо почернел, совсем испитой стал. Еще больше желтые мочальные усы цвета «тиллямурут» пообвисли.

Но при чем тут исмаилиты и Бахрам. А! Исмаилиты употребляли гашиш, анашу, и Бахрам-бригадир... тоже кладет в похлебку анашу.

Чтобы доставить райские наслаждения гостю? Высшая форма гостеприимства! Изысканное гостеприимство — михманчилик!

Бахрам мрачно сказал:

— Ешь, вот.

Мрачный, очень мрачный Бахрам. Неприветливый. Сделался еще мрачнее, еще неприветливее с тех пор. Сделался мрачным, когда у тебя на глазах погибнут близкие... Ужасно...

Весь Хазарасп знал его как баламута, неуживчивого, раздражительного. Глаза беспокойные, горящие. Всегда спорил, выразительно жестикулировал. Любил потрясать вздернутыми к небу руками, словно призывая аллаха в свидетели. Бросал на спорщиков дикие взгляды. «Все темно, темно в сем мире», — любил говорить такие слова. Посмотрит беспокойными дикими глазами, скажет слово. И не возрази ему. Говорят же, кто беспокойному перечит, долго не проживет. Вот сестра не перечила ему, замуж за него пошла, а не прожила долго.

— Ешь, — сказал Бахрам. — Ты голодный. Сколько шел.

Сам он уже хлебал свою бурду жадно и быстро. Зуфар немного успокоился. Сам ест, значит, не так много анаши в похлебке. Или привык.

Что Бахрам-бригадир делает зимой в камышах? Люди в кишлаках и аулах все сутками спят в своих глинобитных курганцах. Холодно, промозгло. Из-под одеяла вылезать неохота. Сурки настоящие люди зимой. Не добудишься. А Бахрам вон куда забрался! Он и раньше — все знали — зимой уходил из кишлака и шагал по мерзлым комьям глины. Зимой все помогали в колхозной мастерской. Все, у кого не было работы. Арыкаксакалу в стужу делать нечего. Бахрам-бригадир больше бездельничал зимой. Он не шел в мастерскую, не помогал. Он безвольно, бессмысленно умел терять время. Он уходил на запад, к камышовым озерам, и ничего не делал...

Он всегда так вел себя. И нечего придумывать для него тайны. Просто попал сюда, в камыши урочища Змушкыр, случайно, говорили, что баламут всегда — и в прошлом году, и в позапрошлом — сюда к развалинам Змушкыр ходит зимой.

В тумане чуть серели развалины рогатых башен Змушкыра. Еле-еле виднелись. Сильный сегодня туман. Где в таком тумане найдешь Мергена и Кусу? Спросить у Бахрама, не проходил ли и не видел ли бойцов? Отряд где-то близко.

В пустыне знают, кто куда прошел.

Про Мергена и Кусу Бахрама не спросил. Неизвестно, почему. Однако так и не спросил.

— Ешь! — замахнулся большой с острым носом ложкой Бахрам.

Ну уж это совсем не полагается. Разве такое гостеприимство бывает! Окончательно ошалел. Нажрался анаши и колобродит. Злоба обезобразила его истощенное лицо. Посиневшие губы прыгали и кривились.

— Не будь среди людей ослов, цена на ишаков на хивинском базаре поднялась бы до десяти тысяч... — желчно сказал Бахрам. — Ты что, пастух? Вообразил: сидишь тут, пищи не касаешься. Думаешь: «Бахрам в шурпу анаши насыпал, нарочно...» На что мне тебя травить, умный ты человек. Ты мне родня.

— Я не хочу есть, — как можно спокойнее сказал Зуфар.

— Ложь! Ты хочешь есть, а боишься. Анаши боишься. От анаши тепло, от анаши спится хорошо. Ешь, и давай спать! Я тоже спать лягу. Лошадь покормлю и спать лягу... Спать ложись. Отдохни. Вон сколько шел. Почему в колхозе лошадь не попросил?

Очень невинный вопрос про лошадь насторожил Зуфара. Он, подходя к хижине, не видел лошади. Может быть, Бахрам спрятал лошадь в камышах. Спрятал? От кого? В камышах бродят волки. Настоящие степные волки. Злые, с широкой грудью. Но, главное...

«Змушкыр... Волки... попроси лошадь».

«Змушкыр» точно. Про волков он сам подумал. «Попроси лошадь»... Не совсем так, не похоже. Нет, Зуфар, ты стал совсем мнительным.

Тогда ему в голову пришла одна мысль. Он схватил глиняную чашку и вылил похлебку в очаг. В углях зашипело, и облако пепла рванулась к потолку. Он поставил пустую чашку и смотрел пристально в глаза Бахраму-бригадиру.

По всей видимости, Бахраму следовало разозлиться. Зуфар оскорбил хозяина дома, очень оскорбил. Наплевал на его гостеприимство. Пренебрег угощением. Бахрам мог теперь просто прогнать гостя, поступившего неприлично. Зуфар напрягся и смотрел.

Но Бахрам сказал всего-навсего:

— Говорил я про ослов! Вот! С тобой возить воду в реку.

«Хуже, чем я думал, — заключил Зуфар. — Он явно не хочет ссориться. Есть ли у него лошадь? Ничего удивительного, если у него в камышах лошадь. Надо узнать про лошадь».

Хозяин встал и вышел. Он стоял против двери и смотрел в туман на темневшие в серой дымке глинобитные рога Змушкыра. Бахрам смотрел не в сторону камышей, а на развалины. Хороший хозяин лошади обязательно посмотрел бы в сторону, где его лошадь.

Значит ли это, что там никакой лошади нет? От таких мыслей делается жарко. Если лошадь в камышах стоит, значит, в разговоре о лошади ничего нет. Если в камышах лошади нет, значит... Нет, еще ничего не значит.

Бахрам вернулся с кизяком и хворостом. Он подложил его в очаг и поставил чугунный кувшинчик с водой прямо в огонь и придвинул к его стенкам жарко горящие сучья. Он пристально смотрел на Зуфара. Он ждал, что скажет Зуфар.

Однако Зуфар молчал, и хозяин заговорил сам:

— Пищу, умник, выбросил, а теперь вот будем чай пить. От анаши очень чаю хорошо попить.

— Нет, он не сказал про воду и огонь. И Зуфар не сказал. Рано говорить. А что, если он ответит...

Где Мерген, где Куса? И небо молчит. Правда, слишком много совпадений. «Змушкыр», «попроси лошадь», теперь «вода и огонь». Нет, бред какой-то. Подозрительность сверх меры. А если дело не в подозрительности, а кое в чем похуже. Что он будет делать один? Что пользы быть тигром, если нет клыков? Куда ушел Мерген? И где Куса? Безбородый совсем, наверно, обессилел под своим дедовским мултуком. И Зуфар напрасно не взял карабина, когда пошел в разведку, и вообще надо было взять кого-нибудь из бойцов.

Он посмотрел на лежащую под рукой свою старенькую «тулку». Хорошо еще он взял с собой патроны с картечью и крупным номером дробы. И все же он без клыков. Кто его знает, что там в камышах: лошадь или вовсе не лошадь?

И туман колом стоит. Все закутал ватой. Едва угадываются рогатые башни Змушкыра. А что это белое порхает в гущине тумана? Снег! Вот снега и не хватало! Теперь до завтра ничего не разглядишь.

Снежинки весело порхали у самого порога. Серебристые, невинные снежинки, но они вызвали ярость в Бахrame. Он их тоже сразу заприметил, едва они запорхали, хоть и дремал с опущенными веками. Дремал, и надлежало ему в парах гашиша видеть райских гурий. Но он сразу же закричал, увидев снежинки, горько закричал, почти завыл по-волчьи:

— Нет верности у женщин! Проклятая баба-природа! Вот пусть проклята будет туча, которую прислал сегодня аллах. Тьфу! Несчастный старик! Сиди тут и мерзни, сиди тут и дыши кизячным дымом. Эх ты, старый хитрец, попался в силки для шакалов. Проклятие тебе, погода!

Сбивчиво, невнятно он бормотал и вдруг выскочил на двор. Он бил в снег и туман кулаками. Он вздымал руки к темной туче, прорвавшейся потоками белых снежинок, и вопил:

— Проклятие! Проклятие!

Громко шаркая ногами, он поплелся тяжело в хижину и свалился грузным своим телом у очага. Светлые усы мочалками

свесились с углов рта. Он не притронулся к кувшинчику, даже когда он раскипелся. Он предоставил Зуфару заваривать и разливать в глиняные потрескавшиеся и склеенные пиалушки чай. Он надвинул на круглый бритый череп шапку и завернулся в продранную в тысяче мест кошму и ворчал: «Дерьмо! Дерьмо!»

Взрыв раздражения у Бахрама из-за такого пустяка, как снег, немножко удивил Зуфара. Зимой часто идет снег и даже бывают бураны.

У Зуфара больше оснований беспокоиться. Где Мерген? Где Куса? Друзья где-то бродят поблизости, ищут Зуфара. Бредут в тумане, подставляют лица под пригоршни снежинок и ругаются друг с другом. Они друзья, но всегда подзуживают друг друга. По поводу чего они могут ругаться? Конечно, не по поводу снега. Им в высшей степени безразлично, что пошел снег. Он, конечно, не вызвал в них ярости. Они привыкли к снегу, непогоде. Не обращают они внимания на непогоду. С чего бы Бахраму рассвирепеть? Сидит себе в хижине. Горит жарко огонь в очаге. Чай кипит в кувшинчике. Мерген и Куса тоже без чаю не останутся. Народ они запасливый. И место себе для ночлега найдут. Они пустыню знают.

Но Зуфар не хотел ждать. Он взял ружье и вышел, но тут же вернулся. Нет, стрелять он не будет. Не стоит. Почему он так решил, он и сам не понимал. Просто решил не стрелять. Звук выстрелов привлекает друзей, но выстрелы могут привлечь и... Он не знал, кого привлекут здесь, в пустыне, выстрелы, кто еще может скрываться за стеной снега. Те, о ком он подумал, не могли, по его расчетам, появиться в такую погоду. Черт возьми, необходима погода!

Он вернулся и уселся пить чай. Бахрам в своей драной кошме бранил бога, снег, хижину. Из кошмы торчали лишь его длинные мочальные усы да потертая шапка. Наконец, высунув голову из кошмы, прохрипел:

— Холодище... проклят ты, бог, с твоим холодом...

— Терпение — ключ к раю.

Зуфар знал, что Бахрам очень набожный. Говорили, что тайком он выполняет все намазы.

— Почему не стрелял?

В голосе Бахрама чувствовалась тревога.

«Он не спросил,— подумал Зуфар,— почему я хотел стрелять. Он знает, что выстрелами привлекают друзей. Какие же могут быть у меня друзья, по его мнению? И почему тогда он сам не выстрелит, если у него где-то здесь есть кто-то. Он боится, что я пришел не один, что я жду кого-то. И он ждет кого-то. Поиграем в прятки. Дурного не спрашивай — сам скажет».

— Мне показалось,— сказал он, медленно прихлебывая из пиалы.— Мне показалось...

— Что показалось? Что тебе, наконец, показалось, проклятый? Да говори же, наконец, что тебе показалось?

— Что вы, бригадир, нервничаете? Мне показалось, что в камышах ходят волки, а ваша лошадь...

— Какая еще лошадь?— зарычал Бахрам.— Какая тебе еще понадобилась лошадь, проклятие ее отцу!

— Вы говорили, что в камышах лошадь...

— Лошадь?

— Ваша лошадь. Вы поставили ее в камышах. Там, что, есть навес? Надо взять ее оттуда. Снегу очень много...

— Лошадь... Снег...

— И вы спрашивали меня...

— Что спрашивал, дьявол...

— Почему я пришел пешком. Почему я не...— он заговорил медленно и членораздельно.— Почему я не взял лошадь?

Только при этих словах Бахрам замолчал. Лишь топорщились его мочальные усы в растрепанной кошке да поблескивали глаза.

— И я еще сказал, что пришел пешком посидеть в вашей хижине, где есть вода и огонь.

Бахрам долго молчал и странно кряхтел. Зуфар с самым спокойным видом — он один знал, сколько сделал он усилий, чтобы изобразить на лице спокойствие,— попивал чай. Мысленно он согласился с Бахрамом, когда он, наконец, воскликнул:

— Не может быть!

«Не может быть!»— думал Зуфар.

Выходит, он нашел совсем не там, где искал. Еще надо проверить Бахрама, осторожно проверить, но, очевидно, все-таки он нашел. И совсем не вовремя.

Сколько у него было возможностей, удобных случаев. Как часто он встречал на улочках Хазараспа, на базаре, на дороге, у стен старой крепости, в чайхане вечно задумавшегося мрачного Бахрама, погруженного в горе, достойного сочувствия. Зуфар невольно опускал глаза и смотрел себе под ноги. Он не хотел встречаться глазами с Бахрамом. Его фанатические возгласы тогда, в тот трагический день, звучали в его памяти.

Не может быть. Бахрам в своем роде философ. Он вполне последовательный мусульманин, религиозный человек, но никому не навязывал своих взглядов. Иногда случайно видели его в молитвенной позе на берегу канала или в укромном месте. Одни говорили, что он чего-то боится. Другие считали, что он несчастный человек. Бахрам не пошел в мечеть, когда ее открыли вновь. Он отказался дать деньги, когда бывший председатель колхоза вдруг показал свое настоящее нутро и тайком выделил из неделимого фонда большую сумму на постройку мечети. Бахрам не надел паранджу на Анзират. Он не мешал учиться падчерице.

Бахрам-бригадир не подходил под мерку «иот унсуре», как называли в кишлаках чуждый элемент — кулаков и подкулачников — со времен сплошной коллективизации. Бахрам имел много пороков в своих взглядах, но он занял видное место в колхозном производстве и добросовестно работал. Что же, не от всякого пожилого человека можно требовать, чтобы он был активистом.

Но Зуфару пришлось изменить свой взгляд на Бахрама. Он оказался совсем не тем, за кого себя выдавал.

Незаметно Зуфар придвинул к себе ружье и думал: «Не может быть...» Откровенно говоря, он не совсем ясно представлял себе, как взяться за дело. Плохо! Потому плохо, что у тигра нет зубов. Мерген и Куса бродят где-то в тумане. Отряд, видимо, сбился с пути. Предположим, он ответит Бахрама в город. Там посмеются и скажут: «В несчастном, раздавленном горем и старостью колхознике ты, Зуфар, узрел предателя».

Какие имеются доказательства? Несколько слов о лошади, о воде, об огне... Случайное совпадение с тем, что он слышал в Иране от Сефие. «Змушкыр, волки, лошадь, огонь, вода, — сказала она — откроют сердца...» У труса в глазах двоится... Не слишком ли он дал волю своим подозрениям?

Он разглядывал Бахрама. Но лицо Бахрама ничего не выражало, кроме усталости и тяжести дум. Совсем не плохое лицо. Такие лица видел Зуфар у благообразных старцев, восседавших на завалинке мечети.

Ну, нет! Так дальше не пойдет. Чертовски делается холодно. На дворе сыплет снег и спускаются сумерки. Ночевать-то придется вместе. Надо начинать разговор.

Сейчас он задаст вопрос, и все прояснится.

Но заговорил Бахрам:

— Я принял тебя как друга. Но если ты не согласишься, что я друг, то найдешь опасность во мне...

Он говорил загадочно, и Зуфар ничего не ответил. Он должен был подумать.

— Если ты пришел как друг, то опасности не будет...

В хижине сумрак сгустился. Синие язычки пламени вырывались из-под катышков кизяка. В открытую дверь доносился шелест падающих снежинок, миллионов падающих снежинок. От их шелеста в ушах Зуфара стоял гул. Он ужасно устал. Никогда он так не уставал.

Зуфар так и заснул, сидя. Пока он еще боролся с дремотой, он видел суровое, вырезанное из темного дерева лицо Бахрама, соломенные усы, остановившийся взгляд. Зуфар понимал, что нельзя спать, что надо поговорить, важно выяснить... И все же заснул.

Искаженные черты вырезанного из дерева лица снились Зуфару. Топорщились соломенные усы. Щекотало в носу от терп-

кого запаха кизячного дыма. С трудом он понял, что все: и лицо, и губы, и даже кизячный дым — уже не снится, что холод тоже самый настоящий и что дым ест глаза и раздражает горло на самом деле.

ГЛАВА VII

Пусть вся Азия с оружием, знаменами, слонами, фанфарами и барабанным боем явится сюда...

Кейкаус

До того как поесть, Реджеб Мурад тщательнее, чем обычно, засыпал огонь и угли костра. Вообще он всегда убирал все следы стоянки геологической партии. Привычка.

Убедившись, что от костра не осталось и следа, туркмен основательно поел, вымыл свою миску, убрал в хурджун и спокойно занялся своей берданкой.

Больше нервничал Ульмас. Он ушел со своей охотничьей двустовкой на отвал и залег на самом гребне. Он боялся, что парашютисты приметили Паратову и направятся в их сторону. Ульмас хотел воспользоваться сумерками, чтобы все разглядеть.

— Настоящие немцы! — с торжеством воскликнул Петька. — Тетя Оля, вы... э... дадите мне ваш револьвер?

— Не дам! — ответила тетя Оля. — Помоги мне засупонить Бузотера.

— Но я...

— Не дам.

— Но у меня папаню немцы убили...

И хоть это вновь выяснившееся обстоятельство представило просьбу Петьки и его самого в ином свете, Ольга револьвер свой мальчику не отдала.

— Ольга Алексеевна, — сказал Павел Павлович, — вы что же задумали? Послушайте старика — забросьте оружие в камыши. И нашим этим посоветуйте... прикажите... Поверьте старому штабс-капитану...

— Что-то в вашей анкете я не читала про штабс-капитана...

— Не важно... И не подумайте чего. Мои взгляды всегда... Но...

— Что, но?

— Раз боши здесь, они уже всюду. Я ненавижу их, но стрелять... сопротивляться... самоубийство.

— И что?

— Бежать... У меня ноги больные... Но бежать... Вы решили правильно.

— Нет!

— Что вы задумали?

— Сейчас узнаете. А пока...

Она решительно подошла к Павлу Павловичу, вынула у него из кобуры старенький наган и крикнула:

— Петя! Получай.

И добавила:

— Стрелять только по моему слову... по моей команде. Понятно?

— Я протестую.

Лицо Павла Павловича побагровело, и седая клинышком борода побелела.

— Вы сами, Павел Павлович, определили свое место... в обозе.

Она невесело улыбнулась.

— Пошли!

Повела Ольга Паратова свой отряд на север, а не на восток. Реджеб Мурад шел рядом и покачивал своей огромной папашой в такт словам бояр-начальника.

Ульмас скатился с отвала и быстро сказал:

— Двое пошли к Эмушкыр-кале. Остальных не видно. Через озеро они не пройдут. Пойдут на север или на юг.

— Очень хорошо,— сказала Паратова.— Если пошли на север, мы их встретим.

Ни Ульмас, ни Реджеб Мурад не удивились. Они считали решение Ольги само собой разумеющимся.

Петька взвизгнул от удовольствия.

Промолчал Павел Павлович. Он плелся позади, за семенившим устало Бузотером.

Ульмас добавил:

— В Эмушкыр-кале кто-то есть.

Ольга даже остановилась:

— Кто?

— Плохо видно. Сумрак, снег идет. Но кто-то есть. Теперь так — от Эмушкыр-калы в сторонке стоит дом. Зимовка Мергена. В доме Мергена тоже кто-то есть. Огонь горит.

— Мерген? Здесь? Как было бы хорошо. Пройти до дома Мергена можно?

— Надо кругом идти. Как сейчас идем, потом направо через камыши.

— Тетя Оля, я пойду,— подскочил Петька.

— Посмотрим.

Пошел густой снег. Начинался буран. Движение партии замедлилось.

Шли долго. Перешли вброд не то протоку, не то озерко. С треском и звоном ломался лед под ногами. Продирались сквозь высокий камыш и колючие заросли. Вышли на чистое место. Снова начались камыши...

Стена снега закрыла все впереди. Пошел снег так густо, что скоро они перестали видеть друг друга. Да и ночь наступила.

Шли час-полтора. И на часы не могли взглянуть. Петька замерз, притих. Он больше не просился в разведку.

Поразительное чутье не позволяло Реджебу Мураду сбиться с дороги. Он шагал очень уверенно и, наконец, сказал:

— Бояр-начальник, теперь они вот там,— и, взяв в темноте руку Ольги, показал, где, по его мнению, немцы.

— Вот здесь северный конец озера,— продолжал он,— здесь камыши, большие камыши, а там есть хижина.

— К-к-какая хижина?— спросила Ольга. Лицо ей залепило снегом, челюсти сводило холодом.

— Летовка Овеца Гельды, калтамана.

— Калтамана? А если он там? Калтаманы — друзья фашистов.

— Нет, его нет. У нас говорят: «Бабка померла — значит лихорадка прошла». Калтаманская лихорадка кончилась. Убили калтамана. Давно. Пойду посмотрю, что там.

Он растворился в темноте. Рядом засипел простуженно Павел Павлович:

— Задача их подготовить площадку... для посадки. Им до нас дела нет. Уйдем...

Слова его произвели совсем не то впечатление, на которое он мог рассчитывать. Ольга рассмеялась. Она поразилась виду Павла Павловича. В темноте он совсем походил на старую базарную торговку с повязанной по-бабски головой. Он вплотную придвинул голову и возмущенно сипел:

— Они... для проникновения в Туркестан... Им база в Хорезме в случае падения Сталинграда. Наверное, мерзавцы уже в Сталинграде... Плохо. Но мы же не можем ничего...

— Тише!

Ольга подавила рвавшийся против воли смех и вслушивалась в шумы бурана.

— Чепуха! Глупости. Они нас перебьют... Немцы же. А над вами, молодой, знаете... наизголяются и прикончат... Фашисты.

— Вы помолчите, наконец...

— Вы... вы пустоголовая гусыня,— почти крикнул Павел Павлович и поперхнулся не то от снега, попавшего в горло, не то от бессилия. Он заоченел, еле стоял на негнущихся, больных ногах. Он слышал нестерпимую боль в сердце и сам не знал, что уже говорил.

Но Ольгу он тоже вывел из себя. Она держалась, она старалась держаться. Ветер буквально сбивал с ног, а снег хлестал ледяными бичами по лицу и глазам.

Горстка людей топталась на месте среди первозданного хаоса. Подползла опасность вдруг, незаметно, неожиданно. Весь день сыпались на голову неприятности, мелкие, конечно, по

сравнению с тем, что случилось сейчас. Опасность подползла, окружила, схватила за горло. Опасность получить немецкую пулю. Опасность замерзнуть в буране... И все же Ольга нашла силы сказать Павлу Павловичу:

— Отважен храбрый, но молчит — трусливый языком стучит.

Сейчас она от души презирала Павла Павловича.

— Раскисли?

Где уж молодости понять старость. Ольга не понимала ни ревматизма Павла Павловича, ни склероза, ни астмы. А если бы и понимала, наверное, сказала бы: «Ну и сидели бы дома».

Ее неприятно поразило открытие, что Павел Павлович офицер царской армии. В ее представлении он — беляк, враг. Она забыла, что он был прекрасный геолог, неутомимый путешественник, очень полезный человек. Теперь она боялась его, не доверяла ему.

Когда она уже совсем замерзла, к ней придвинулся Бузотер. И вдруг Ольга обнаружила, что от ишака исходит тепло. В своей теплой толстой шкуре Бузотер один, наверное, чувствовал себя среди бурана как дома, в теплом стойле. У него даже длинные бархатные уши были теплые.

Со счастливым смехом Ольга поспешила засунуть ладони под седло и потник. И сразу блаженное тепло разлилось по всему телу. И сразу вернулась бодрость, а черные мысли и подозрения исчезли. Радостно она воскликнула:

— А я печку нашла! Павел Павлович, дайте руки. Грейтесь!

Все по очереди грели руки в теплой шкуре Бузотера. Никогда еще так не хвалили безответного ишака. Ко всем пришло хорошее настроение. Даже Павел Павлович забыл ворчать.

— Ну, господин Бузотер,— просипел Павел Павлович,— молодец ты. Думал я, что руки отморожу. С меня тебе причитается.

Ольга с сожалением заметила:

— Жаль, что ноги под седло не засунешь. Ноги застыли.

Сапоги, или, как их называла Ольга, боталы, совсем прохудились и давно уже пропускали и пыль, и воду, и мороз.

Из бурана неслышно вынырнул Реджеб Мурад.

— Здесь!— сказал он.— Близко. Совсем близко.

Хижина калтамана показалась всем дворцом. Памяти калтамана Овеза Гельды совершенно незаслуженно были возданы высокие хвалы. Здесь нашелся запас топлива. В стене хижины был устроен преотличный «бахоридивари» — камин, какие известны только в северном Хорасане. По крайней мере, так объяснил Павел Павлович, который немало повидал на своем веку.

Так или иначе в камине хворост пылал жарким пламенем, дым уходил в трубу, и все члены маленькой экспедиции почувствовали себя уютно и умиротворенно.

Исчез и долго не появлялся Петька. Оказывается, он ходил в разведку, но ничего не увидел.

Он вызвался первым «стоять на вахте».

Ночь прошла спокойно. Отбывали вахту по очереди, ничего не видели и возвращались в хижину. Для Паратовой сделали исключение — она спала.

Утром ее разбудил крик. Кричал Петька. Глаза его горели огнем приключения.

Петька кричал:

— Стреляют!

Все выбежали из хижины.

Действительно, где-то стреляли. Дробью перекатывались автоматные очереди. Гулко ударяли выстрелы из винтовки. Почти тотчас же стрельба прекратилась... И больше не возобновлялась.

Во все глаза смотрели они на юг, откуда доносилась стрельба. Но сколько ни смотрели, ничего сквозь снежную пелену не увидели. Чуть серели рогатые развалины Змушкыр-калы.

— Стреляли, очевидно, там,— проворчал Павел Павлович,— началось!

— Началось!— вторил за ним Реджеб Мурад. Он весь дрожал от нетерпения. Руки его до боли сжимали дуло берданки.

Петя тоже воскликнул: «Началось!» Если бы не свирепый взгляд Паратовой, он несомненно расстрелял бы тут же весь барабан своего нагана. Ульмас покачал головой и пошел в хижину готовить завтрак.

— Что ж,— решил Павел Павлович,— ехать так ехать, сказал попугай, когда кот Васька потащил его из клетки. Товарищ Мурад, здесь лишь мы с вами военные. Пойдем.

Они вошли в хижину и пробуравили в стене ее, выходящей к камышовым зарослям, три бойницы. Глинобитная стена легко крошилась.

Затем они обошли вокруг хижины и подыскивали насыпь старого арыка, за которой и выбрали укрытие.

— На всякий случай,— сказал Павел Павлович.

За завтраком приняли ряд важных решений.

— Выждать, пока не прекратится буря.

— В случае появления немцев занять позиции и стрелять.

— Командование возложить на начальника геологической партии Паратову.

Ольга запротестовала, но Павел Павлович сказал:

— Когда у котла два повара, обед пригорает. Вы затеяли войну, вы и командир! К тому же начальник партии.

Вместе с Петькой они прошли к камышовым зарослям.

— Каков Павел Павлович! — сказала Ольга Реджебу Мурада и Ульмасу.

— Придется туго — и барс траву грызть начнет, — неопределенно проговорил туркмен.

Искоса поглядев на него, Ульмас заметил:

— В двадцать первом Павел Павлович Мухаммед Курбан Сардара от Хивы гнал. Сколько тогда калтаманов порубил! Потом на хивинском базаре полгода иомудские папахи по двадцать копеек шли.

«Новое дело, — подумала Ольга. — Каждый день вижу эту седею бороду и не знаю человека».

Вслух она спросила:

— А кто такой... был этот Курбан Сардар?

— А известный людоед. Сам Джунаидхан — вот кто такой Мухаммед Курбан Сардар. Бандит. От его бандитства сколько вдов в Хорезме осталось, до сих пор слезы не просохли на их глазах. И Хиву разорил, и кишлаки пожег... Слава аллаху, Советы народ Хорезма от людоедов Джунаида избавили... нас освободили...

Ульмас как-то странно поглядел снова на Реджеба Мурада и добавил:

— Ясно, дело прошлое... Сейчас все умными стали.

Реджеб Мурад поморщился: — Молоды были. Ни в чем не разбирались. Так-то, — и вздохнул.

Позже Павел Павлович объяснил Ольге:

— Под внешней суровостью, грубостью в Реджебе Мураде скрыт очень умный, очень сердечный человек. Старик — перекаши-поле. Семьи нет. Юрты нет. Другой бы озлобился, «без души» остался бы. А он понял, перестроился. А ведь Реджеб Мурад потерял было родину. Еще в тысяча девятьсот шестнадцатом году Мухаммед Курбан Сардар его, как и многих, вовлек в свои авантюры... Сардар, он же Джунаид, крупный феодал, обиделся на царское правительство и давай его щипать. Связался с панисламистами, с турецким султаном. А через турок и с германским кайзеровским правительством. Всякие восстания шестнадцатого года были своеобразной интервенцией германо-турецкого блока в Туркестане... Чужими руками, руками Джунаида и его калтаманских орд Германия рассчитывала использовать туркмен и другие народы... тюркоязычные народы для захвата Туркестана... Впрочем, все это — вопросы высокой политики. Наш Реджеб Мурад — маленькая сошка, состоял при Джунаиде связным, а потом быстро понял после революции, что к чему.

Он помолчал и медленно заговорил:

— Не стоило бы рассказывать сегодня, в такое время... Ну вот, когда Красная Армия порастрясла в Каракумах джунаидов-

цев, туркмены отвернулись от него, многие отвернулись. И Реджеб Мурад ушел от него. Особенно, когда Джунаид дал клятву на сессии ЦИК Туркмении в верности Советской власти, а затем предал... Тогда массы разочаровались в Джунаиде. Реджеб Мурад бежал из Хорасана в Туркмению. Он тоже все понял. Но, сами понимаете, приняли его мы не с распростертыми объятиями. Не раз ему поминали прошлое.

— А вы как на него смотрите?

— Как? Да очень просто. У нас с ним старые счеты,— и он поднял свою седую бородку навстречу входившему в хижину Реджебу Мураду.— Помнишь, у колодцев Шоркую как ты меня хватанул?

Он наклонил голову и провел пальцем по белому шраму с правой стороны черепа.

Потупившись, Реджеб Мурад тихо сказал:

— Э, щедрый не хвастается полученным подарком, а... батыр не отказывается от своих дел.

— Видали,— с торжеством сказал Павел Павлович,— говорю я, что Реджеб Мурад настоящий военный. Вот он и докажет нам это. А они-то и не подозревают, что им готовят сюрприз.

А сюрприз действительно готовился. И о нем по секрету рассказал Ольге попозже Петька.

Глава VIII

Как может захватить собака пищу,
когда в чаще отдыхает лев.

Амин Бухари

От величественной осанки Мергена ничего не осталось. Он стоял понуро и смотрел на трупы, и подобие мертвой улыбки кривило ему губы. Мерген никак не ожидал, что так получится. Свирепый с виду, с устрашающей черной бородой, широкогрудый, подобно всем батырам пустыни, Мерген имел добрую душу щенка. Головастый, клыкастый, грубый, он лишь внешне смахивал на свирепую киргизскую овчарку.

Трупы вызывали в Мергене дрожь. Он никак не мог понять, как это случилось. Они лежали в снегу почти рядом, как лежали в укрытии, и стреляли в него и Кусу из новеньких блестящих автоматов. Много и очень громко стреляли. И вот теперь они лежат и кровь чуть дымится в снегу.

А маленький, хилый Куса кружит суетливо вокруг и жалобно вскрикивает:

— Смотри-ка! Смотри-ка!

Выходило так, что он боится к ним подойти. Боится, что они встанут, страшные в своих кожаных латах, перепоясанные рем-

ниями, в кожаных перчатках и шлемах, с белыми, уже синееющими мертвыми лицами. Встанут, поднимут грозное оружие и застрочат, оглушительно, громко.

Они уже не встанут. Снежинки падают на их посинелые лица, но они не чувствуют холода.

Как много они стреляли. Грохот выстрелов до сих пор стоит в ушах.

А ведь Мерген выстрелил всего два раза.

Раз, когда вот этот слева вдруг прекратил строчить из автомата и поднял голову, чтобы посмотреть. Раз! Палец нажал спусковой крючок. И немец дернулся, как дергается и скребет лапами волк, когда наскочит на пулю охотника. Он тоже дергал руками и ногами, лежа на снегу, и это было жутко. Но Мергену некогда было разбираться, что жутко и не жутко. У самой головы визжали пули из автомата того второго, который лежал на снегу рядом. Он что-то заметил и пополз к затихшему первому. И тут Мерген выстрелил второй раз.

Лишь два раза он стрелял сегодня из своей старенькой трехлинейки. А сколько стреляли «эти»!

Мерген даже мысленно не хотел называть их. Он не мог усмирить в груди тоскливое чувство сердечной слабости при взгляде на двух мертвецов, которых все больше и больше припорошивал снег и вокруг которых все ходил с причитаниями друг Куса.

Не хотел Куса подойти к трупам, хоть он и не стрелял, не успел выстрелить ни разу и на нем не было их крови.

«Где же Зуфар?— тоскливо думал Мерген.— Может, их не надо было так».

Мерген чуть не плакал, хотя он в своей долгой и тяжелой жизни не плакал никогда. Он терзался. Вот лежат два трупа, а могли и не лежать. Зуфар говорил же: «Брать будем живых».

Беда с этими охотничьими привычками. Взял на мушку и «бах!». В голову или сердце. Глаз охотника схватывает точно, рука посылает пулю. И все!

Мерген был в отчаянии. Он и на секунду не задумывался, что автоматчики не собирались, не намеревались щадить ни его, ни Кусу. Автоматчики нервничали. Мерген закричал: «Стой! Стрелять буду!» Кричал по-русски. Автоматчики закричали: «Хальт!» и открыли стрельбу по живым людям.

Автоматчики ждали других слов, на другом языке. И они начали стрелять без всяких разговоров. Они не церемонились с какими-то полудикими, судя по одежде, пастухами.

— Теперь они мертвы,— сказал Мерген своему другу Кусе,— и мы не узнаем, зачем они свалились с неба. Теперь капитан Зуфар тоже не узнает. И я даже не знаю, за что я их...

Он не сказал: «убил».

Не надо такого плохого слова. Все нутро переворачивалось в Мергене, едва его речь приближалась к такому слову. Нет, Мерген мирный человек, и он не хотел, чтобы эти двое... лежали сейчас на снегу...

Конечно, Мерген знал, кто они такие,— конечно, они враги, злобные, опасные враги, но их надо было взять живыми... Теперь все равно: «Что Ходжа Али, что Али Ходжа...» Он в ответе.

Он с тоской посмотрел на трупы, на растерянную безбородую физиономию Кусы, на серую пелену снега, затянувшую камышовые заросли, откуда вылезли эти двое...

Куда девался капитан Зуфар со своими бойцами? Неужели не слышит, что здесь творится? Грохоту и треску хватило на целый шайтанский ад.

— Придется их,— сказал он,— отнести в Змушкыр.

— Спрятать хочешь,— нервно хихикнул Куса,— верблюда не укроешь тюбетейкой.

— Эх, Куса! Куса ты и есть,— рассердился Мерген.— У кабана дурная шея, у дурного человека дурная шутка. Что ж, по-твоему, их так бросить?

— Дохламу шакалу мазара не строить.

— Тьфу! Ночью придут волки. А их надо сохранить... Помоги мне. Следовательно должен иметь их, как они есть...

Откуда в Мергене бралось такое спокойствие? Откуда Мерген знал, что за этими двумя из камышей не выйдут еще такие же?

Но на то Мерген и был прирожденным охотником. Он знал, что в камышах больше никого нет. Черные стаи ворон, вспугнутые пальбой, возвращались. Возможно, вороны почуяли кровь. Но они летали низко, над самыми мохнушками камыша. Ничто их не вспугивало.

Вороны плыли клочьями порванной тучи над самым камышом. Зловещими черными демонами вороны маячили сквозь белесые вихри и оглашали пустыню пронзительным карканьем. Но они не проявляли тревоги. Нет, они не чуяли в камышах людей, иначе подняли бы оглушительный галдеж.

Могли быть спокойны Мерген и Куса. Им ничто не грозило со стороны камышей.

— На,— сказал Мерген, отдавая один из автоматов Кусе,— носи! Теперь ты аскер. Смотри, какое оружие.

— Не надо!— пискнул Куса.— Оно тяжелое...

— Ничего, унесешь.

— Оно стреляет...— снова пискнул Куса. Глаза его округлились.

— Эх, ты...— только проговорил Мерген. Он с удовольствием поглаживал немецкий автомат.— Знать бы, как он заряжается. Но стрелять мы сможем.

Он снял с трупов запасные обоймы, пистолеты, длинные ножи. Он покачивал головой и цокол языком. Сколько оружия! Немцы сгибались, наверно, под тяжестью оружия.

— Возьми тогда нож. Ты отлично управляешься с ножом, когда надо баранов резать.

— Ай,— взвизгнул Куса.— Ты что хочешь? Чтобы я людей ножом резал?

— Не людей... Гитлеровских людоедов. А чего ради ты тогда за капитаном Зуфаром увязался? Посмотри, что у них там в карманах, а я погляжу на степь.

И тут же взгляд его остановился на облаке снежной пыли, которая поднималась особенно густо с юга.

— Тсс,— прошипел он,— не колготись, Куса. Там кто-то есть.

Он смотрел во все глаза, но ничего не мог из-за снега разглядеть. Там, он знал, берег замерзшего озера и вдоль берега идет из Каракумов дорога. По этой дороге иногда, правда, очень редко, смельчаки шоферы приезжают прямо с северных бугров Дарбаза через пустыню в Ташауз. Но в буран даже сумасшедший шофер не вздумает поехать. Да и какие сейчас машины! Все машины на фронте.

Но явно кто-то ехал. Не на машине. Ветер дул оттуда, но стука мотора Мерген не слышал.

И тем не менее в облачке снежной пыли что-то двигалось. Воронье там вдали над озером вдруг подняло совершеннейший базар.

— Какая польза слепому от свечи?— бормотал в ужасе Куса.— Именем аллаха, умоляю, покажи, где здесь нажимать, где здесь стрелять.

Мельком глянув на друга, Мерген не мог не присвистнуть.

— Ого, и мышь в своей норе львом рычит...

Поистине Куса представлял собой воинственное зрелище. Одна рука его сжимала приклад тяжелого автомата, в другой он держал длинный десантный нож. Шугурма его сбилась на затылок, бородавка растрепалась на ветру, последние его три-четыре зуба ощерились.

— Немцы, там немцы...— бормотал Куса.

Действительно — теперь и Мерген видел — по дороге в метели двигались фигуры. Но они никак не походили на парашютистов.

— С неба всадников вместе с конями не бросают,— рассудил Мерген.

Но он не спешил с заключениями. Появление людей, да еще едущих верхом из пустыни Каракум, да еще в такую погоду, обеспокоило его. Сказалось волнение и даже ужас от схватки с опасным врагом. Зуфар предупреждал его, на что они идут, говорил, что немцы собираются нагрянуть на Хорезм, что это

есть у них в их планах. Но одно дело — предположение, и притом довольно-таки фантастическое (дядя далеко не всегда считают своих племянников авторитетом для себя), другое — когда тебе лицом к лицу приходится столкнуться с таким, что и во сне не приснится. Но трупы немцев, которые лежали в снегу, совсем не походили на сон.

По-видимому, Мерген принял правильное решение. Вместе с Кусой они быстро отнесли оба трупа за оплывший, оставшийся с древних времен дувал, а сами выбрались через реденький камыш к дороге и притаились за кустиками тамариска. Они хотели сначала присмотреться. Кто их знает, этих приближающихся всадников, свои это или враги? Пришлось убрать автоматы в сторонку и прикрыть камышом.

По дороге ехали два всадника, оба вроде без оружия. Коня первого под уздцы вел пеший чалмоносец. Позади плелся еще один пешеход в каракалпакской шугурме.

Несмотря на снег, Мерген сразу же разобрал, что кони очень хорошие, чистопородные, а всадники одеты тепло и добротно. На шапку каждого пошло по две лисицы.

— Ой, — не удержался Куса, — большие люди... Чем хуже их кони «Бурака», на коем пророк Мухаммед вознесся в иерусалимский храм? Вах-вах!

— Молчи! И делай, как я... Да помни, мы охотники. Никаких мертвых немцев мы не видели...

Всадники ехали очень осторожно, очень медленно. Они часто останавливались.

Сумерки уже спустились на развалины Змушкыра, когда всадники подъехали вплотную. Они громко разговаривали, и голоса странно и глухо звучали в метели.

Всадники буквально наткнулись на приятелей. Лошади шумно всхрапнули и забились. Хорошо, что первого коня держал за повод пеший. Мерген разглядел и его. Это был имам, из «домика» Панбархутхон, большой, неуклюжий, одетый слишком легко для такой погоды.

— Кто вы? — испуганно вскрикнул первый всадник. — Напугали... коня. Прячетесь словно воры.

Теперь и Мерген, и Куса узнали в первом всаднике ишана с Змушкыра самого Хамидходжу.

— Ассалом алейкум! — воскликнул Мерген. — Поистине пути людей перепутываются, подобно ниткам в руках слепой старухи.

— Ваалейкум ассалом, — важно ответил Хамидходжа, — вечно на устах твоих шутки, Мерген.

Он облегченно вздохнул и быстро сказал второму всаднику:

— Иншалла, это свои.

Тут же он наклонился к Мергену и спросил его:

— Волею аллаха всемогущего, мы совершаем с нашим другом небольшое путешествие. Скажи, Мерген, спокойно ли на озерах? Нет ли здесь недобрых людей? Что вы здесь делаете?

— Мы — добрые люди, — хихикнул Куса, — совсем добрые. С волком курдюк едим — с пастухом плачем... Господин ишан разве не видит, на тракторах пашем, хлопок сеем...

— А, это ты, Куса, — величественно проговорил ишан, делая вид, что лишь сейчас заметил столь ничтожную особу, как Куса, — вечно твой рот изрыгает глупости. Не знаю, почему тебя, болтливого пса, в колхозе держат.

— А разве вы начальник над колхозами? Спасибо скажите, что вас начальничать над могилами да над мазарами советские власти допустили...

Куса забыл предупреждение друга и болтал безостановочно, стараясь скрыть свое волнение. Он не забывал, что в десяти шагах за осыпавшимся дувалом лежат два трупа в кожаных латах, а еще ближе под камышом припрятана страшная улика — два тяжелых новеньких автомата. И опыт подсказывал бесхитростному безбородому какую-то связь между бешеной стрельбой, кровью и столь непонятным появлением здесь, на далеких безлюдных озерах, столь важной персоны, какой был Хамидходжа, подвижник, хранитель древних развалин мазара Змушкыр. Что только советская власть делает? Зачем она допустила возвращение на пустовавший мазар духовных лиц? От них одна морока.

И что делать здесь Хамидходже, в соляной пустыне? Видите ли, он путешествует. Знаем мы подобные путешествия! Куса совсем расстроился и недовольно поглядывал на своего друга Мергена, который вдруг повел себя совсем непонятно.

Никогда не отличавшийся набожностью, Мерген коснулся усами носка начищенного до блеска хромового сапога Хамидходжи и спросил благословение на свою голову. Он разговаривал в высшей степени почтительно с господином ишаном. обстоятельно и любезно отвечал на все его несколько возбужденные вопросы. Мерген вызвался проводить господина Хамидходжу к себе в Змушкыр, в удобное место, дабы его священство могло со своими спутниками обогреться и подкрепить скромной пищей свои силы. Мерген ни о чем не спрашивал. Он только слушал и отвечал.

Мнение о Хамидходже, как и вообще о всех прочих ишанах и святых отцах, желчный Куса имел самое неблагоприятное: у кого нет дела, тот читает намаз. Сам Куса имел всегда слишком много дел, работал всю жизнь. И считал, что намазы ему читать некогда и незачем. Не замечал он такой привычки и за другим своим Мергеном. И его злило подобострастие Мергена. Но хоть в груди и бушует огонь, из носа дым не выпускай: пока что Куса помалкивал. Но в глубине своей ехидной, как он

сам считал, души он поклялся испортить «той», который с непонятным усердием устроил для Хамидходжи его молчаливого спутника и своих мюридов Мergen у себя на «базе» в Змушкыре.

Глава IX

Они даровали титул человеку, которого предок их не сделал бы даже привратником в отхожем.

Аль Ховарезми

Зуфара разбудила странная фраза: «Министерские портфели вам не дадут распределять».

Вроде Зуфар уже не спал, вроде это была все та же ветхая, продуваемая всеми ветрами вселенной охотничья хижина и вроде в ней произносились совсем нелепые слова насчет министерских портфелей.

Говорили двое.

Когда Зуфар засыпал, усердно борясь с дремотой, в хижине, кроме него, был только Бахрам.

А сейчас Бахрам визгливо и непристойно спорил с кем-то.

Степная привычка заставила Зуфара подумать, прежде чем открыть глаза. Мало ли что. Надо сначала приоткрыть чуть-чуть веки и сквозь узенькие щелки осмотреться: не грозит ли что-либо...

Он хорошо сделал. В тот момент, когда он разглядел в щелочку между веками спорщиков, он услышал низкий, удивительно знакомый голос:

— А он спит?

— Спит. Он наш человек... Оттуда. Тоже вроде тебя.

— Тогда зачем ему спать? Пусть слушает.

— Пусть спит. Я еще не все о нем знаю. Молод. Сон молодой. Ничего не услышит. После с ним поговорим.

Пока Зуфар спал, у Бахрама появился собеседник. Но откуда? Ночь, метель. Закутан в лисью шубу. На голове лисья шапка. Не человек, а шуба. Видны кусочек багровой, набухшей кровью щеки да огромный мешок под слезящимся глазом... Немолод, рыхл. Как он добрался по скользкой заснеженной дороге среди камышей? На шерсти шапки, воротнике шубы белели налипшие комья нерастаявшего снега. Видимо, Шуба пришел недавно. Щека мокрая, еще не прогрелась. Нос расшлепанный, точно на пельмень ишак копытом наступил, посинел. Знакомые черты. Шуба кого-то очень напоминает. Жаль, свет плохой. Не разглядишь.

Пыхтит Шуба очень громко. Где уж ему по камышам шататься. А тоже на колене лежит двустволка. Охотник...

Пламя очага разгорелось и сгущало темноту ночи за четверугольным провалом двери. Тот же свет выхватывал вихри снега и среди вихрей неподвижно стоящего коня. Конь объяснял появление Шубы, который высился истуканом у очага. Шуба приехал на коне, и ничего неестественного не было в его появлении.

Неестественно было только обращение с Шубой Бахрама. Такой суровый, гордый, он с рабской предупредительностью пытался задобрить человека в шубе. Бахраму совсем не шло подобию страсти. А он почтительно счищал снег не только с шубы, но и с залепленных снегом и грязью сапог.

И уж совсем неестественный характер носил разговор между Бахрамом и Шубой. Сначала Зуфар не понимал. Какие-то надежды, исполнению которых близится час. Дележ государства, земель, скота, городов. Великие перемены в Туркестане, международные обязательства — все это странно и неправдоподобно звучало здесь, у очага с робким кизячным огоньком, вонючим дымом, где-то в самой глубине Каракумов. Все сильнее задувала вьюга в раскрытую хижину. Все понурее опускал шею на холоде и ветру конь у порога. Он просовывал в комнату породистую голову и, прядая ушами, поглядывал умными глазами на людей, споривших до крика.

— Он спит, а дела вселенной шатаются,— вопил Шуба.— Мы годы ждем его. Довольно терпеть! Час священной битвы пробил, а он спит! А он слова знает? Он сказал вам слова?

— Знает... Пусть спит. Молодой сон крепок.

— Я почтенный, пожилой. И я должен ждать, когда он проснется.

— Пусть спит. Нам нужно, уважаемый, обговорить кое-что.

— Я, учившийся в мусульманской академии «Дивбенд» в Индии, превзошедший вершины исламской науки, должен стеречь сон какого-то невежды.

— Тсс, не волнуйтесь и не спешите. Он достойный человек. Недостойного не послали бы для дела жизни и смерти.

— Не понимаю. Дело жизни, смерти, а он спит. Кто он такой? Вы, Бахрамбек, знаете его?

— Он ходил навстречу мне... Он шел рядом со мной... Он жил в одной махалле со мной, долго жил... Он мой родич, стал родичем. И я не узнал его душу. Он умеет владеть собой. Такие люди или очень опасны, или очень полезны.

— Опасны? Полезны? Он, спящий, полезен или опасен?

— Нам полезен, врагам опасен...

— Кому «нам»?

— Аллах поможет разобраться.

— Что вы говорите, Бахрамбек? Смысл ваших слов не доходит до моего ума.

— Скажите, почтеннейший, что вы ждете от великих перемен?

— Уже поздно, Бахрамбек. Очень поздно. Я много ехал. Плохо спал ночь. Лягу спать. Я бы поужинал, хороший плов или бешбармак не помешал бы. Но, увы, в наше время обычай гостеприимства...

— Я здесь живу один...— В голосе Бахрама вдруг послышалась угроза.— У меня нет с собой повара...

Вдруг Зуфар понял: если бы он был на месте Шубы, он не решил бы разговаривать так резко, покровительственно, так выскомерно. Явно Бахрамом завладевало раздражение.

— Завтра прибудет в Эмушкыр сам наиб,— сказал Шуба.

«Ого,— подумал Зуфар, — съезд продолжается. Вот зачем они забрались в пустыню».

— Скажем, я не избалован жизнью, хоть и воспитывался в странах Востока и Запада,— продолжал Шуба.— Но что вы предложите господину наibu? Ветер, мороз и кизячный дым?

Из груди Бахрама вырвалось что-то вроде всхлипа. Ему перехватило горло.

— Ладно, ладно,— сказал с досадой Шуба.— Вы уподобились тому скупому мертвецу, который поднес гостям на дастархане шампуры от вчерашнего шашлыка... А теперь скажите, где мне расположиться...

— Поспать вы успеете. Сначала поговорим...

Зуфар никак не мог разглядеть лица Шубы. Но голос? Голос удивительно знакомый. Где-то он слышал этот тонкий вкрадчивый голос.

Потом Шуба и Бахрам вели себя как базарные торгаши. Они сводили старые счета; обвинили друг друга в трусости, предательстве, в продажности. Бахрам, оказывается, когда-то давно пожалел денег и тем самым провалил покупку оружия для бухарского курбаши Абду Кагара. Шуба — Зуфар отчаянно силился вспомнить, где он слышал этот голос,— в свое время сбежал и не поддержал Ибрагимбека. Ибрагим остался без средств и оружия и погиб. Оказалось, что не кто иной, как Бахрам, призвал истреблять не только большевиков и русских пришельцев, а и джаидов. Но кто же, как не отец Шубы — полковник Шейх Али,— угнал в северный Афганистан миллионные стада каракулевых овец и обескровил экономику Бухарской Народной Республики и нанес смертельный удар планам ее самостоятельности. Ведь Шейх Али, лицемер и ханжа, со своей фирмой занимал первое место в мире по торговле смушками. Брось он на весы международной политики свое золото — и история Туркестана пошла бы по иному пути.

Призраки прошлого мельтешили в облаках кизячного дыма. Имена, события, политические комбинации, битвы эпохи граж-

данской войны теснились нескончаемой чередой в темной сырой хижине.

А ожесточенные спорщики закапывались в прошлое глубже и глубже. Кровные интересы Бахрама и полковника Шейха Али столкнулись уже давно, в дни ужасов и жестокостей ферганского басмачества. Они тогда, очевидно, действовали вместе против советской власти. Но шейх Али всегда стоял на том, что «острее человеческого языка ни ножа, ни топора нет». Он стоял за дипломатию, мягкость, за мирное вживание в советскую власть, за подрыв ее изнутри. Зверев в споре, Бахрам вопил, что «вареная курица не закудахчет», что джадиды и всякое их ублюдочное порождение вроде партии «Иттихад» именно «сварились в шавлю» и ни на что не были способны со своим Мамадином и, слава аллаху, нашелся мужественный борец за ислам Курширмат, который придушил старым дувалом соглашателя Мамадина, чтобы душа у него осквернилась, выйдя не через рот, а через зад... Лишь изнеженные слюнтяи вроде Шейха Али боялись соскабливать плесень со стен родного дома.

— Ничего нет удивительного,— заявил Шуба,— что зверствами и кровью Бахрам отвратил народ от басмачества. Далеко ходить некуда. Бахрамбек — родной сын кровопийцы и людоеда Фулатбека кокандского. Во имя веры, во имя ислама он ходил по колена в крови собственноручно прирезанных мясницким ножом малых детей, юных невинных девственниц, слабых, беспомощных женщин и старцев. И все потому, что они приходились сродни Джурабеку, понявшему в дни грозного завоевания Туркестана, что лучше приносить пользу своему народу, служа сильному завоевателю, нежели губить бессмысленным сопротивлением людей. Будучи генералом царской армии и стоя у трона «ярымпадишаха», Джурабек принес пользу узбекам. А людоед Фулатбек окончательно свихнулся в Мазар-и-Шерифе от молитв и сатанинского фанатизма и до самой своей кончины строил всякие мелкие пакости лучшим людям своего народа и мешал им идти по пути просвещения и прогресса. Кто, как не родичи Фулатбека, науськали последнего, тупоумного эмира Сеид Алимхана истребить цвет джадидизма и в братоубийственной резне потопить в крови великую идею туркестанской демократии.

Но Бахрам ничуть не стыдился своих дел и своего отца Фулатбека.

— Мышиный писк джадидов всем мешал. Вола в мышиную норку не загонишь. Жаль, что такие нытики, как сынок Шейха Али, спасли свою шкуру. Но час наступит! И скоро! И тогда, кланусь, наконец он рассчитается со своим кровником.

Ничуть не испугался Шуба. С величайшим снисхождением он сказал:

— В своем тупом невежестве вы, сын пожирателя детей Фулатбека, погрязли в дикости и предрассудках. В час, когда мы

стоим на пороге осуществления вековой мечты, в час создания истинной тюркской культуры и цивилизации у него кровью наливаются глаза при мысли о кровной мести. Смотрите на него, представителя кровавого рода Фулатбека! Он и поныне жаждет крови своих братьев! И такое животное мы пустили в священную каабу великого дела! Нет, вам не по пути с нами. Мутную воду вылей — чистую налей!

Шуба говорил с важным и даже снисходительным видом. Он говорил поистине свысока. И Зуфар, все еще не находивший нужным просыпаться, понял, что Шуба стоит по положению в иерархии неизмеримо выше мрачного, дикового Бахрама.

Но в какой иерархии? Почему Шуба позволял разговаривать с потомком владетельного Фулатбека таким тоном?

Зуфар не ждал, что ему удастся сразу столь легко напасть на след. Дичь шла сама ему прямо в руки. Шейх Али значился под своим именем в списке в трабзонском пансионате «Сьюисс». Очевидно, он не настолько обнаглел, чтобы самому пробраться в Хорезм. Он предпочел послать Шубу, своего сына. Но почему там, в пансионате «Сьюисс», Зуфар не видел никакого сына Шейха Али. Но... удивительно знакомый голос. Кому же из всегдашних этого пансионата он принадлежит?

Зуфар чувствовал: вот-вот сейчас он вспомнит. Но нет, мысли перескочили.

Видимо, дела гитлеровцев под Сталинградом очень хороши. Или некоторые круги считают, что они хороши. Сынок Шейха Али держится слишком развязно, слишком смело.

В пустыню медленно доходят вести. Радио нет. Газет нет. А вдруг там, на Волге... Нет! Все в Зуфаре кричало: «Нет, нет, нет!»

Сталинград стоит незыблемо!

Немцы обломают зубы о крепость на Волге.

Все чаяния, все мысли спорщиков тоже крутились вокруг Сталинграда. Они еще сами не знали. Они ждали. И они делали большие паузы, прислушиваясь, поглядывая на четверугольник двери, в котором, понуро опустив голову, стояла в вихре снега лошадь.

К чему они прислушивались? К вою ветра? К снежному бурю? К небесам? К тому, что происходит в небесах?

Не однажды уже Шуба вытаскивал за толстую серебряную цепочку большие серебряные часы. Такие часы носили поездные кондукторы и брандмайоры до революции. И часы такие Зуфар видел. Но у кого?

Каждый раз, положив часы обратно в кармашек, Шуба вздыхал и говорил тихо: «Хотел я поспать, да вы мне сон разогнали...»

Он аккуратно прятал свои часы, снова вздыхал:

— Все совпадает. Число. Время. Однако вот погода.

И снова вздыхал.

«Они кого-то ждут»,— думал Зуфар.

И он невольно начал прислушиваться к тому, что творилось снаружи. Но ничего не слышал, кроме посвиста бурана и пофыр-кивания коня, совсем втиснувшегося в дверь.

Спорщики чего-то ждали. И с большим нетерпением.

Они снова спорили. Все что-то делили. Чуть ли не целые губернаторства. Снова друг друга осыпали ругательствами. Уточняли, что кому достанется. Они нервничали все больше. Они ждали чего-то, что произойдет утром. Должно произойти. Бахрам дважды чего-то подмешивал в свою грубую глиняную пиалу и выпивал. По всей хижине распространился липкий запах.

«Настой анаши...»— думал Зуфар.

В споре Бахрам делался яростнее, злобнее. Наркотик возбуждал Бахрама. Возбуждение сказывалось в налитых кровью глазах, в судорожном движении рук, всего туловища, в резком подергивании мочальных усов. На кочковатой грубой штукатурке стен металась тень сказочного джина.

Тень не пугала Шубу. Он дразнил собеседника, подзадоривал его. Он всерьез решил вылить мутную воду и налить чистую. Он не скрывал своих планов.

С поzewотой он прямо сказал:

— Вы не годитесь. Вижу, вы не годитесь, Бахрамбек. Вы испортили ваше и наше дело этим самосожжением. Связались с ба-бами. И наше дело поломали. Еле-еле мы исправили. Нельзя все под удар ставить, а вы поставили. Тогда мы долго думали. Надумали все же сохранить вас. Теперь вижу: не надо было сохра-нять. Вы палач и мясник...

Тени заматались еще буйнее.

— Хвала Аламуту! Хвала делу «исмаили»!— возгласил Бахрам.

— Вот поглядите,— благодушно сказал Шуба.— Теперь он вытаскивает дела многовековой давности. Век ваших исмаилит-ских, обжиравшихся гашишом убийц-мстителей давно провалился в небытие. В наш век, в век рациональной мысли, религия, изу-верство может понадобиться разве в качестве ширмы. Мы и ду-мали о вас в таком плане. А ныне, я вижу...

— Хвала Аламуту! Ваше дело болтовня, наше дело огонь и нож. Вы там со своим Чокаем размазываете всякие свободы, прогрессы. Подождите, Гейдар-Гитлер всех вас упрячет под зем-лю. От ваших туранов и туркестанов и пылинки не останется... Пришел час фидайев. Резать, истреблять, уничтожать. Я загля-нул в ваши развращенные джадидские сердца, в тайники сердец. Сколько в них мусора! О ты бог мусульман! Чем же согрешили мы, мусульмане, что ты подверг нас таким черным дням? Дух пророка Мухаммеда зовет к мести. Довольно терпеть! Час вели-кой священной войны пришел! Фидайи собираются с силами.

У Бахрама даже что-то похожее на пену выступило на губах. И вид он имел устрашающий. Но на Шубу его выкрики не произвели впечатления. Он снова посмотрел на часы, закутался в свой тулуп, чтобы в ноги не дуло, и задремал.

Крики Бахрама стихли, перешли в невнятное бормотание. Неизвестно, сколько стояла тишина.

— Республика Туркестан! Парламент!— вдруг заговорил Шуба.— Просвещенная демократия.

Он не обращался к Бахраму. Он отвечал на свои мысленно произнесенные вопросы.

— Мы просвещенные министры. Народ пойдет за нами. Несколько хороших слов, несколько речей... Тех, кто не пойдет, заставим. Немцы помогут. Опыт есть. Колхозы распустим. Заводы найдут своих хозяев. Всех несогласных — в лагеря. Рабочей силы хватит. Пролетариат? Никакого пролетариата. Мы правители...

— Кто «мы»?— спросил Бахрам.

— Оказывается, вы не спите. Успокоились? Правители мы — мусульмане. В смысле некой общности принципов. Политическая исключительность дает право мусульманам господствовать над другими народами... У Гитлера политическая исключительность германцев... У нас — мусульман...

Он исподлобья поглядел на Бахрама.

— Мусульманский принцип ставит задачу: уничтожить стремление татар, киргизов, казахов, башкир — выделяться, обособляться... Весь Туркестан под эгидой узбеков. В органах власти мусульмане, в армии — мусульмане, в школе... больше богословия, мусульманского права. Женщин учить не обязательно. Соединив усилия, господин Бахрамбек, мы оживим и двинем вперед наше мусульманское государство.

Почему-то вдруг Бахрам затрясся весь и воскликнул:

— Вера в единого аллаха! Пусть всякий, кто проповедует мою веру, не прибегает ни к доводам, ни к красноречию, а убивает всех зараженных грехом, всех отказывающихся повиноваться моему закону!

— Крепко сказано!— согласился Шуба.— Полторы тысячи лет назад так сказал пророк Мухаммед... Тогда было уместно. Сейчас времена другие. Нельзя же всех убивать только за то, что они необрезанные.

— Убивать, убивать!— закричал Бахрам. Он раскачивался, глаза его заволокла пленка. Он ничего не видел.— Разбить сосуд греха. И большевиков убивать. И таких, как ты, убивать. И русских убивать. Пророк — наш вождь! Кто не приемлет ислама, убивать...

— Но немцы — не мусульмане. Их тоже убивать, что ли? Гитлер не мусульманин... Гитлера убивать? Уважаемый, опомнитесь!

— Гитлера нет — есть Гейдар, пророк. Буква фашизма — буква ислама истинного. Гейдар понял: ислам — истина, но путь ислама — не путь Запада. Надо западных людей обмануть. Нужна другая форма. Фашизм — форма, приемлемая людьми Запада. Победит фашизм — победит ислам! Людям тогда скажут, и они удивятся: «Неужто это ислам?» И скажут: «Прославлено имя аллаха».

Шуба захихикал.

— Не смейся, не богохульствуй,— вскричал Бахрам.— Вот спустятся немцы в образе ангелов аллаха с небес и воскликнут: «Нет бога, кроме бога, и Гейдар его пророк!» И провозгласят букву корана. Кто не подчинится, всех истребим. Чингисхан возглашал: «Не подчинишься — убью». И убивал! Тимур говорил: «Подчинись! Не подчинишься — убью». Отрубал головы. Без головы не порассуждаешь! Хорошее правило. На каждого тимуровского воина двадцать рабов работало! Завтра придет Гейдар в Туркестан. Тюрки, проснитесь! Завтра Гейдар перейдет Волгу. Поднимите знамя, начинайте священную войну! Путь бога — джихад — священная война. Ислам — знамя бога. Поднимите голову, братья, ваш путь «ганимат!» — добыча! Все по праву захвата — ваше!

Он захлебывался, хрипел. Шуба перестал хихикать.

— Довольно юродствовать,— сказал он резко,— не будь диваной. Человеконенавистничество твое ни к чему. Ислам исламом, жизнь жизнью. Кончится война, а она кончится скоро, мы скажем твоему Гейдару-Гитлеру: «Спасибо!» И пусть убирается в свою Европу. И он повернется и уйдет. Фашизм оставь ему... Наш путь — демократия... Мусульманская демократия.

— О нет! Когда сидишь верхом на тигре, трудно слезать... — проворчал Бахрам.— Вы, иттихадисты, я вижу, сыновья греха. От чрезмерной образованности у вас гнилые мозги... Нет, придет наша власть, погрязших в грехе мы будем убивать. Путь бога — джихад, ислам — его знамя!

Теперь Шуба встревожился. Лисья шапка завертелась, повернулась к двери. Он проговорил нервно:

— Говоришь глупости. Я тоже мусульманин. Нечего меня пугать.

— И все же я тебя убью! — неправдоподобно спокойно проговорил Бахрам.— Вместилище греха!

— А ты забыл: кто намеренно убьет мусульманина, несправедливо убьет, место того в аду навеки... Да в чем дело, наконец? Хватит болтать.

Говорил Шуба по-прежнему властно, по-хозяйски, но голос его дрогнул. Он нахохлился и пробормотал:

— Эх его! С проповедью насилия... Чем глубже разгребает помойку, тем больше вони. Невежда! И червяк мнит себя змеей...

И тут Шуба повернул голову... И Зуфар узнал... Шуба — Тюлеген Поэт... Значит, и Тюлеген пробрался через границу! Воронье слетается. Хорошо, что Зуфар притворился спящим. Не стал бы Тюлеген разговаривать так с Бахрамом, если бы не думал, что Зуфар спит.

На последние слова Тюлегена Бахрам не ответил. Возможно, ему надоел спор. Он возился в очаге с кувшинчиком. Ветер громко шуршал камышовой кровлей.

— Хватит ребячиться,— вдруг резко сказал Тюлеген-Шуба.— Прекратить споры! Придут друзья и застанут свары да споры. Наше дело — единство.

Хитро глянув на Тюлегена, Бахрам бросил:

— А мечь? В коране сказано: не забудь отомстить!

— Тьфу!— плюнул Тюлеген.— Опять ты за старые грехи берешься. Петух громко поет, да хвост в дерьме...

Он решительно смежил веки. Он не хотел больше спорить. Больше спорщики не кричали, не шумели, и Зуфар нечаянно заснул.

Не следовало засыпать, но так получилось. В пустыне ночью, да еще зимой, ничего не остается делать, как спать. Бахрам и Шуба так и не сочли нужным разбудить Зуфара. Они спорили очень долго, но ни один из них не поинтересовался его мнением. Зуфар устал. По хижине ходили злые сквозняки. Нога ныла. Но Зуфар пригнулся в своем уголке и крепко спал.

Глава X

Черные пески с высокими барханами ложатся мне под ноги, словно бархат. Воды Джейхуна от радости свидания с другом плещутся под брюхом коня.

Унсури

Пребывание святого отшельника Хамидходжи, Молчаливого и двух мюридов в Змушкыре продолжалось двое суток. Погода и, по-видимому, некоторые другие обстоятельства, не побуждали Хамидходжу пуститься в путь, и он всюю пользовался гостеприимством Мергена, пока продолжался буран.

Старую глинобитную башню Мерген превратил уже много лет назад в сносную михманхану. Здесь он годами жил во времена хана, скрываясь от налоговщиков и полицейских. Здесь, в убежище сов и шакалов, он прятал свою дочь, когда ханские слуги хотели увезти ее на «арбе горя» в гарем «исчадия разврата» сифилитика Исфендиара. Здесь, в Змушкыре, Мерген с пятью красноармейцами в 1931 году отбивался целую неделю от калтаманов Ишикхана, сына Джунаида. Позже, когда наступили тихие времена, башня стала охотничьей базой Мергена.

Два дня жил Хамидходжа со своими спутниками на базе, спал на кошмах Мергена, накрывался его одеялом, ел из котла Мергена. Два дня Мерген увивался вокруг святого отца верным миродом, вызывая презрение Кусы.

Цель путешествия Хамидходжи все не прояснялась.

— Мы, — сказал он как-то, — намерены посетить гумбет, где лежит прах пророчицы.

Здесь вмешался в беседу Куса:

— Позвольте поинтересоваться, а как звали ту высокочтимую пророчицу?

Немного растерявшись, Хамидходжа пробормотал:

— Имя ее не сохранила память людей, да поможет мне память, ее зовут, кажется, Мазлумхан Слу. Очень святая пророчица! Могила ее являет народу чудеса.

Но Кусу трудно было унять.

— Нет здесь никакого гумбета, — сказал язвительно Куса. — Мазлумхан Слу похоронена в Ходжейли. Сто верст отсюда.

Толстое благообразное лицо Хамидходжи задергалось, запрыгало.

— Да, ваша милость, — проговорил Мерген, — гумбета здесь нет. И близко нет. И Мазлумхан Слу была не пророчица, а дочь хана. Но вы не слушайте невежливых слов моего друга: вырос он в степи, среди песка и колючек. Откуда ему набраться вежливости.

— Не клади голову под коран, — зашипел Куса. — Я говорю господину ишану: «Это бык», — а он мне: «Подои его!»

Крайне недовольный Хамидходжа встал и направился к выходу. По дороге он зло бросил:

— Маленькая муха может всю стену изгадить.

— Иди, иди, освежи свой премудрый лоб, — бормотал Куса. — И почему только советская власть терпит дармоедов...

— Не болтай много, — вполголоса сказал Мерген. — Хочется ему могилы пророчицы — дай ему могилу, хочет он Мазлумхан Слу — дай ему ее. Захочет он самого пророка Мухаммеда — дай ему Мухаммеда, не мешай...

— Избави меня аллах от копыта блохи! Своими рассказами про гумбет хочет обмануть меня, Кусу. Я старый Куса, безбородый Куса, трехсотлетний Куса, видевший потоп Куса, обманувший сто хитрецов Куса... И меня обманет какой-то ишан, Хамидходжа, будь он проклят!

— Да тише ты. Лучше поговори с имамом, узнай, зачем он сюда притащился и что это за Молчаливый, которого он с собой приволок. Й...

Тут Мерген откинул одеяла с сандала и, наклонившись к ямке, сделал вид, что поправляет жарко горящие угли.

— Й... у них у хурджунов оружие. Революеры, видно. Хурджуны у них тяжелые. И от хурджунов они не отходят: то один

сторожит, то другой. И сейчас в дверь заглядывает, не доверяет... Пойди вроде нужду справить, посмотри, куда на мороз да ветер господин ишан пошел.

Куса приблизил лицо к Мергену.

— Хорошо, хорошо... Меня, Кусу, не проведешь. Я трехсот-летний Куса. Усы у меня — четыре волоска. Вместо посоха у меня сук, вместо халата у меня дерюга... В рукаве перепелка. Я самого шайтана сто раз обманул.

— Ладно, ладно. Иди обмани ишана...

— Ох, ох, безбородый Куса, видевший всемирный потоп Куса, придется тебе теплое место бросить, на мороз идти. Избави аллах тебя, Куса, от копыта блохи. Пойду обману господина ишана.

Кряхтя, он вылез из-под старенького одеяла, под которым пригрел свои старые ревматические кости, и поплелся к двери, за которой в прихожей стоял, сутуло согнувшись, молчаливый спутник ишана, с явным беспокойством поглядывавший то на двор, то на хурджуны, лежавшие у стены.

— Да поговори осторожно с Молчаливым,— тихо сказал Мерген.

— Безбородый Куса, любящий перепелиные бои Куса, спит на ходу Куса.— Так бормоча свои порой бессмысленные прибаутки, Куса поплелся на мороз и снег, а Мерген остался у сандала в глубоком раздумье.

При всей бедности обстановки михманхана устраивала всякого, кто любил удобства и уют. Толстые, отлично обмазанные глиной с саманом стены не имели щелей. Выложенный грубоотесанными стволами тугайного тополя потолок был очень высокий, и дым и угар не скапливались у пола. Кстати, пол комнаты там, где его не закрывали циновки, кошмы и старенькие паласы, был чист. На такой пол масло пролей, собери и пищу жарь. На стенах на чисто обтесанных колышках в нишах висели мотки веревок, кожаная сбруя, охотничье оружие, патронташи. Даже наволочки круглых ястучков-подушек выглядели чисто выстиранными, выглаженными. Небольшой переливавшийся медным блеском самовар кипел с утра до позднего вечера, а в обширной прихожей, игравшей роль кухни, сейчас в накрытом котле доходил на медленном огне плов по-бухарски — с изюмом и курагой. Несмотря на лишения и трудности военного времени, Мерген не особенно нуждался и, будучи крайне бережливым, даже скупым, всегда умел распорядиться своими запасами так, чтобы хватило на всю зиму.

Вполне мог быть доволен Хамидходжа гостеприимством Мергена. За два дня ишан и его спутник не истратили ни щепотки чая, ни пиалушки риса из своих дорожных запасов. Сытый и довольный Хамидходжа мог проводить время в отдыхе и приятных благочестивых разговорах с таким почтительным и вниматель-

ным собеседником, как Мерген. Но ишан не мог скрыть своего раздражения, которое вызывалось отнюдь не дерзостями Кусы. Благообразный, гладколицый ишан просто старался не замечать безбородого и лишь изредка удостаивал пренебрежительным словом и молча сносил желчные шуточки Кусы.

— Увы, не те времена,— сказал, высунув голову, Молчаливый.— Сейчас не прикажешьсыпать десятка три палок безбожнику. Но подожди, исчадие Лата и Маката, подожди, идолопоклонник, час придет.

Ветер бросал в лицо колкие снежинки. Хамидходжа усиленно моргал, вглядываясь в белую муть. И его страдальческое лицо выражало усталость, нетерпение ожидания и... страх.

— Неподходящая погода,— сказал примирительно Куса.— Зажги светильник — и то небо не поджаришь. Вы, господин ишан, при аллахе состоите. Попросить бы его буран разогнать...

Он по своему обыкновению не мог не съязвить. Проходя через прихожую, он не удержался, зацепил Молчаливика — спутника Каракумишана. Зацепил не просто так. Хотел послушать его. Говорил Молчаливик странно. Мягко произносил слова, непонятно. Что-то шевелилось в памяти Кусы, когда он слышал такой говор, совсем не узбекский говор. Знал Куса одного человека с таким говором, еще когда проводником водил эскадроны комбрига Ибрагимова, славного командира Красной конницы, на Сарыкамыш против калтаманов. Так мягко произносил слова Ибрагимов, а он был из азербайджанских персов. Выходит, спутник Каракумишана — азербайджанец.

Хоть у Кусы брови закрывают глаза — видят глаза не хуже, чем у любого. Недаром Куса самого шайтана не раз уж обманул.

— Что вы на холоде стоите. Милости просим в нашу михманхану. Хоть она и не такая, к какой вы привыкли у себя, но вы и ваш друг благороднейший превратили наше жилище своими священными стопами в цветник роз. Нет, говорят, прекраснее роз Измира и Трабезона.

— А-а! — издал вдруг сдавленный возглас Молчаливик. Он с явным испугом уставился на Кусу. — Измир? Трабезон?.. Откуда ты знаешь?

Молчаливый явно чего-то перепугался. Мертвенный взор его ожил. Молчаливый смотрел подозрительно. И Куса поспешил убраться на двор, где одиноко стоял Хамидходжа, напряженно уставившись на вьюгу.

Поговорив о погоде и зацепив слегка господина ишана, Куса, весьма довольный собой, направился в конюшню. Так в хозяйстве Мергена громко именовался хлев для единственного осла, слепленный из комьев глины в углу между стеной и башней древних развалин.

— Эй, безбородый! — окликнул Хамидходжа. — Сожалею о тебе. Темно твое будущее, но ты не виноват, ибо виновник всех причин аллах.

Куса повернулся. Его поразило выражение лица ишана. Обычно столь благообразный, он весь перекосялся в напряжении. Губы на толстом лице вытянулись в ниточку, сощуренные глаза сверлили Кусу.

— Ого, господин Опиум, если бы вас волновал аллах, он дал бы вам власть и силу. Тогда вы меня вместо баранинки на шампур шашлычный наткнули бы и на горячих углях поджарили. Но... я жесткий, зубы обломаете. Опиум...

Обидное прозвище «Опиум» Куса почерпнул из выражения «религия — опиум для народа». Хамидходжа терял и раньше самообладание, когда Куса при встречах его так величал.

Но сейчас ишан даже не рассердился. А Молчаливый воздел руки к осыпавшим его снегом небесам и обрушил на голову Кусы самые витиеватые проклятия:

— Пусть от священного омовения после исполнения большой нужды кожа твоя воняет еще больше, гнусный безбородый! Пусть аллах оставит тебя оскверненным! Берегись, безбородый, аллах больше не потерпит богохульников! Час близок! Летят уже ангелы мщения!

Голос Молчаливого глухо и зловеще звучал в посвисте бурана, и Куса невольно поежился. Он вспомнил сегодняшнее утро, и злорада поднялась к горлу:

— Уж не дьяволы ли в кожаных куртках твои ангелы мщения! Избавь меня аллах от копыта блохи!

Он осекся и прикусил язык, ругая себя за болтливость. Из дверей высунулась кудрявая борода Мергена. Она нервно дергалась, и Куса понял, что наговорил глупостей.

Он забавно зажал себе ладонью рот и кинулся рысцой через двор.

Слова Кусы произвели поразительное действие на Хамидходжу. Он заскочил в прихожую и, не обращая внимания на стоявшего на пороге Мергена, забормотал что-то на ухо Молчаливому. Они зашли в михманхану, повозились около хурджунов, вышли и чуть ли не побежали к западной стене. Мерген шел за ними. Он успел прихватить один из немецких автоматов и придерживал его рукой под ватным халатом. Мерген очень встревожился и с опаской поглядывал на Хамидходжу и Молчаливого. Они стояли на ветру и снегу на самом высоком месте уцелевшей громады — стены Змушкыра, вглядываясь и вслушиваясь в пустыню. Непрерывно вытирая глаза, Молчаливый что-то жалобно говорил Хамидходже, а тот, угрюмо вобрав голову в плечи и нахохлившись, видимо, пытался разглядеть что-нибудь во все крепчавшем вихре бурана.

— Болтлив ты, Куса, трехсотлетний ты, Куса, хитрец ты, Куса,— в сердцах бормотал Мерген,— а и схитрить не умеешь со своими четырьмя волосками на подбородке, Куса.

У самого Мергена была великолепная курчавая борода, и он очень гордился ею. Мерген не задавался вопросом, хитер ли он. Но еще вчера ночью, когда гости спали, взял свой кетмень и пробрался к кустарнику, где лежали трупы парашютистов. Стараясь перебороть дрожь отвращения, он тщательно в полной темноте обшарил карманы изгрызенных волками и шакалами кожаных комбинезонов, извлек документы и бумажники. Затем упорно работал кетменем. Только верхний слой земли замерз, а дальше пошел песок, и копать было легко. Раз десять Мерген прерывал работу и крался к развалинам. Ему все казалось, что в метели бродят подозрительные тени.

Тщательно засыпав трупы, Мерген по традиции провел усталыми ладонями по заиндевевшей бороде и мысленно произнес похоронную молитву. Как он хотел, чтобы вьюга не прекращалась всю ночь и хорошенько укрыла могилу. Вернулся в михманхану под утро. Гости спали тяжелым крепким сном уставших от долгого путешествия странников. Они ничего не заметили. И надо же Кусе заговорить о кожаных дьяволах. Эх, длинный ты язык, Куса!

На гребне старой глинобитной стены замка древних афригидов ветер сшибал с ног, ветер свистел, гудел, ветер слепил. Со стены невозможно было разглядеть находившиеся в двухстах шагах заросли. Постояв немного и посмотрев во все стороны, Хамидходжа и Молчаливый повернулись и осторожно сползли по скользким откосам вниз на эспланаду старой крепости. Обиная с шапок снег, вытирая мокрые лица, они прошли мимо Мергена, не заметив его.

— Непогода,— проговорил простуженным голосом Молчаливый.— Отвратительная погода. Не прилетят.

У Мергена невольно жалось сердце. Все подтвердилось. Теперь подтвердилось связь между «кожаными дьяволами» и приездом в Змушкыр Хамидходжи.

Хорош святой! Прав Куса, выражая свое возмущение. Действительно, зачем Хамидходже разрешили поселиться на каракумском мазаре, восстановить могилу, которую уж лет двадцать забросили. Молодежь и совсем не знала, что существовал когда-то святой, с позволения сказать, Каракумишан. Разве лишь в бабушкиных сказках рассказывалось, что Насреддин Афанди однажды приезжал на своем ослике к Каракум-мазару и перехитрил всех отцов ишанов, хранителей святоши, заставив их прочитать письмо, где говорилось, что в могиле совсем не святой, а кости верблюда...

На пададь вороны слетаются — на могилу муллы набегают.

Снова холодок прошел по спине. Кости, скелеты, могилы... А там под песком и снегом они лежат. Ты их застрелил. Нечего им было лезть сюда, на священную землю Хорезма. Но, как ни успокаивал себя Мерген, приятного мало. До сих пор Мерген далек был от войны. Сейчас война пришла к нему. Страшно.

Страшно и то, что это только начало. Кто знает, сколько их? Как их назвал Молчаливый? Ангелы мщения.

Надо поругать друга Кусу. Пусть перестанет болтать. От таких, как ишан, надо ждать чего угодно.

Мерген прошел в конюшню. Кусы там не оказалось. Не оказалось и другого немого спутника, похожего на караалпака. В конюшне в затихше потрескивал огонек масляного чирака. Кони похрустывали лениво сеном, а людей не было.

Мерген перепугался. Что с Кусой? Вошел в михманхану. Здесь Куса преспокойно разжигал семилинейную керосиновую лампу. «Гости» сидели около своих хурджунов и тихо переговаривались.

Мирное настроение Хамидходжи и Молчаливого не понравилось Мергену. Не такой человек ишан, чтобы забыть быстро гнев и обиду. Спокойствие его — угрожающее спокойствие. Куса напрасно беспечен. Хитрец Куса, обманувший не раз дьявола, не такой уж и хитрец. Что? Разве он не видит, как в щелках монгольских глаз Молчаливого бегают шмели-зрачки? Теперь, когда Мерген знал, зачем Хамидходжа со своим молчаливым спутником появился в Змушкыре, характер хранителя мазара представлялся в другом свете. Во вредном свете.

Очень плохо, что Хамидходжа не спросил Мергена, куда он ходил. Странно, что не спросил. Обязан был спросить.

А посмотрел Молчаливый на Мергена скрытно, но выразительно. Такие взгляды убивают.

До сих пор Мергену не удавалось выйти из михманханы, чтоб Молчаливый не поинтересовался, куда он идет. Зачем? А то и сам шел за ним. Кусе так и не удалось поподробнее поговорить с имамом и тем тихим человеком, похожим на караалпака. Только начнешь разговаривать, а Молчаливый тут как тут. Стоит, слушает.

А теперь он молчит, не спрашивает, лишь глаза его сверлят... Сверлят... Опасный, оказывается, у него взгляд.

С тоской Мерген глянул через двери на двор. Белая пелена! Никуда не денешься, а придется сидеть в одной комнате, спать в одной комнате рядом с человеком, имеющим взгляд... скажем, взгляд змей. Змея-щитомордик — очень ядовитая, смотрит на человека, а там исподтишка кинется и вцепится в ногу, укусит...

А хитрец Куса ничего не видит из-под своих мохнатых бровей. Кто его знает, почему у него волосы растут не на подбород-

ке, а на глупом его лбу, мешают ему видеть змею. Еще не хватает, чтобы он распустил свой колючий язык.

Так и есть.

С невинным видом Куса вежливенько обратился к мрачно кривившему рот ишану:

— Почтенный, разрешите осведомиться.

— Говори!— буркнул ишан.

— Не откажется ли ваша уважаемость сообщить мне, недостойному Кусе, одно ничтожное обстоятельство?

— Говори!— подергивание губ свидетельствовало, что ишан начинает вскипать.

Но Куса ничего не замечал и спросил:

— А какого сорта вы соблаговолили приказать купить рис?

— Какой рис?

Голос ишана даже как-то скрипнул неправдоподобно.

— Который вы приказали приобрести вашим мюридам, тем самым, что прибыли с вашим мудрейством?

— Не болтай... Ничего я не поручал... никакого риса...

И вдруг он раскрыл рот и замолк, какая-то не совсем осознанная догадка мелькнула в его голове. Он смотрел дико на Кусу.

Куса благодушно улыбался.

— Ты скажешь, наконец, в чем дело, паршивец?

— Я не паршивец, это больные коростой паршивые. А говорю я вот к чему о рисе. Значит, ваши мюриды не за рисом пошли, а фьюить!

Он выразительно свистнул.

Ишан вскочил:

— В чем дело?

Спокойствие Кусы было поистине величественным. Он не шевельнулся и сказал:

— Ваши мюриды сбежали. Они сказали: «Пусть господин ишан со своим другом мерзнет здесь и ищет могилу в снежных сугробах, а у нас свои очаги есть, свои жены есть...» Эх, эх, ваше разумничество! Разве можно в наше, советское время, даже если вы священная персона, заставлять людей ночевать в конюшне, заставлять людей пищу принимать в конюшне? Когда у хозяина собака, и то он заботится о собаке...

Действительно мюриды ишана — имам и каракалпак — жили все время в конюшне. Мерген в первый же день позвал их в михманхану, но они не пошли.

Пока Куса произносил свою длинную тираду, Хамидходжа стоял и раскачивался. Он походил на кота, который вот-вот кинется на несчастного воробышка. Но роль воробья, по-видимому, вполне устраивала Кусу. Он оскалил свои выщербленные зубы. И не понять его было: испугался ли он своей дерзости или собирается еще сильнее куснуть толстого благообразного кота.

Вдруг ишан поперхнулся и с необычной для своего грузного тела живостью выбежал из михманханы.

На недоуменный взгляд Мергена Куса кивнул важно головой и сказал:

— Каракалпак сказал: «Хоть собака разжирела, из нее бешбармака не сделаешь». Это про ишана. Он сказал, что три дня хлеба от своих хозяев не видел. Если бы я их не кормил, они бы с голоду распухли.

Он посмотрел озорно на Молчальника. Но тот и виду не показал, что слышит.

Он сидел, приопустив веки, и уголки его рта опустились в безгливой гримасе. Всем своим видом он говорил: «Как все мне надоело, как отвратителен холод, эта сумрачная михманхана, эта пища с запахом дыма, эта сырость!» Он медленно шевелил пальцами своих рук, бессильно лежащих на коленях. Мерген словно в первый раз увидел их, эти белые, какие-то неживые, скользкие пальцы с наманикюренными ногтями, и почему-то подумал, что такие пальцы бывают у нехорошего человека. Такие пальцы, наверное, у убийцы или палача. Им нужны такие пальцы, чтобы делать свои мерзкие дела.

Вполне простиительно, что в Мергене холеные пальцы Молчаливого вызвали странные чувства. Тревога Мергена росла. Он сохранял спокойствие, но все внутри его металось.

Он никак не мог решить, что же делать. До решения было ужасно далеко. Он не мог собраться мыслями. Они мчались в мозгу обрывками. Ключья мыслей вертелись, крутились, путались.

Тысяча вопросов! Как поступил бы Зуфар? Где сейчас Зуфар? Было два немца? А может быть, их десяток? Или сто? Или они еще не прилетели? Сейчас «брат» ишана и Молчальника? Или выждать? Чтобы не спугнуть? Кого? Тех, кто бродит в камышах и ждет. Наверняка бродят, наверняка ждут. Запах дыма, кизячного дыма Мерген чувствовал даже сквозь буран. Он даже знал, что запах идет из камышовой охотничьей хижины. Возможно, что там Зуфар. Но почему он не подает условленных выстрелов. Или он там не один? Но с кем? И не случилось ли с ним плохого? Зуфар говорил: «Надо брать живыми». Сейчас удобнее брать. Их двое. Правда, Кусу брат в расчет трудно: слабенький, хиленький, и все семьдесят лет, душа вся в желчном пузыре. А ишан здоровый бык. Да и Молчаливый раскормлен на иностранных хлебах. Определенно иностранец. Турок, наверное. И оружие у них. Зуфар говорил об отряде. С минуты на минуту придет подмога из Хивы и Ташауза. Хорошо, что буран. Без бурана и подмога не помогла бы... Что же делать?

Он посмотрел на Кусу.

Куса смотрел выжидательно на него.

Как сказать Кусе вслух про Зуфара, про камышовую хижину. Про то, что камышовая хижина в четырехстах шагах... Молчаливый делает вид, что дремлет. По медленно шевелящимся пальцам видно, что не дремлет, прислушивается.

Надо что-то сказать, пока не вернулся ишан.

Мерген решил.

— У нас мясо кончилось,— проговорил он небрежно.

— Да? — Глаза Кусы смотрели напряженно, внимательно. Куса хотел понять, с чего Мерген заговорил о мясе.

— Буран не остановится два дня.

— Да?

— Варить завтра в котле нечего.

Проклятый Молчаливый хоть бы бровью пошевелил.

— Без мяса... Плохо, совсем плохо.

Как внимательно смотрит Куса. Сколько хитрости и ума в его глазах. Нет, он понял, к чему разговор о мясе.

— Да, да!

— Есть баран... Целый баран, освежеванный, присоленный, вяленный на солнце. Жирный баран, с целым курдюком жира.

Проклятый Молчаливый. Его не проймешь и целым быком.

— Да,— сказал Куса, и кадык его заходил ходуном. Куса любил жареную баранину и «думба кебаб». Очень любил потому, что ему редко приходилось их есть. А сукин сын Молчаливый, видать, каждодневно жрет мясо.

— Туша висит на балахане, чтобы дикие коты и шакалы не добрались.

— Да?

— Лестница лежит за стеной, что выходит к камышам. Хороша лесенка. Сам сколачивал.

— Да!

— Ключ вот.

Мерген вынул из бельбага кошелек и из него достал ключ от винтового замка.

— Винтовой замок,— продолжал он,— висит на дверке. Дверка заперта от диких котов.

— Да.

Мерген проследил тревожный взгляд Кусы. По двору сквозь снег шел Хамидходжа.

Молчаливый приоткрыл свои черные глаза и с несвойственной ему живостью смотрел на ключ.

Быстро Мерген проговорил:

— До балаханы близко. Четыре сотни шагов.

— Видел. Знаю,— сказал Куса поспешно.

Тон его заставил беспокоиться Молчаливого. Он взглянул на вошедшего Хамидходжу.

Щеки Хамидходжи тряслись телячьим студнем. Ишан строился. Худшие предположения подтвердились, Мюриды

его — имам и каракалпак — удрали. Несмотря на буран, бездорожье, отсутствие хлеба, пищи, убежали. Пошли пешком за шестьдесят километров... Не испугались ни бога, ни ангелов, ни проклятий.

Злость душила ишана.

— О чем сговариваетесь? — угрожающе сказал он. — Чего тут еще?

Не дожидаясь, что скажет Молчаливый, Мерген объяснил:

— Завтра котел пуст.

— Ну, — проскрипел ишан, — у меня... у нас в хурджунах лепешки, сахар, рис...

— Есть мясо... целый баран. Близо. Вот он сходит...

Он кивнул на Кусу. Лицо безбородого приняло такое невинное выражение, что лишь наивный глупец мог поверить, что тут дело не чисто.

— Откуда баран? — удивился Хамидходжа.

— От мясного налога спрятал. Зарезал, посолил и спрятал, — вдохновенно лгал Мерген. Куса чересчур усердно кивал головой.

Ссылка на мясоналог оказалась чудодейственной.

— Хорошо, — решил ишан, — барана надо принести. Кто пойдет за бараном?

— Он, — сказал Мерген и снова кивнул в сторону Кусы.

— Разве он донесет целого барана?

Нет, определенно ишан умен. Конечно, хилый, тощий Куса не выдержит барана. Надорвется. Непредвиденное осложнение.

— Тогда я пойду тоже. Помогу.

Лицо ишана покривилось. Он саркастически рассмеялся.

— Чепуха. Вместе с трехсотлетним Кусой пойдет вот он.

Удивленно Молчаливый приподнял бровь.

Ишан повторил:

— Конечно, вы пойдете, эффенди!

«Ага, я так и предполагал, что этот господин турок, — подумал Куса. — Отдал бы я этого барана, о котором наговорил друг Мерген, чтобы узнать, откуда он приехал: из Трабезона, Измира или еще откуда-нибудь».

Надо сказать, что Трабезон и Измир поминались в книжечке внука, содержавшей две или три сказки из «1001 ночи». И вопрос его Молчаливому о розах Трабезона и Измира не имел особого смысла.

Долго Каракумишан убеждал Молчаливого. Тем временем совсем стемнело и сам Мерген понимал, что посылать друга в ночь, в буран невозможно. Он очень жалел, что не придумал барана раньше.

Наконец Каракумишан и эффенди договорились идти за мясом, едва буран умерит силу.

Ночью Мергену не удалось больше ничего сказать Кусе. Ишан не сомкнул глаз. Вскоре после полуночи он разбудил тишину михманханы ликующим возгласом:

— Буран кончился!

Уже давно Мерген заметил, что ветер стих и голубоватое сияние медленно вползает в комнату. Но он не спешил. Он все еще надеялся, что или ему, или Кусе удастся незаметно уйти. Куса тоже не спал, хотя храпу его мог позавидовать и верблюд. Возглас ишана заставил Кусу пробормотать: «Избави меня от копыта блохи!»

Куса и эффенди вышли. Мерген и ишан остались в михманхане вдвоем.

Глава XI

Не полагайтесь на осторожность.
Она не прогонит от вас смерть.

Ибн Наубат

Проснулся Зуфар оттого, что в хижине стало холодно. Очаг погас. Свет едва брезжил в проем двери. Весь мир сотрясался от бурана. Конь все еще стоял у порога. Морда его обросла снегом и сосульками.

Сначала Зуфар подумал, что он остался в хижине один. Неужели проспал? Ну и кричали же они! Чем больше раздражишь собаку, тем больше она лает. Изрядно же Бахрам и Тюлеген полаяли друг на друга.

Тюлеген Поэт! Как долго он не мог вспомнить ночью, чей это голос.

Тюлеген Поэт! Пропавший тогда в Курдистане после гибели Юсуфа Зютели. Позже объявившийся в подворье господина Кербелай. Встречавшийся и не раз в Мешхеде.

Значит, Тюлеген и есть сын шейха Али — полковника и министра.

Но куда он делся? Зуфар вскочил и встретился взглядом с глазами Бахрама.

Он сидел у очага, раскачиваясь взад-вперед и издавая нечленораздельные возгласы:

— Хух-хм! Хух-хм!..

Ветхая рубаха его была распахнута до самой поясницы, ху-дое, почти черное тело обнажено. Но Бахрам не чувствовал холода... Он раздирал руками прореху, еще больше оголяя грудь, и восклицал:

— Хух-хм! Хух-хм!.. Ты видел, значит, его? Ты слышал разговор? Почему молчал?

Невольно Зуфар испытал чувство тревоги: где же Тюлеген? Никак он исчез!

— Где он? — спросил Зуфар. — Куда он девался?

Бахрам поднял голову и равнодушно заметил:

— Вы беспокоитесь об исчадии греха Тюлегене?.. Хо-хо-хо... Тюлеген? Ему надоел наш дворец, и он покинул нас... Хо-хо-хо.

— А лошадь? Лошадь же здесь?

— Ага! Лошадь... Эй, Зуфар, ты думаешь: «Бахрам убил говоруна и придушил, зарезал говоруна... болтуна. Мошну грехов». Ну что же, и убил бы какого-то червяка. А тебе что? Ну-ну, успокойся, ничего не случилось.

— Где он?

— Вышел по утренней нужде. Эх, да разве для него нож нужен или пуля? Такому, как он, неосторожного шага опасаться больше надо, нежели ножа... Зажирел, задыхается, сопит...

Глаза его, беспокойные, горящие, говорили совсем другое. Как он ненавидел Тюлегена! С такими глазами не шутят.

Зуфар забеспокоился. Он вышел и умылся снегом. Посмотрел по сторонам. Буран не прекращался, ветер гнал острые злые снежинки.

Конь простоял всю ночь на морозном ветру, под снегом, и хоть бы что. Конь с аппетитом хрустел сухим сеном. Около него набросали целую копну высушенной куги. Валялась в снегу пустая торба. Конь получил полагающуюся порцию зерна. Тюлеген — заботливый. Он знает, в пустыне без коня плохо придется. Пропадет.

Следы забот хозяйских налицо. А где сам хозяин? Следов самого Тюлегена нигде не было. Если они и были, их занесла поземка. Значит, Тюлеген задал корм коню, а сам ушел. Часа полтора назад ушел. Иначе бы не занесло следы.

За хижинкой, шагах в двухстах, темной полосой тянулись камыши. Перед хижинкой, где в буране высятся развалины Змушкыра — вчера они серели рогатой массой, — сегодня снег идет очень густо. Развалины даже не угадываются. Налево где-то далеко дорога на Ильялы, пустынная дорога. Ни чайханы, ни караван-сарая. Направо никаких дорог нет. Озера, болота, камыши.

Куда же девался Тюлеген с его крикливым голосом, высокомерным приказывающим тоном и громоздкой шубой?

Шуба нашлась. Едва Зуфар вернулся в хижину, он увидел шубу. Она лежала у самого очага на том месте, где ночью восседал ее высокомерный хозяин.

Недоуменный взгляд Зуфара заставил Бахрама встрепетаться. Он сидел с почерневшим лицом, с трясущимися руками. С утра он, очевидно, наглогался анаши, и апатия у него временами сменялась крайним возбуждением.

— Ну и что? Шуба осталась. А кувшина с грехами нет. Чего тебе от меня надо? Что, я сторожить приставлен к нему?

Всякий шейх молится за себя. Чего тебе от меня нужно?.. Давай чай пить.

По привычке он воздевал руки к камышовому закопченному до блеска потолку и хрипел:

— Ничего не знаю. Ушел, проклятый, ушел, проповедник греха. Давай чай пить. Работа есть.

— Куда он в буран мог пойти? Пешком. Тут на тридцать километров и живой души нет.

— Всякий шейх за себя молится. Тебе какое дело. Пей. Работать пойдем.

С тревогой Зуфар обнаружил, что его ружье исчезло. Не оказалось и ружья Тюлегена.

Зуфар не испугался, но неприятно поразился. Выходит, баламут не доверяет и ему, Зуфари.

Поразмыслив, он успокоился. Вполне правдоподобно, что Бахрам еще не решил, с кем в лице Зуфара он имеет дело. На прямую ведь они еще не поговорили. Придется потерпеть. Дружба со змеей — игра с жизнью. Тем больше оснований не расспрашивать о Тюлегене.

Больше всего тревожился Зуфар, что не может дать знать друзьям, где он. Но сейчас это было и не так уж важно. Почему-то появилась уверенность, что они уже знают, где он. Мерген отличался сверхъестественным нюхом. Он и на расстоянии десятка километров узнавал по запаху дыма, чей аул — туркменский или каракалпакский, кто готовит пищу, какую пищу. Ветер дует в сторону Змушкыра. Значит, Мерген давно уже знает, что в хижине кто-то есть. О том, что существует хижина, Мергену известно с детских лет. Он не уверен, кто именно в хижине, и, наверное, потому не приближается к ней, выжидает.

Перед тем, как пойти в разные стороны, Зуфар и Мерген все обговорили. Им казалось, что на озерах нет ни души. По крайней мере, никого из местных людей зимой не должно быть. Разве какой-нибудь дезертир в камышах прячется.

А теперь Зуфар знает, что кого-то ждут. Кого, понятно. А также знает, кто ждет. Бахрам!

Вполне естественно, Мерген тревожится за Зуфара. Но чего, собственно, беспокоиться. Когда они пустились в путь, каждый взял с собой все необходимое. Мерген знает, что Зуфар — человек пустыни. Пустыня — Зуфари родной дом. Нет, Мерген знает, что поблизости чекисты в боевой готовности.

Он невольно посмотрел на дверь, за которой бушевал буран, и у него возникло вдруг чувство, что Мерген наблюдает за хижинкой с высоты башен Змушкыра, следит. Нелепость явная. Не может Мерген видеть ничего сквозь белую стену бурана.

— Чего смотришь? — встрепенулс Бахрам. — Кого ждешь?

— Смотрю, не идет ли ваш друг, — ответил Зуфар. — А то чай остынет.

— Чай! Какой чай!— удивился Бахрам. И сразу же спохватился.— А! Чай! Ему не нужен чай... твой чай.

Что-то в голосе баламута Бахрама очень не понравилось Зуфару. Зуфар быстро встал и пошел к двери.

— Стой!— окликнул Бахрам. Зуфар обернулся.

— Ну?

Глаза баламута метались.

— Нечего кричать,— стараясь быть спокойным, сказал Зуфар,— вы сами говорили про работу. Чего надо делать? Пошли.

Он спокойно переступил порог и с наслаждением вдохнул свежего, пахнувшего снегом и ветром воздуха. Хорошо! В хижине колом стоит затхлость от дыма и анаши. Тошно.

Он потянулся всем телом и закричал во весь голос:

— Хо-ро-шо!

— Что вы кричите?— прохрипел рядом Бахрам.— Услышат.

— Кто услышит? Ваш ночной друг услышит? Хо-хо-хо!

Зуфар закричал просто так, от полноты чувств. Сейчас баламут Бахрам ему подсказал добрую мысль. Если нельзя выстрелом из двустволки дать о себе знать, пусть Мерген хоть голос его услышит.

— Не кричите,— пробормотал Бахрам.— Скопище греха не услышит. Пойдем.

Работа на холоде спорилась. Они быстро расчистили из-под снега большую кучу хвороста, сваленную около хижины. Зуфар разогрелся и запел. Бахрам разозлился:

— Зачем поете? Не надо петь!

— Что вы нервничаете? Однако мне есть хочется. Пойдем обед готовить. Только теперь сготовлю я.

Но Бахрам потащил Зуфара в сторону от хижины. Примерно метрах в ста пятидесяти, под сугробом, оказался еще хворост и валежник. Едва Зуфар расчистил от снега и эту грудку, пришлось идти к следующей. И для непосвященного все стало бы ясно. Бахрам или кто-то другой приготовил топливо для пяти громадных костров. Если их зажечь, огонь можно будет видеть с большой высоты. Площадка с кострами выбрана очень удобно: со стороны далекого оазиса прикрыта относительно высоким холмом древнего замка Змушкыра, а с юга и с севера — высокой стеной прошлогоднего камыша.

Когда они разгребали последний костер, Зуфар заметил:

— А разжигать — много времени уйдет. Не в вашем возрасте бегать.

И он с сочувствием посмотрел на дышавшего астматически Бахрама.

— Джигитов обещал, пес,— совсем задохнувшись, проговорил он с трудом.— Сам вместилище всех грехов приехал, а

джигитов нет... Хорошо, теперь конь есть. Можно на коне. Да еще ты есть...

Бахрам вытер снег с лица рукавом ватного халата и посмотрел в сторону хижины, почти скрытой пеленой снега, добавил:

— Плохо вот... Снег все идет.

А снег шел и шел. Весь день они почти безвыходно просидели в хижине. Готовили пищу. Зуфар долго вертел в руках синюю, неприглядного вида вяленую пересохшую баранью ляжку. Кто ее знает, откуда она взялась в хижине, кто ее подвесил к потолку? Зуфар растопил снег и долго мыл мясо. Потом тщательно кипятил.

Брезгливость Зуфара забавляла Бахрама. Пьяным, запинаясь голосом он поучал:

— Избалованный. Тебя Турция избаловала.

Знает, что Зуфар был в Турции. Верит, значит, в него. Что ж, это хорошо. Это избавило Зуфара от необходимости вступать в объяснения. Именно их он боялся больше всего. Многого он не знал. Тогда, в Мешхеде, Сефиет собиралась с ним встретиться, объяснить ему. Он и раньше знал, что турчанка рассчитывала сама попасть вместе с Зуфаром в Среднюю Азию. Но Зуфара поторопили тогда исчезнуть.

Много знала Хуршид, но тоже не все. Сколько мог, Кузьмич Зуфара проинструктировал, но и он, по-видимому, не знал про Бахрама-бригадира, не представлял, что сюда, в Хорезм, поедет такой зубр, как Тюлеген, сын самого Пира Шейха Али. Очевидно, предстоит что-то очень серьезное, если он прислал сына. Жирный, изнеженный, любящий удобства Тюлеген пробрался через границу у пустыню неспроста. Плов поспел. Нельзя опаздывать к дастархану.

Нетерпение завладело Зуфаром. Жаль, что он сам оборвал нити, связывающие его с Сефиет. Жаль, что он не дождался появления в Исфагане липкого, меланхолического ее Муслима Турсунбаева. Наверное, его бы не переправили через границу с ним. Сефиет так усердно готовила с помощью Зуфара из ослабленного, истертого потомка Фулатбека советского военнослужащего! Не напрасно ли Зуфар испугался, что, как только ученик постигнет опыт и советы учителя, учитель будет не нужен и его просто «уберут». Вряд ли она пошла бы на такое. Последнее время она убеждала себя, что Зуфар наконец поумнел. Но кто знает Сефиет?

А что, если Муслим Турсунбаев появится здесь, на озерах? Что он скажет фанатику Бахраму? Как поведет себя тогда Бахрам?

Но было слишком невероятно, чтобы Муслим Турсунбаев сумел пробраться в Узбекистан.

А не спросить ли у Бахрама про Муслима? Нет, нельзя. Еще вспугнешь.

Снег все шел. Время тянулось бесконечно.

Они пообедали. В хижине нашелся и рис и маш, и Зуфар приготовил из баранины очень недурную «машкуচারы». Он не позволил подсыпать в кашу анаши, на чем настаивал Бахрам, и устроился поудобнее у очага, поддерживая огонь. Бахрам уткнулся носом в шубу и что-то монотонно бормотал.

Время текло медленно. Так ползет медленно, тягуче дым в дымовое отверстие в потолке лачуги. Они совсем не разговаривали. Бахрам блуждал в своих бредовых видениях. Зуфар дремал.

Снова стемнело. Буран тянул на одной ноте монотонный, хватающий за душу мотив.

Ни днем ни вечером ничего не произошло. Снег все шел. Тюлеген не возвращался...

Была глухая ночь, когда Зуфар проснулся. Что-то гулко шлепнулось на пол.

В темноте, загораживая огонь очага, над Зуфаром стоял Бахрам. Он кутался в кошму и хрипел. Поблескивали белки его глаз, они светились в темноте. Этого еще не хватало. Но тут же сделалось ясно, что из провала двери в хижину льется свет луны. Метель прекратилась.

На лице Бахрама шевелились зеленые тени, и потому взгляд его был взглядом полоумного. В руке он держал что-то, похожее на нож.

Зуфар проговорил:

— Кажется, снег кончился. Луна возшла.

И зевнул.

Зуфар весь напрягся, готовый вскочить, и следил за движениями Бахрама.

А Бахрам стоял недвижно, чуть покачиваясь. Из груди его вырывались придавленные звуки. Пьяный от анаши, он по-прежнему с трудом ворочал языком. Зуфар разобрал слова:

— Ты не предатель?.. Нет... Не предатель... Ты слова знаешь «Змушкыр, волк, вода, огонь»... Все знаешь...

— Конечно... — потянул еще спокойнее Зуфар. — Что вы не спите? Накинули бы шубу... Простудитесь.

— Шубу?.. А, шубу... Простужусь... холодно.

И вдруг он закричал:

— А-а-а! Свет! А-а-а! Луна! Летят! Летят!

Всем своим огромным телом он повернулся к дверям и прислушался.

— Летят... Ле-тят...

Голос его упал. Он опустил голову на грудь и забормотал быстро-быстро... Теперь стало видно, что в руке у него не нож, а просто деревянный сук. Глянцевая кора его отсвечивала в луче луны, и Зуфар напугался спросонья.

Никто не летел. В степи, в небесах стояла тишина. Так тихо

бывает после долгого бурана. В проеме открытой двери снег искрился и переливался тысячами алмазиков. Небо вызвездилось. Черный массив Змушкыра приблизился, надвинулся. Лунный свет выхватывал из ночи валы и башни. Зуфар вздрогнул. Крайняя башня смотрела красным глазом на мир. Огонек горел ровно, не мигая. В развалинах горел фонарь.

Зуфар перешагнул порог и окунулся в морозную синь ночи. Как ему хотелось подать знак Мергену! Это, конечно, Мерген зажжет фонарь. Неосторожный, простодушный Мерген. Он так хочет помочь Зуфару.

Зуфар надеялся увидеть огоньки Ильялы, почувствовать, что люди близко, что он не одинок. Но не далекие огоньки селения он увидел, а большой багровый огонь костра совсем недалеко, в каком-нибудь километре. Невольно поглядел Зуфар на запад. Там, в том месте, где черное небо обрывалось белой плоскостью степи, светились рядом два огонька.

Кто говорит, что пустыня безлюдна, что пустыня пустынна? Удивительно! Ночь пустыни была полна людей.

Глава XII

Трус бежит, бросив даже свою собственную голову. Храбрец защищает даже чужие головы.

Усама ибн Мункыз

Ожидание обещанной встречи пожало мое терпение, ибо терпение сердца твоего — вата, а ожидание — огонь.

Адиб Сабир

— Когда нужно, можно и за волка заступиться... — Только это и успел сказать, запыхавшись, Мерген Зуфару, когда они внезапно столкнулись в зарослях.

Зуфар ошеломленно смотрел на сопевшего, как загнанный вол, утиравшего с лица обильный пот Хамидходжу. Вот так встреча! Дул резкий северный ветер. Морозило. А толстый неуклюжий ишан усиленно потел. Мгновение он стоял и пялил глаза на Зуфара и тут же кинулся вперед и побежал. Он бежал во всю прыть, забавно перебирая толстыми, короткими ножками в изящных лаковых сапожках с отворотами, не обращая внимания на ветви, хлеставшие его по лицу. Хамидходжа ломился сквозь переплетшиеся стебли пожухлого камыша словно грузный двадцатипудовый кабан-секач. Он громко пыхтел, охал, сопел.

А Мерген кричал ему вдогонку:

— Тише, ты! Тише! Гром барабана хорош издали. Все тугай распугаешь.

Зуфар ничего не понимал. У ишана в руках был автомат, немецкий автомат.

Ишан Хамидходжа никак не относился к друзьям. Зуфар бежал рядом с Мергеном и спрашивал:

— В чем дело? Почему Хамидходжа?

И также, задыхаясь от бега, Мерген тихо хрипел:

— Миг — дороже сокровищ. Скорей! Он убежит!

Измученные, взмокшие, они добрались до большой прогалины и сразу же замерли на месте, подняв оружие, готовые стрелять. Перед ними в крошечном битом льда, мокрого снега в мелководье болотного озера барахтались, вопя и ругаясь, два измазанных до неузнаваемости илом человека.

— Попался, Опиум! Не уйдешь! — вопил писклявым, сиплым голоском Куса.

— О долготерпение! Я промок! Пусти! Я простужусь, — ныл Хамидходжа.

— Я тебя совсем утоплю!

— Помогите! Задыхаюсь! Замерзаю!

Пришлось пустить в ход приклады, чтобы разнять яростно сцепившихся драчунов. Извивавшиеся в мерзлой грязи, они с трудом выбрались на берег и насакивали общипанными петухами друг на друга.

— Поймал! Контру поймал! — взвизгивал Куса. Волосики на бороде обвисли. Шапка, мокрая, в ледышках, налезла на глаза.

— Мокрый я! Пропал я! Воспаление легких схватить недолго, — хныкал толстый, с посиневшими от холода щеками Хамидходжа.

— Хвачу тебя по загривку! В землю воткну! — пищал Куса. — Попался, Гитлер.

— Скорее в дом! Скорее к печке! Я непривычный к холоду, — стонал ишан.

Он был жалок и несчастен. Он действительно промок насквозь, и его била дрожь.

— И подохни! — хрипел Куса. — Нет, ты моя добыча! Я тебя поймал. Я отведу тебя в НКВД и там тебя... кх-кх... расстреляют.

Мерген встал между ними и решительно сказал:

— Перестаньте! Молчите! Где он?

— Кто! — в один голос воскликнули Хамидходжа и Куса.

— Куда пошел Турсунбаев? В какую сторону?

— Скорее, — торопил Зуфар.

— Куда он пошел, о всевышний?! — стонал, отбивая дрожь зубами, Хамидходжа. — Это безбородый упустил его. Я пропаду теперь, пока мы будем искать их.

Толстяк думал только о том, чтобы не простудиться.

— Не все ли равно: простуженным ты отправишься в преисподнюю или здоровым быком, — хихикнул Куса.

— Помолчите,— остановил его Мерген. Он всматривался в камыши и заросли. Прислушивался.— Он не мог далеко уйти. Он здесь.

— Он побежал на север,— сказал Зуфар.— Увидел меня и бросился в заросли. Бахрам за ним. Они ищут немцев, своих друзей. Все равно теперь не уйдет: наши прочесывают камыши.

— Так,— сказал Мерген,— значит, и Бахрам с ним.

Отобрав автомат у Хамидходжи, Зуфар отдал двустволку Кусе.

— Вам у нас в Советском Союзе оружие, Хамидходжа, теперь ни к чему. Не знаю, что с вами делать.

— Я замерзаю...— чуть не плача, бормотал ишан.— Ну, как вам, товарищ капитан, объяснить... я не этот... я вроде. Не могу объяснить. Чья-то тень... Мне нельзя объяснять... Но я свой... я ваш... Потом вы узнаете. Но я не привык... купаться в такое время. Я простужусь. Разрешите мне развести костер.

— Нет! Где немцы? Где они высадились? Хоть вы и тень, здоровая, кстати, тень, вы должны знать, где они.

Смутная догадка мелькнула в голове Зуфара. «Вот что значили откровенности Хамидходжи в Исфагане и Мешхеде».

— Он нам помогает, оказывается,— быстро сказал Мерген.

— Они промахнулись... в-в-в... замерзаю... Не тот квадрат. Им надо встретиться со мной. Я и Бахрам должны были их отвести к себе на мазар и ну... Чтобы они подготовились и связались с кем надо... в-в... А уж потом... мышеловка бы захлопнулась... Ай-ай... Кто знал? Они наткнулись на каких-то вооруженных. Неожиданно.

Коротко Мерген объяснил, что произошло у развалин Эмушкыра.

— А остальные?— спросил Зуфар.

— Пошли севернее,— проговорил, лязгая зубами, Хамидходжа.— Они заблудились в буране. Где-то в той стороне. Вчера вечером там стреляли. Не понятно. Или там тоже наши?

— Кто? Наши?!— воскликнул Зуфар. Слишком долго и слишком хорошо он знал Хамидходжу и с трудом мог представить его в ином облике. Он все еще не мог поверить, но...

— Из органов. Все надо было... без шума, чтобы не спугнуть... других, следующих.

— Ясно? Предположим!— воскликнул Зуфар.— А Бахрам? А Муслим Турсунбаев?

— Вот их надо обезвредить. Немедленно... Сейчас.

Хоть Хамидходжа совсем окоченел и говорил, едва ворочая языком, но в тоне его звучали совсем несвойственные, жесткие нотки.

— Побежали,— приказал Зуфар.— Согрейтесь. Пока двигаетесь, ничего с вами не будет.

Конечно, они не бежали, а шли. Они выбились из сил. Но

идти через буераки, колючий кустарник, густые рощи колючего лоха, покрытые тонким льдом озерки было тяжким, непосильным трудом. Изнеженному, привыкшему к мягким одеялам и удобным креслам Хамидходже путь через камыши стоил усилий. Зато Кусе все было нипочем. Он бежал рысдой. Тысячи раз на своем горемычном веку он промокал до костей и замерзал на ветру. Но оба — и изнеженный ишан, и замученный «перекаати-поле» Куса — от быстрой ходьбы прогрелись. Пар от них валил.

До позднего вечера Зуфар со спутниками колесил по степи, озерам, тугаям, замерзшим болотам — и ни души.

Попадались им следы на снегу, но звериные. Стаи ворон пролетали над их головой с угрожающим карканьем. Выл где-то волк. Но Бахрам с Турсунбаевым точно как сквозь землю провалились.

Время шло. Малиновое, веселое солнце скатывалось к темным полосам камыша, а они искали... искали иголку в стог сена. И вконец замучились. Хамидходжа сопел так, что, — хихикал Куса, — и в Ургенче слышно. У Зуфара нестерпимо болела ступня. Но они шли и шли, распадками, зарослями, смерзшимися кочками, по тонкому, ломающемуся льду. Шли, шли, едва передвигая ноги, напряженно вглядываясь вдаль.

В сумерки их окликнули. Совсем надтреснувшийся мальчишеский голос из камыша крикнул:

— Стой! Стреляю! Руки вверх!

Руки вверх они не подымали, а свалились кулями за глиняный бугор и защелкали затворами.

Спустя минуту великий путешественник Петька после долгих переговоров согласился признать в них друзей.

Так капитан Зуфар встретился с Ольгой Паратовой. Неожиданно, удивительно. Конечно, Зуфар знал, что она работает где-то неподалеку. И он мог уже не раз за месяц, что вернулся в Хазарасп, найти ее, поехав в пустыню, но он не считал себя вправе и просто боялся.

И вот случай привел их друг к другу.

Он стоял, опустив голову. И какие-то мгновения понадобились Ольге, чтобы понять... Многое понять.

Вспыхнувшее было румянцем лицо побледнело, поблекло. Сжатые губы говорили о том, как потухла радость...

Около них вертелся Петька. Он умоляюще поглядывал на Ольгу и Зуфара. Вообще Петька проявлял бездну нетерпения и взволнованности.

— Сейчас, — сказала, чуть задохнувшись, Ольга, — сейчас я расскажу товарищу капитану. Все расскажу.

Она позвала Реджеба Мурада и Павла Павловича.

— Сейчас мы вам все покажем, — сказала она, и губы у нее запыгали. — Ужасно!

И было непонятно, переживания ли этих дней сказались на нервах или то, что она сразу, мгновенно увидела перемену в Зуфаре.

Вся геологическая партия во время бурана была на чеку. Дежурили по очереди. Вконец измучились. Фашисты все-таки наткнулись на хижину старого калтамана Овеза Гельды. Им ничего не стоило, по мнению старого военного Павла Павловича, с таким прекрасным современным вооружением перестрелять геологов, как куропаток. Но получилось иначе. Встреченные «огнем» охотничьего ружья и старенького нагана, парашютисты, отстреливаясь, поспешно ушли в камышовые болота. Возможно, безумием было их преследовать, но Ольга сделала это, когда прекратился буран. И сейчас...

— Сейчас мы пойдем и я тебе... вам покажу.— И у Ольги опять запрыгали губы.— Так страшно. Они враги, но так страшно...

Страшное зрелище они увидели.

Немцы замерзли ночью... Они попали во время бурана на хрупкий лед, прикрывавший опасную трясину. Обезумев от страха в темноте и вьюге, они метались среди камышей, проваливались в топь и водяные ямы. Не сумев выбраться, они так и остались здесь, в кабаньем болоте. Трупы вмерзли в лед.

— Извините меня,— говорила Ольга,— я не пойду смотреть на них. Я совсем не храбрая женщина. Вот уж сами.

Зуфар ограничился самым поверхностным осмотром. Он не столько думал о замерзших врагах, сколько об Ольге: «Она поняла... и я... я... Кто такой я в ее глазах». Он смотрел на убитых, надеясь найти среди мертвецов кое-кого из своих знакомцев.

Немцы действовали нагло и самоуверенно. Судя по знакам различия, здесь были офицеры. Готовилась очень серьезная операция. Иначе зачем было бы забрасывать в хорезмийские болота, например, полковника?

Невольно Зуфар вспомнил соляную пустыню Дэшт-и-Кевир, машины «Рено Сахара» и... полковника Крейзе, властного, грубого, страшного. Зуфар долго стоял, вглядываясь в лицо замерзшего, долго искал черты, хоть чем-либо напоминающие опасного врага, ушедшего тогда в пески, в барханы, в знойно-душную ночь пустыни. Тогда Крейзе выжил, сумел победить пустыню. Кузьмич видел Крейзе в Мешхеде. Не лежит ли он вот здесь, в ледяной могиле? Или бродит невидимкой по Востоку, трудясь на пользу Великой Германии? Нет, лица были неузнаваемы. Шакалы и лисы пустыни изуродовали их своими острыми зубами.

Документов на трупах обнаружить не удалось. Впрочем, этим занимался не Зуфар. Через каких-нибудь полчаса прибыли вооруженные части... Тем и исчерпывались по существу события драматических дней. По ряду соображений никаких сообщений

в газетах не публиковалось. По официальной же версии: дезертиры и люди, уклонявшиеся от мобилизации, скрывались в камышах близ развалин крепости Змушкыр. Они сделали попытку напасть на геологическую партию Паратовой. Получив отпор, дезертиры бежали в камыши и погибли. В своих действиях гражданка Ольга Паратова, Реджеб Мурад и другие работники геологической партии проявили бдительность и мужество.

Там, где нужно, операция, проведенная под командой капитана Зуфара, получила соответствующую высокую оценку. Его верные помощники Мерген и Куса—тоже, хотя до поры до времени их просили ничего не рассказывать о своих подвигах. Хамидходжа — змушкырский отшельник — вообще сразу же исчез. Последний раз его видели в хазараспской поликлинике, где он усиленно лечился от гриппа. Поклонники ишана очень неодобрительно отнеслись к болезни духовного лица, славившегося своими чудесными исцелениями многих тяжелобольных и немощных.

Исчезла и приезжавшая в Хорезм по британскому паспорту турчанка леди Болд. В Хиве она остановилась в гостинице. За ней пришел ее знакомый, как она сказала. Она ушла и не вернулась. Вскоре в камышовых зарослях близ Змушкыра пастух наткнулся на человеческий костяк. Не без волнения поехал туда Зуфар. По клочьям одежды он признал бранные останки Тюлегена Поэта, сына Шейха Али, полковника царской армии, министра Трабезонского правительства.

Глава XIII

Слезоточивый ветер пустыни сковал в жилах кровь. Лед крышкой захлопнул водоем. Река превратилась в железо.

Самарканди

Простое кладбище на плоском холме. Желтой глины холмики могил. Ядовито-зеленые кустики обыкновенной верблюжьей колючки.

«На кладбище закопана тайна». Наверное, поэты степей хотели сказать, что любая жизнь есть тайна. Но когда полтора года назад Зуфар стоял у единственного дерева кладбища — иссохшего, не дающего тени многовекового священного саура, — он тоже думал, что под двумя свеженасыпанными простыми холмиками из желтой глины похоронена тайна. Какая? Он не знал. Он чувствовал.

Чувствительность не свойственна Зуфару. Его свойством было жизнелюбие. Горечь потери вызывала в нем всегда ярость. Смерти он не боялся. Он ее ненавидел. В случаях, когда умира-

ли друзья, близкие, он всегда отчаянными усилиями распрямлялся, пытался сбросить с плеч холодную плиту надгробья. Он очень любил сестру Анзират, очень был привязан к ней и к умнейшей, полной жизни племяннице Асаль.

Тогда перед свежими могилами он отчаянно, мучительно пытался понять тайну грубо оборванных жизней.

Полная нелепой жестокости гибель осталась тайной. По обычаю не оставили на могилах ни надписей, ни надгробий. Память о тех, кто насильственно обрывает свой жизненный путь, не должна храниться: они не сумели сберечь самое ценное из благ — жизнь.

Кладбище. Размытые дождями глинистые холмики. Они скрыли две мятущиеся жизни, две тайны.

Поблещая хвоя саура шелестела. Ветер гнал от холмика к холмику песок. Мысли, похожие на песок, мешались, вихрились.

Ужас потери близких все заслонил. Но и тогда у саура тихо, неслышно скользнула холодная лапа сомнения. На корявом корне саура притулился старичок Исаххаджи. Он утирал глаза клетчатым платком — именно клетчатым, такие подробности почему-то остаются в памяти, — и тихо скулил. Он не смотрел на Зуфара, возможно, он и не видел его. Тут же стояли люди, много людей, и ноги их загораживали и свежие могилы, и строй пионеров в красных галстуках, и комсомольцев, пришедших отдать последний долг Асаль, своей подруге-школьнице.

Нет, определенно Исаххаджи не обращался к Зуфару. Он ни к кому не обращался тогда. Просто по старческой привычке разговаривал сам с собой. Высказывал свои соображения вслух. Исаххаджи очень привязался к семейству Бахрама-бригадира. Он жалел Бахрама. Горе ему принесла непутевая женщина Анзират, его жена. Сколько неприятностей теперь пришло в дом уважаемого человека! Его еще притянут из-за сумасшедших!

Зуфар стоял у саура и предавался своим горьким мыслям. Слова Исаххаджи не доходили до его сознания. Они скользили мимо, не задерживаясь, хотя и вызывали смутное беспокойство, раздражение. Но что беспокойство, раздражение перед болью сердца?

И вот теперь, через полтора года, Зуфар смог отдать отчет, что ведь холодная лягушачья лапа, коснувшаяся тогда его сердца, принадлежала почтеннейшему Исаххаджи, философу и мыслителю. Тогда у Зуфара не хватило соображения понять, к чему клонит старик. И почему он вдруг оказался рядом, сидящим на корнях священного дерева саур, именно в то мгновение, когда комья земли создают преграду вечности между живыми и мертвыми, когда происходит самое трагическое в душах любящих.

Нет, Исхакхаджи не случайно оказался тут. Он отлично знал, что суровый Зуфар имел сердечную привязанность: любил сестру Анзират и племянницу Асаль.

Холодная лапка ползла, ползла. И вдруг боль резанула в груди Зуфара. Холодная, уже не лапка, а лапища вцепилась, врезалась когтями.

Исхакхаджи не выговорил, а, образно говоря, выхаркнул все так же невнятно, все так же негромко:

— Нет, хоть и беспутная Анзират была, а правильно сделала — огнем выжгла позор дочери.

И от холодной зеленой лапы потянулась клевета, запятнавшая память девушки, семьи и его, Зуфара.

В тот момент Зуфар ничего не успел ни сказать, ни сделать. Когда он глянул на корни священного дерева саур, Исхакхаджи уже там не оказалось. Возможно, Зуфар убил бы старика, окажись он там, не сумей он ускользнуть так ловко.

А когда клевета пошла метаться по кишлаку, Зуфар заставил себя сдержаться. Он понимал, что попытка очистить имя Асаль лишь поможет клеветникам и сплетникам вылить потоки грязи. За себя он не боялся.

Но почему его сестра Анзират вовремя не спохватилась?.. Зуфар ничего не понимал и винил одного себя. Он нес каменный груз на своих плечах и пронесет его и дальше.

То, что Зуфар помимо своей воли, без всякой вины послужил причиной гибели близких существ, никогда не позволит ему оправдаться. На суде совести он вынес себе приговор. Пусть будет так.

Зуфар стоял под священным деревом саур и смотрел на желтые холмики. Он пришел попроситься, — и не с тайной могил, не с тайнами человеческого сердца. Зуфар пришел попроситься с теми, кого хранил так живо в воспоминаниях. И потому, что он видел их лица нетронутыми тлением, не искаженными смертью, а полными биения жизни, мыслей, забот, мечтаний, его прощание с ними глубоко взволновало его и вызвало первый раз слезы. Зуфар плакал.

И он еще раз подумал, что прав тысячу раз, когда отговаривал членов комиссии, прибывшей из Москвы, отказаться от задуманного. Зачем тревожить прах? Что это может дать?

Ему не хотелось вмешиваться. Ему просто трудно было говорить, когда в глаза, в душу заглядывали пронзительные глаза Хуршид, этой настойчивой, настырной женщины, оказавшейся членом московской комиссии.

Зуфар веско и холодно сказал ей:

— Те, кто должен был попасться, попались или скоро попадутся. Вы уже взяли их за горло. Все ясно. Мерзавцы готовили встречу гитлеровцам, но им не дали их встретить, и нам и вам все ясно. Зачем же тревожить могилы? Там нет никаких

тайн. Я думаю, что и моя несчастная сестра и моя милая племянница всегда стояли далеко от тайн.

— А записка? — сказала Хуршид. — Та записка, которую написала Асаль и которая исчезла из стола в райкоме комсомола.

— Даже если раскопать могилы, разве вы найдете записку? Бумага сгорела бы.

— А Исхакхаджи? Его нездоровый интерес к Асаль? И все его поведение?

— Почтенный Исхакхаджи немного ошибся. Ему самому следовало бы стать к стенке в дни революции.

— Вы сами говорили, что клевета шла от него. Это он же пытался сделать вас причиной гибели ваших родственников.

— Мне тяжело говорить. Извините. Но Исхакхаджи, вы знаете, сам настаивает на вскрытии могил. Значит...

— Странная настойчивость. У мусульман трогать могилы — великий грех. А он сам явился, сам поднял вопрос. Бойтся лишь, что духовенство поднимет шум. Но он находит оправдания... даже в коране.

— Исхакхаджи большой друг бригадира Бахрама. Понимает, что вскрытие могил снимет с Бахрама подозрение. Обелит его.

— Его обелить уже ничто не может.

— И все же не стоит.

Хуршид грустно улыбнулась. Она понимала Зуфара по-человечески. Понимала, что Зуфар боится омрачить память своих близких, и все же твердо сказала:

— Нужно ли вам говорить, что мы воюем с опасным врагом? Мы с вами друг друга знаем, и не плохо. Можем быть откровенны. Нам необходима малейшая ниточка. Все, что связано с гибелью ваших близких, очень важно.

— Опять тайны, — мрачно проговорил Зуфар. — Хватит тайн.

Разговор получился трудный. Зуфар никак не мог настроить себя на откровенность. Усложнялось все невероятно и тем, что в комиссии оказалась бронзоволодая Хуршид...

В последние годы Зуфар привык ничему не удивляться. В Иране он узнал, кто Хуршид, какова ее истинная роль. Он часто, особенно в Мешхеде, встречал ее, знал, какую работу она выполняет, и проникся уважением к молодой женщине... Но встретить Хуршид здесь в Хазараспе, да еще в такой ответственной роли. Позже он понял, что Хуршид не случайно послали в Хорезм, где сплетались в узел многие нити, тянувшиеся и из Трабезона, и из Исфагана, и из Мешхеда.

Но сейчас Зуфар еще не знал, почему понадобилось следствию копаться в его жизни и жизни его близких.

— Товарищ майор,— сказала Хуршид,— я не люблю тайн. Но хотите знать мое мнение?

— Мнение? О ком?

— О вас.

— Обо мне?

— Да. Вы настоящий боец и воин. Не только на войне, но и в жизни. Но вы простодушны и прямы.— Она ребром ладони провела по краю стола.— Вы умудрились не задуматься над странными обстоятельствами трагедии. Прояви вы больше подозрительности в тот день, когда погибли ваши родственницы, нам не пришлось бы сейчас разыскивать по всему Хорезму и Востоку всевозможных мерзавцев, готовых с музыкой встречать Гитлера. Всех бы еще тогда прихлопнули.

— Но следовательно тогда занимался... и...

— В том-то и дело, что «и».

Поднявшись, Хуршид показала, что беседа закончена. На щеках ее не было уже милых ямочек. Она потрянула своей бронзовой гривой и твердо сказала:

— Товарищ майор, я отклоняю вашу просьбу. Вы можете сами не присутствовать. Но прошу нам не мешать. До свидания.

На рассвете Зуфар пришел на кладбище. Кочковатая, при мороженная февральскими морозами дорога звенела и хрустела под ногами. На злом ветру моталась на плоском холме растрепанная верхушка священного дерева саур. Зеленели могильной зеленью кусты янтака. Мороз не брал их.

Зуфар нашел родные могилы. Он стоял под деревом саур, и слезы текли по его щекам.

Почему-то он не чувствовал больше каменной глыбы на сердце. Быть может, слезы растопили ее. Горечь душила его, и он не заметил, как подошел к нему, тяжело шагая, Мерген и вприпрыжку прискакал Алдар Куса.

Старики почтительно встали позади. Зачем они пришли? Что они подумали? Или они хотели охранять покой своего друга и командира? Опустив руки, вперив глаза в мерзлую землю, они стояли молча. Да, они не одобряли того, что произойдет сейчас на их древнем хазараспском кладбище. Они не верили в тайны, они верили, что вскрытие могил даже по требованию следователя по особо важным делам — святотатство. Они очень хотели сказать свое мнение Зуфару, но не смели. Зуфар — советский офицер, недавно стало известно, что Зуфар получил за Севастополь боевую награду и произведен в майоры. Майор — большой чин. Зуфар богатый, своей рукой отстранивший угрозу от родного Хорезма.

В душе у них горело, но они молчали. Не подобает нарушать раздумье великого воина.

Послышались легкие шаги. Но никто не обернулся.

Пришла Ольга. Встала рядом с Зуфаром. Губы ее задрожали, когда она увидела слезы Зуфара. Он почувствовал, что в руке у него очутился носовой платок, и сказал:

— Какой резкий ветер из Каракумов!

Ольга тихо проговорила:

— Да, очень резкий ветер.

Подходили закутанные в теплое женщины Хазараспа. Они шли торопливо. Не разговаривали. Ранний час, торжественная пустынно́сть кладбища настраивали на торжественный лад. Но все они издали обходили священное дерево саур и стоявших под ним Зуфара и Ольгу.

Мужчины пришли толпой. Повязанные поясными платками, с головами, замотанными чалмами, хазараспы, видимо, не столько берегли себя от простуды, сколько хотели показать, что дело серьезное. Люди прятали руки в длинные рукава ватных халатов и переминались с ноги на ногу. Морозец выдался настоящий.

Хуршид приехала вместе с членами комиссии на легковой машине и, запахивая меховую шубейку, быстро поднялась на холм. Тут только все увидели, что из-под обрыва выбежали два милиционера и по-военному откозыряли москвичке. Женщины зашумели. Вон как, оказывается,— к кладбищу поставили охрану.

Следователь подошел к председателю исполкома — его и не узнать было: он тоже повязал голову пестрым платком и напялил старый отцовский халат — и попросила отослать милиционеров:

— Парни совсем зачоченели. Носы синие.

— А вы? — просипел раис. Он был похож на бабу в платке с торчащими во все стороны концами и с трехдневной щетиной на багровых щеках. Районный председатель надел пастуший тулуп и лисью шапку, и в нем щеголеватости и следа не осталось. Местные власти изо всех сил старались показать, что они с ног сбились, убеждая народ не мешать следователю. Теперь же упорно пытались смешаться с толпой, а хазараспы упорно выталикивали своих вожakov вперед. Раз вы ответственные, так уж и отвечайте. Вдруг из толпы вышел Исхакхаджи и принялся суетливо уговаривать:

— Товарищи, будьте сознательны. Ничего такого недозволенного не произойдет. Не паникуйте.

Он даже с опытностью прирожденного оратора поднял руки и сделался похож в своей великолепной синего старинного сукна бобровой шкуре на протоиерея православного собора, выступающего с проповедью. Держался Исхакхаджи авторитетно и был бы даже величествен, если бы не багровый нос, торчавший бураком из воротника.

— Не волнуйтесь, почтеннейший,— сказала Хуршид,— горло застудите. В вашем-то возрасте.

И потому ли, что сказала она это по-узбекски с мягким турецким акцентом, или потому, что она, тоненькая, беззащитная, так смело перед мрачно настроенной тысячной толпой трянула пышными бронзовыми волосами, но возникший было после слов Исхакхаджи ропот сразу стих. Ведь все отлично знали мудреца и философа Исхакхаджи. Раз он кричит, что это хорошо, значит, это плохо. Всю жизнь он только и делал, что травливал человека на человека,— тонко, ехидно. И нечего лезть ему, когда и так все понимают, что дело очень серьезное.

Хуршид еще раз трянула головой, а председатель райисполкома поспешно втащил Исхакхаджи в толпу да еще сказал ему на ухо что-то малоприятное.

Но тут же у председателя жалобно перекосилась вся его толстощекая щетинистая физиономия. Не хватало ему еще утихомиривать женщин. Так он и знал, что уж они-то поднимут шум. И он, вобрав голову в толстый халат и кряхтя, пошел пробираться меж могильных холмиков к поднявшим крик женщинам. Они стояли отдельно от мужчин, сгрудившись вокруг Панбархутхон. Она даже забралась на верхушку особо высокой могилы и ораторствовала. Что она говорила, не успел никто разобрать.

Зато звонкий голос Хуршид услышали все собравшиеся на кладбище. Она объявила:

— Товарищи женщины, и вы слушаете непотребную особу и спекулянтку. Не место ей среди честных тружениц!

И все.

Сами женщины тут же прогнали Панбархутхон. И она не посмела возразить.

Бронзоволосая остановилась у высокой могилки и, повернув свое нежное лицо к женщинам, сказала:

— Никто из вас и слова ей не сказал, когда она грязными ногами топтала могилу вашего односельчанина. А вот всех путает и сбивает с толку, когда надо помочь правде.

Все молчали.

— Вот что мы сделаем. Мы, женщины, и сами разберемся в наших женских делах. Когда женщина и молоденькая девушка в муках погибают от огня, мы не можем оставить это дело. Или здесь было отчаяние, или... преступление. Если кто виновен, его надо наказать. И если мужчины не смогли разобраться, то они не мужчины, а тряпки или преступники.

Она вошла в толпу и попросила:

— Кто мне поможет?

И сразу же десятки рук, натруженных, с шершавой кожей, в мозолях, протянулись к ней. Она выбрала четырех крепких пожилых колхозниц и сказала, чтобы они взяли кетмени. Хур-

шид попросила мужчин оставаться на своих местах, а приехавшую с ней женщину-врача — надеть белый халат и приготовить инструменты. Секретаршу суда она подозвала, чтобы та вела протокол вскрытия могил. Действовала Хуршид решительно, хладнокровно. Члены комиссии дали ей полную свободу.

Тем временем привезли на кладбище бригадира Бахрама и еще одного человека, до того закутанного в теплые одежды, что его сразу и не признали. И лишь когда он нечаянно повернул свою голову в огромной шугурме, кто-то воскликнул:

— Базар теперь зашумит. Сам Гитлер пожаловал.

Все ждали чего-то удивительного, каких-то громовых слов. Все смотрели в рот бригадиру Бахраму, но рот его так и не раскрылся. Он жалобно кривил губы и рукавом халата утирал набегающие от ледяного ветра слезы. Бахрам казался очень жалким, испуганным. Страшно, когда огромный исполин плачет.

Люди сразу разочаровались и отвернулись. Никто и внимания не обратил на то, что Бахрам бормочет. Лишь стоявшие вплотную к грузовой машине слышали его сдавленные истерические бормотания:

— Не буду смотреть! Не буду!

Те, кто не видел последние дни бригадира Бахрама, ужаснулись черноте его лица и худобе. Он вцепился дрожащими, прыгающими руками в борт машины, и доски вздрагивали и скрипели, точно в спазмах. И хотя он продолжал выкрикивать: «Не буду!»— взгляд его сверлил толпу, загораживающую от него то, что происходило около раскапываемых могил. Работа шла в полной тишине, нарушаемой лишь глухими ударами кетменей о мерзлую землю.

И так продолжалось довольно долго.

Небо хмурилось, и вскоре пошел легкий снежок. Снежинки порхали и медленно опускались на могилы. Люди ловили широко раскрытыми ртами хлопья, холодившие язык и освежавшие иссохшее горло. Ноги мерзли, и многие подпрыгивали, стараясь согреться. Уныло бормотал в кузове машины бригадир. На губах у него образовалось белое кольцо не то инея, не то пены.

С напряжением толпа смотрела, ждала. И потому, что ожидание слишком затянулось, даже те, кто решительно не верил в какие-то там тайны и протестовал против вскрытия могил, вдруг поверили, что сейчас произойдет что-то невероятное.

Одним огромным животным охнула толпа, когда тонкий звенящий звук разрезал тишину. Все подались на шаг вперед и застыли.

Звонкий голосок Хуршид прозвучал из-за стены сгрудившихся вокруг могил женщин:

— Осторожно!

Потом она же тихо проговорила: «Нельзя же так!», но все услышали — такая тишина стояла. И вдруг сорвавшийся возглас Хуршид всех словно стеганул:

— Боже мой!

Почти тотчас же все женщины горестно закричали и заплакали.

— Они увидели,— глухо сказал Мерген, и щеки его запрыгали, а председатель испуганно спросил:

— Что увидели?

Но ему не ответили, потому что все вдруг начали хватать Исхакхаджи и тянуть его во все стороны. С него стянули синюю поповскую шубу, и он остался в легком пиджаке, в сбившемся на сторону галстук. Холеная борода Исхакхаджи размахрилась, а из носа потянулись сопли. Он пискливо выкрикивал:

— Пустите меня! Я уйду! Пустите!

Но председатель вдруг отчаянно закричал:

— Держите его. Не позволяйте ему скрыться!

Тут же на плечи Исхакхаджи накинута его шуба и два колхозника крепко защемили меж собой мудреца, мрачно бормоча: — Бежать вздумал. Смотри у меня!

Они не понимали, в чем дело, но как-то связывали попытку Исхакхаджи поспешно удалиться с тем, что происходило там, на холме, за стенкой из женщин. А женщины вцепились в отчаянно отбивавшуюся и барахтающуюся Панбархутхон. До последней минуты она стояла в сторонке, толстая, цветущая, уперши руки в бока, и, презрительно обводя всех наглыми глазами, ничуть не волновалась и не переживала. Она всем своим видом показывала: затеяли на кладбище непотребное, ну и черт с вами. Но отчаянный возглас Хуршид «Боже мой!» и ее стеганул, да так, что она с удивительным проворством вдруг побежала вниз по дороге.

Но ей не дали далеко убежать и грубо, награждая тумаками, вернули. Женщины что-то сообразили сразу и, таща почти на руках толстую тушу, восклицали:

— Напакостила, проститутка, и в камыши!

В это время толпа расступилась и Хуршид вышла к мужчинам Хазараспа. Ее было не узнать. Живые, полные лихорадочного блеска глаза померкли. Блестящий румянец потух. Лицо молодой женщины подергивалось. Она сделала слабый пригластительный жест председателю и с трудом сказала:

— Теперь вам можно.

Волоча ноги, пряча лицо в мех тулупа, председатель грузно поплелся по колючке. Он отдувался и громко кряхтел.

— Что она сказала?— спросил Зуфар.— Она что-то сказала?

Хуршид решительно повернулась к нему.

— Я вас прошу не подходить к могилам. Я сама все вам скажу. А вас,— обратилась она к Мергену,— вас прошу посмотреть, убедиться. Вы родственник...

Губы у нее вдруг запрыгали, и она чуть не расплакалась. Перед ней все расступились, и она оказалась около могил раньше председателя и членов комиссии. Она стояла с другой стороны лицом к подходившим. Председатель смотрел поверх голов женщин и старался показать, что его ничто не интересует, что он все и так знает и ничего нового не увидит. Однако краснота его лица, вызванная крепчавшим аральским нордостом, все больше блекла, переходила в серую синеву, а глаза бегали. Все взгляды были прикованы к его лицу. И все, кто видел его сейчас, поняли, что он действительно знает и боится. И все, трепетавшие перед словом председателя, с тревогой видели, что председатель с каждым шагом к разрытым могилам слабеет, никнет, делается жалким и несчастным.

На глазах у всех председатель низвергался с пьедестала. Председатель, символ власти и могущества, боялся, трусил. Он дрожал от страха. Какая же власть дрожит?

Не дойдя до могил несколько шагов, председатель закрыл глаза ладонями и сдавленно проговорил:

— Все знаю. Все знал. Видел.

Он неожиданно опустил на мерзлую желтую глину и закрыл голову руками. Он ждал ударов. Так сидели на земле люди, обреченные в Хиве на «ташбуран» — побитие камнями. Побивали камнями отцеубийц и клятвопреступников. Председатель ждал ударов камней. Женщины ужасно закричали, увидев, что председатель их обманул. Он обманул и их, и весь Хазарасп полтора года назад, обьявив, что все в порядке — с точки зрения закона, конечно, — что сумасбродные женщины покончили жизнь саможжением, что преступления не было, что преступников нет. Увы, такова неосознанность женщин. Из-за малейшего пустяка, пустяковых семейных неприятностей хватают бидон, обливают себя керосином — и спичкой «чирк»... Он даже тогда позволяя презрительно усмехаться по поводу женских истерик и капризов. Он тогда авторитетно заявил и заверил всех официально, что следует как можно скорее похоронить останки несчастных и никому, кроме Панбархутхон и какой-то подслеповатой старушки, не позволил обряжать покойниц в последний путь. Акт о похоронах подписал сам и отправил с соответствующим рапортом в Ургенч. Останки похоронили достойно: с траурным маршем, с прощальным пионерским салютом, с надгробной пропагандистской речью председателя о женском раскрепощении и пережитках старого в семейном быту. Председатель, учтя тогда слухи о поведении Зуфара, даже кое с кем советовался из области, не начать ли следствие по поводу неэтичного поведения дяди по отношению к юной племяннице, но вскоре сам

заявил во всеуслышание, что нет оснований давать ход всяким сплетням и клевете. Тем более, что Зуфар отбыл в действующую армию. Словом, председатель держал себя на уровне и стоял на страже советской законности.

Хуршид остановилась над сжавшимся в комок на земле председателем и очень громко спросила:

— Гражданин председатель, вы утверждаете, что до похорон видели все?

Вопрос слышали все на кладбище, даже те, кто стоял в задних рядах в толпе.

Но председатель не отнял от головы скрещенных рук и невинно что-то протонал.

— Не слышно! — зазвенел голос Хуршид. Она приказала: — Встаньте! И говорите народу, знали вы все?

Очень медленно, все еще не отнимая от головы рук, председатель нехотя поднялся и снова зажмурился. Перед ним вплотную белели разъяренные, искаженные горем лица женщин. У многих щеки были залиты слезами.

— Так скажите им!

И в голосе Хуршид звучало такое, что председатель вдруг пошатнулся, воздел руки в длинных неуклюжих рукавах и завопил:

— Знал! Знал все! Видел!

Кричал председатель так, как кричит побиваемый камнями: «Бейте! Добивайте!» Он начал валиться на землю, но подскочивший Мерген своей могучей рукой ухватил его за воротник шубы и держал теперь почти на весу. Нате, смотрите на вашего всемогущего, непреклонного, на «гром среди ясного неба!»

— Отвечайте ясно, просто перед народом, перед женщинами и мужчинами Хазараспа! Отвечайте, подумав. Значит, вы видели своими глазами?

Председатель, барахтаясь в своей шубе, взвыл:

— Видел.

— Что вы видели?

Выкрикивая каждое слово в отдельности, председатель вопил:

— Видел... На руках... погибших... сгоревших... На кистях... рук обгоревшие куски... обгоревшие куски веревки... аркана... Воды, дайте воды!

Последние слова прозвучали жалобной просьбой, писклявой, слезливой.

И женщины опять завывали, закричали и всей массой надвинулись на председателя, который обшипанной курицей повис в руке Мергена. Председатель закрыл глаза, чтобы не видеть диких, яростных женских глаз.

Трудно представить, как могла тоненькая со звонким голосом девочки Хуршид остановить толпу совсем уже потерявших головы разъяренных женщин.

Хивинка — бессловесная рабыня, когда с ней ласковы. Хивинка — тигрица, когда ее обидают.

Женщины могли сейчас растерзать и мечущегося председателя, и тех, кто сидел в грузовике. Хуршид решительно выбралась из водоворота закруживших ее женщин и властно приказала:

— Женщины, не будьте дурами!

Она употребила слово покрепче, и услышать его из розовых уст очаровательной пери было так неожиданно, что толпа замолчала и все уставились на бьющегося в почти эпилептическом припадке председателя.

Хуршид сказала:

— Не мешайте работать! Дорогие подруги, я задам ему один вопрос, а вы спокойно выслушайте!

Теперь она обратилась к председателю.

— Эй, вы! Никто вас не собирается бить. Возьмите себя в руки.

Председатель простонал что-то неразборчиво.

Хуршид продолжала:

— Значит, несчастные мать и дочь не кончили жизнь самоубийством.

— Да, да,— завыл председатель.— Да, их...

— Им связали руки?

— Да, да!

— Им завязали рот?

— Да, да!

— Их облили бензином?

— Да!

— И их сожгли живыми?

— Да!— Стон перешел в вой и слился с воплем толпы. Теперь кричали не только женщины, но и мужчины. Над толпой взметнулись сжатые кулаки, палки, посохи, пастушьи дубины. Толпа редела.

Военные прошли к могилам. Страхивая снег с шинелей — никто не заметил, что снег уже шел густо и обильно,— они остановились над разрытыми могилами. Ослепили вспышки магния.

Моложавый военный встал рядом с Хуршид и сказал:

— Не пора ли заканчивать?

Хуршид вскинула запорошенные снежинками ресницы и с досадой заметила:

— Товарищ полковник, мы же договорились. Вы мешаете, Петр Кузьмич.

Виноватю полковник поднял руку к фуражке и отступил на два шага к членам комиссии.

— Товарищи женщины, я задам председателю еще один вопрос.

Все опять замолкли, и теперь был слышен только посвист поднявшегося ветра. Начинался настоящий буран.

Хуршид прокричала свой вопрос:

— Гражданин председатель, и вы, обнаружив во время следствия, что жертвам связали руки и что, значит, это не самоубийство, а зверское, бесчеловечное убийство, покрыли заводо-
мых убийц? Значит, вы знали, кто убил несчастную мать и ее дочь?

И толпа в один голос прокричала вопрос:

— Кто убил? Убийцу! Сюда убийцу!

Все сгрудились в одну кучу. И над всеми вдруг прогремел голос Мергена.

— Он не скажет. Он обмер с перепугу.

Но тут снизу, с дороги, послышался хриплый вой. Все лица повернулись к грузовой машине. В кузове ее, едва сдерживаемый руками милиционеров, метался черный, в разорванной одежде, с обнаженной грудью бригадир Бахрам. Он раздирал себе кожу ногтями и выл:

— Я убил!

Он однотошно выл свое: «Я убил!» Военные, пробившись сквозь толпу и снеговые вихри, вскочили в машину и погнали ее по белой от снега дороге. И вовремя. Вся тысячная толпа хазараспцев бросила кладбище и устремилась бегом вниз с холма. Замешкайся шофер на считанные секунды, и Бахрама стянули бы на землю. А сейчас все увидели дикую взлохмаченную, всю в снегу мечущуюся фигуру убийцы, которого увозили в сторону Ургенча.

Сквозь ветер и буран шел в Хазарасп Зуфар. С ним рядом шла Ольга. Они молчали.

О чем думал Зуфар? Он не сказал ни слова.

Он сказал, что хочет помолчать. Но Ольга знала, о чем он думал.

Тяжелая каменная глыба свалилась, рассыпалась на мелкие осколки. Спала черная пелена с личных жизней, надежд, прекрасных идей. Пелена пала с глаз людей. Замысел врагов оклеветать мнимым самоубийством все дорогое, все, достигнутое советскими людьми, разоблачен.

Ужасное открытие связало неразрывно всех преступников одним крепким узлом. Преступники, губя две женские жизни, прятали концы. Так они думали. А на самом деле они затянули себя и все свои замыслы в пропасть.

Жертва была бессмысленна и напрасна. Преступникам суждено было сгореть самим. Замыслы их были обречены уж в то утро, когда раздалися стоны их несчастных жертв. Бессмысленная жестокость определила ничтожность и обреченность их замыслов и планов.

Да сожжет врагов блеск твоего меча!
Да будет победоносно твое копье!

Амин Бухари

«От Советского информбюро...»

Голос неся сквозь вьюгу над мерзлыми полями, над припо-рошенными отвалами земли вдоль каналов, над оголенными мет-лами талов.

Далекий, заглушаемый ветром громкоговоритель вещал хрипло, неразборчиво, кашлял... Но отдельные слова можно бы-ло разобрать, и они гремели как гром... «Сталинград», «разгром немецких...», «безоговорочная капитуляция...», «десятки тысяч пленных... трофеи...»

— Бежим!

Сказал «бежим!» Зуфар. Он впервые после возвращения открыто и просто обратился к Ольге.

— Бежим!— воскликнула Ольга.— Скорей! Что-то передают такое. Ой, что-то передают...— И они побежали к громкоговори-телю.

Весть о победе переполнила сердца, заставила протянуть друг другу руки, почувствовать тепло ладоней, заставила потопить горечь в радостной волне...

— Так неожиданно!— на бегу говорила Ольга. Зуфар толь-ко сжимал ее руку, такую нежную, такую близкую.

Они бежали, не обращая внимания на смерзшиеся комья глины, ухабы, спотыкались, скользили, поддерживали друг дру-га и... бежали, задыхаясь от бега.

Они знали — грандиозное свершилось!

Победа!

Сжав руки Зуфара, Ольга вдруг остановилась у самого столба с громкоговорителем и закружилась с криком:

— Победа! Победа!

Спешившие за ними Мерген и Куса тоже подхватили:

— Победа!

Друзья не поняли сначала, почему Зуфар с Ольгой вдруг побежали ни с того ни с сего по дороге. Ну еще молодой девуш-ке бегать не заказано, а вот солидному командиру, орденоносцу не подобает бегать по дорогам. Куса было тоже рванул за ними, но Мерген окриком умерил его прыть.

— Куда? С чего это вы? С кладбища идете!

Не разобрался Мерген, что там хрипло бормочет громкого-воритель. Да с чего вдруг бежать? Он не мальчик. Но когда и они с Кусой подошли, Мерген, всегда сумрачный, заулыбался, зацокал языком от удовольствия, а Куса запрыгал на месте легкомысленным тушканчиком и завизжал:

— Так его, Гитлера, по ж..., по ж...!

Куса не обратил внимания на то, что тут стоит Ольга, что у столба, задрав головы, стоят школьники и школьницы. Куса отводил душу. Он так разошелся, что шлепал с наслаждением по спинам подошедших людей и восторгался:

— Вот так и надо! Давно пора фашистам убираться к себе в нужник!

Он шлепал так энергично, что шлепки ощущались даже сквозь толстую вату халатов. И один халатник, здоровый, с жирной спиной, получивший шлепок по спине, с раздражением повернулся было своей круглой, толстощекой физиономией к Кусе и цыкнул было на него, но тут же осекся, воззрившись в безбородое красное от холода и напряжения лицо.

— Вы, вы, вы?— забормотал он, потеряв дар речи.

— Я, я, я?— так же невразумительно промямлил Куса.

— Уж не собираешься ли ты опять тут драку в арыке устроить?— спросил Хамидходжа.

— Устроил бы, да зачем? Твоим там в Сталинграде и без того холку набили, почтеннейший святоша.

Все стоявшие около громкоговорителя зашикали на спорщиков. Хамидходжа доверительно притиснулся к Зуфару и плачущим голосом заныл:

— Все радуются, все ликуют, а нам, грешным, остается лишь вздыхать и возносить молитвы аллаху. Да еще неизвестно, нужны ли всевышнему наши молитвы.

Искоса он взглянул на Ольгу:

— Все в руках аллаха. И руками ничтожного служителя дома божия свершаются немалые дела. Одно скажу: завидую вот ему, Зуфару Джумамуратову. Ему что? Дела его на виду. И слава венчает его, и медные карнаи трубят в честь его, и барабаны гремят. Командир успел в своих начинаниях. Но и я, раб аллаха, не сидел сложа руки. И хоть ради ишана Хамидходжи в медные карнаи не дуют, хоть подвиги его не восхваляют, доля Хамидходжи есть в том...— Он поднял лицо к громкоговорителю, из которого неслись слова сводки Верховного командования о разгроме гитлеровской армии в Сталинграде.— Невидимая доля, но, слава аллаху, немалая. Я доволен. И вы, девушка, отнеситесь с пониманием и со снисхождением ко мне, Хамидходже, хранителю в пустыне мазара. Конечно, вы считаете меня, Хамидходжу, злодеем, и у вас основания таким считать меня были, но я не злодей.

Он раздвинул толпившихся у столба с громкоговорителем слушателей и смешался с ликующей толпой, которая все росла и росла.

А сквозь вихри крепчающей метели голос громкоговорителя звучал все громче и торжественнее. Диктор начал снова:

«От Советского информбюро...»

Сильнее властителей мира семеро, имя которых: господин Гнев, госпожа Гордыня, господин Блуд, госпожа Алчность, господин Обжорство, госпожа Зависть и госпожа Лениность.

Аш Шанфара

Шагай в ногу с веком, когда он шагнет, и беги вместе с веком, когда он бежит.

Ал Джахиз

В антикварном магазине на Старом Арбате всегда шумно. Но возглас «ханым Сефиет!», прозвучавший не очень громко, сразу же заставил двух посетителей резко обернуться.

— Ханым Сефиет, не понравится ли вам...— говорил, склонившись в поклоне перед сидевшей за круглым столом женщиной, молодой, элегантно одетый, восточного типа человек.

Стол стоял у зеркальной витрины, уставленной старинной бронзой и картинами. Да и сам стол, инкрустированный перламутром, был подлинной редкостью. Дама в бесценном каракулевом мантио «араби», модных туфлях и чулках, подчеркивающих изящество линий ноги, небрежно оперлась на него локтем.

Сефиет внимательно рассматривала роспись палехской шкатулки, но дрожь ресниц и едва заметное постукивание носка туфельки выдавало волнение, нетерпение. Улыбка умело накрашенных губ, милая, вежливая, вдруг стала жесткой, резкой, даже жестокой. Да, сейчас и посторонний мог бы заметить, что ханым Сефиет чем-то заинтересована и встревожена. И совсем не антикварными вещами, которых так много выставлено на полках арбатского магазина, и даже не шкатулкой, на крышке которой так великолепно отразился народный гений палешан. Ханым Сефиет задержала дыхание. Ханым Сефиет задыхалась, готова была закричать.

Она смотрела на резко обернувшихся при возгласе «Сефиет» двух посетителей. В совиных глазах ханым читался страх. Нет, она не боялась этих посетителей, которые также смотрели на нее. Ханым Сефиет нечего было бояться. В совиных прекрасных глазах ее был не обычный страх. Нет, такое выражение можно видеть в глазах человека, перед которым вдруг восстали призраки далекого прошлого.

Взгляды посетителей отражали неподдельный интерес и изумление.

И до того были сильны эти интерес и изумление, что женщина вдруг выронила из рук шкатулку на стол. Легкий стук дерева о дерево заставил женщину вздрогнуть. Она сняла ногу с колена, нервно выпрямилась и поднялась со стула. Прекрас-

ный рот ее покривился в жалобной гримаске, а в глазах, устремленных на лица тех двух, появилась мольба.

Губы Сефиет шевелились. Возможно, она сказала что-то. Но слов расслышать было невозможно: в магазине на Арбате всегда полно людей, всегда шумно.

— Жаль,— заметил один из посетителей, вызвавших такое волнение к знатной иностранке, когда они вышли на улицу.— Жаль, что я оставил фотоаппарат в гостинице.

— Чего жалеть, Кузьмич?— сказал человек в военной шинели.— Ее жалеть? За что? Таких жалеть нечего.

— Жалеть? Нет, Зуфар, ты меня не понял.

— А что же?

— Знаешь, еще секунда, и она кинулась бы тебе на шею. Шучу! Шучу! Жалею о том, что не смог сфотографировать Сефиет. Я пошел бы на скандал и снял бы ее там прямо, в магазине. Для коллекции, так сказать.

— Что она делает в Москве?

— Тогда в войну у нее был иностранный паспорт. Да еще союзной державы. И к тому же она, черт возьми, миледи. Сэр Болд поднял бы такой шум! Выдворили мы ее за пределы. Так безнаказанной и уползла змея. Сколько бед и несчастий она принесла и... может быть, приносит сейчас.

Зуфар молчал. Он смотрел перед собой. Вспоминал. Возможно, Зуфар даже толком не слышал, что говорил ему друг его Петр Кузьмич.

— Я не первый раз вижу ее в Москве, твою Сефиет. Подкрашенная, подремонтированная, но все еще красивая Сефиет! О опасная Сефиет! В прошлый приезд в Москву я ее тоже встретил на Арбате, в тот раз поближе к Наркоминделу. Поинтересовался кое-где, что она тут делает. Мне объяснили: жена дипломата, английского лорда, богата, но в высшем свете не принята. Турчанка — тут уж ничего не поделаешь, для английских снобов не подходит. Супруг на дипломатической работе. Мадам много путешествует. Частенько бывает в Бонне и в Соединенных Штатах. На кого работает, трудно сказать. Сэр Болд ведь и тогда знал, что она имеет фашистские симпатии, но не пренебрегает и господами янки. Знал и тем не менее сделал ее леди Болд. Видимо, это и сейчас не пугает господина баронета. Супруга его в цене. Она турчанка, а все полупочтенные деятели великого Турана, все недобитые пантюркисты и панисламысты нашли у британцев и американцев участие и покровительство. И им, конечно, подходит такой изящный сосуд, как очаровательная Сефиет, вмещающий в себе все семь смертных грехов.

СОДЕРЖАНИЕ

IV ОДЕРЖИМЫЙ	3
V ЗОЛОТОЙ КУПОЛ	109
VI СЛУГИ ЛЖИ	213

Шевердин Михаил Иванович
СЕМЬ СМЕРТНЫХ ГРЕХОВ

Роман в двух книгах
Книга вторая

Редактор *И. Заленская*
Художник *Э. Исхаков*
Художественный редактор *П. Хапилин*
Технический редактор *А. Бабаханов*
Корректоры *С. Ветрова, И. Кацап*

Сдано в набор 6/VI-67 г. Подписано к печати 12/XII-1967 г.
Формат 60×90^{1/16}. Отпечатано на красноярской бумаге № 3.
Печ. л. 20,0. Уч.-изд. л. 20,12. Тираж 135000. Р 00271.
Издательство художественной литературы им. Гафура Гуляма.
Ташкент, Навои, 30. Договор 88—67.
Отпечатано в типографии № 3 Государственного комитета
Совета Министров Узбекской ССР по печати. Ташкент,
Навои, 30. 1967 г. Заказ 675. Цена 69 к.

69 к.



2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2